

АВГУСТ



Жан-Пьер
Лерого



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга французского ученого Ж.-П. Неродо посвящена наследнику и преемнику Гая Юлия Цезаря, известнейшему правителю, создателю Римской империи — принцепсу Августу (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Особенностью ее является то, что автор стремится раскрыть не образ политика, а тайну личности этого загадочного человека. Он срывает маску, которую всю жизнь носил первый император, и делает это с чисто французской легкостью, увлекательно и свободно. Неродо досконально изучил все источники, относящиеся к жизни Гая Октавия — Цезаря Октавиана — Августа, и заглянул во внутренний мир этого человека, имевшего последовательно три имени. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом. Перевод осуществлен по изданию: Jean-Pierre Neraudau. Auguste. Paris. Les Belles Lettres, 1996.

Ouvrage publié avec l'aide du Ministère français chargé de la Culture — Centre national du livre.

Издание осуществлено с помощью Министерства культуры Франции (Национального центра книги).

-
- [Неродо Жан-Пьер](#)
 - [БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ](#)
 - [Введение](#)
 - [Легкая смерть](#)
 - [Принцепс в маске?](#)
 - [Непостоянный человек?](#)
 - [Постоянство принцепса?](#)
 - [Комедия или трагедия?](#)
 - [Изобилие и скудость источников](#)
 - [Дидаскалия\[20\]](#)
 - [Часть первая](#)

- [Чудесное рождение?](#)
- [Защищенное детство](#)
- [Боевое крещение](#)
- [Наследник Цезаря](#)
- [Политический агитатор](#)
- [Образование триумvirата](#)
- [Часть вторая](#)
 -
 - [Боль и ярость](#)
 - [Битва при Филиппах. Республиканцы сходят со сцены](#)
 - [Перузийская война](#)
 - [На сцене появляется Вергилий](#)
 - [Любовь и политика](#)
 - [Договор в Брундизии. Выход на сцену Октавии](#)
 - [Мизенское перемирие](#)
 - [Выход на сцену Ливии](#)
 - [Сицилийские войны](#)
 - [На сцене появляется Аполлон — deus ex machina\[91\]](#)
 - [Аполлон против Диониса \(36-31\).](#)
 - [Развязка. Акциум](#)
- [Часть третья](#)
 - [Чудо Акциума](#)
 - [Возвращение в Рим](#)
 - [Начало великого замысла](#)
 - [Январь 27 года](#)
 - [Война в Испании](#)
 - [23 год](#)
 - [Агриппа временно покидает сцену.](#)
 - [Марцелл навсегда покидает сцену.](#)
 - [Женитьба Юлии и Агриппы \(21 год\).](#)
 - [Восток](#)
 - [Смерть Вергилия](#)
 - [Установление власти](#)

- Превращение деда в отца
- Столетние игры
- Часть четвертая
 - Западное турне
 - Агриппа покидает сцену навсегда
 - Сцена пустеет
 - Тиберий отказывается от роли
 - Принцепсы молодежи
 - Отец отечества и сын Юлия Цезаря
 - Юлия покидает сцену
 - Комедия оборачивается трагедией
 - На сцену выходит милосердие
- Часть пятая
 - Роль Ливии и семейные драмы
 - Старость принцепса
 - Мечты об отдыхе
 - Принцепс в кругу семьи
 - Кому достанется главная роль?
 - Политическая обстановка и военные сложности
 - 14 год
- Часть шестая
 - Полномочия Августа
 - Принцепс как личность
 - Литературные вкусы
 - Что такое добрый принцепс?
 - Высшее общество
 - Принцепс и его власть
 - Алтарь мира
 - Образ героя
 - Завоевание пространства
 - Завоевание времени
 - Реставрация прошлого
 - Отношение к официальным институтам
 - Военное могущество
- ЭПИЛОГ ПЬЕСЫ

- [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
 - [Приложение 1](#)
 - [Приложение 2](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВГУСТА](#)
- [ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)

- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)

- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)

- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)

- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)

- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)

Неродо Жан-Пьер
АВГУСТ

БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ

Мало найдется в истории столь знаменитых людей, как Август. Он был первым римским императором. Этим он резко повернул ход всей европейской истории. Этого мало. Август не просто разрушил старое государство, поставив этим точку на почти полутысячелетней истории свободного Рима. Разрушителей в истории много. Нет. Он построил новое общество, причем строил его медленно, кропотливо, продумывая каждую деталь. *Принципат* — его создание и детище — просуществовал более 200 лет. Таким образом, Август был одним из величайших преобразователей человечества.

В течение 479 лет (с 509 по 30 г. до н. э.) в Риме была Республика, то есть строй, при котором, как писал великий греческий историк Полибий, власть равномерно распределялась между народным собранием, сенатом — всенародно избранным советом, — и высшими магистратами, должностными лицами, ежегодно переизбираемыми народом. На место республики Август поставил монархию. Но монархия эта имела ряд интереснейших особенностей. Мы могли бы ожидать, что Август, установив единоличное правление, сломает старую республиканскую систему и заменит ее новой, более пригодной для монархии. Но ничего подобного не произошло. Правитель нашел, что республиканская машина управления очень устойчива и жизнеспособна, поэтому он оставил ее без изменения и просто захватил над ней руководство. По-прежнему — регулярно созывались народные собрания, по-прежнему заседал сенат, по-прежнему исполнительную власть осуществляли магистраты. Но старая система основана была на строгом разделении властей, причем ни одну должность нельзя было занимать больше года. Сейчас

же император захватил все важнейшие посты и владел ими в течение всей жизни.

Он пожизненно был назначен проконсулом, то есть главнокомандующим. Он получил пожизненное звание народного трибуна, поэтому мог накладывать вето на решения других магистратов, народного собрания и сената. Он несколько раз был цензором, а потому мог удалить из сената негодных ему людей. Кроме того, он был объявлен *принцепсом сената*. Принцепс — это наиболее уважаемый гражданин, чье имя цензоры ставят первым в списке сенаторов. Принято было, что во время дискуссий принцепс первым высказывал свое мнение. В прежние времена это была дань уважения, не более. Никакой реальной власти принцепс не имел. Но теперь все изменилось. Когда Август высказывал свое суждение, остальным сенаторам оставалось лишь соглашаться с ним.

Следующая особенность нового строя заключалась в том, что он никогда не назывался монархией. Известно, что Цезарь, приемный отец Октавиана, хотел короноваться, официально носить имя царя и ходить в багрянице, как восточные владыки. Он открыто заявил, что после Фарсала Республика стала пустым звуком. Между тем официально считалось, что Август не сокрушил Республику, а восстановил ее в прежней чистоте, что он только исполняет волю сената. Никто не осмелился бы сказать, что власть реально принадлежит императору.

Август таким образом сделал все, чтобы смягчить гнет царской власти. Зная, что соотечественники его — народ гордый, властный, что они краснеют от гнева и стыда при слове «царь» и презирают раболепие восточных народов, он придумал великолепную хитрость. Повсюду твердили, что свобода восстановлена. Правитель сильнейшей империи мира не носит короны и багряницы, перед ним не повергаются

ниц, его не звали *господином*. Нет. Он появлялся в простой скромной одежде и почтительно приветствовал каждого сенатора. И живет он не во дворце, а в обычном, даже скромном доме. Таким образом, установив монархию, Август устранил те ее атрибуты, которые казались особенно отвратительными его согражданам и резко не соответствовали национальному духу. И уже это вызывало удивление и восхищение современников и потомков.

Август положил конец страшным гражданским войнам, столько лет терзавшим Рим, и принес, наконец, мир, о котором уже не смели мечтать. Современникам он представлялся в облике гения-хранителя Рима, какого-то благого божества, спустившегося на нашу скорбную землю, чтобы спасти истекавшее кровью человечество. Гораций в одном стихотворении описывает все ужасы междоусобий. Кровь льется рекой. Сама природа с отвращением отвернулась от преступлений людей. Молнии бьют в Капитолий, снег и град падают на поля Италии, Тибр повернул вспять и затопил грешный город. И вот поэт в тоске обращается ко всем богам, моля сжалиться над некогда любимым им римским народом. И тут на землю нисходит Меркурий в облике Августа.

О, побудь меж нас, меж сынов Квирина!
Благосклонен будь: хоть злодеяния наши
Гнев твой будят, ты не спеши умчаться,
Ветром стремимый

(Сарт., 1, 2; пер. Н. Гинцбурга).

Так писал римлянин, воспитанный в идеалах свободы и ненависти к монархии, бывший некогда соратником Брута и Кассия, убийц Цезаря! Что же говорить о жителях провинций?! В ходе гражданских войн римляне

воевали по всей земле — в Сицилии, Греции, Македонии, Испании, Африке. Страны эти были разорены, ограблены, доведены до отчаяния. И вот они наконец вздохнули спокойно. Вместо грабежа и разорения воцарился мир и порядок. Замечательный администратор, Август следил, чтобы нигде не было насилия и произвола. И народы, вздохнувшие спокойно, любили его, чтили. Более того. Еще при его жизни они стали воздвигать ему святилища и молиться перед его изображениями. Когда же он умер, его единогласно провозгласили по всей империи *божеством*.

Все римские императоры, искренне желавшие блага своей земле, неизменно обращались мыслями к божественному Августу. Они подражали ему по мере сил своих, и он всегда стоял у них перед глазами как идеал, образец для подражания. Светоний рассказывает, что ему удалось отыскать грубое бронзовое изображение Августа еще ребенком. «Это изваяние я поднес императору (Адриану. — *Т. Б.*), который благоговейно поместил его среди Ларов в своей опочивальне» (Suet. Aug., 7). То есть поставил его среди своих домашних божеств.

Сорокачетырехлетнее правление этого принцепса называют *«Веком Августа»*. И имя это дали не придворные льстецы, но последующие историки. То был век просвещения, век расцвета всех искусств. Рим был заново отстроен и блистал теперь великолепными и пышными зданиями. Тогда жили почти все знаменитые латинские поэты — Вергилий, Гораций, Овидий, Тибулл, Проперций. Следует согласиться, что мало найдется в истории столь мудрых и прекрасных правителей.

Однако сильно ошибется тот, кто после всего сказанного представит себе Августа благостным добродушным царем. Август не только не был добр и благ, его даже нельзя назвать порядочным человеком. К

власти он шел буквально по трупам и поразил даже современников, помнящих Мария и Суллу.

Будущий Август носил тогда имя Гая Октавия. Он происходил из захудалого рода, однако мать его была в родстве с Юлием Цезарем. Бездетный диктатор усыновил его в своем завещании. Теперь Октавий именовался Цезарем Октавианом. После убийства Цезаря власть захватил Антоний, человек необузданный, грубый и свирепый. Он опирался на легионы и все трепетали перед ним. Вот в этот-то момент и появился Октавиан. Познакомившись с оратором Цицероном, он стал умолять его помочь ему в законных притязаниях на наследство Цезаря. Октавиан был необыкновенным артистом. Он прекрасно сыграл роль милого скромного мягкого юноши, всей душой преданного идеалам свободы. Цицерону показалось, что этот мальчик явился спасителем Рима. Как названный сын Цезаря, он привлечет к себе легионы, сокрушит Антония и восстановит Республику. Цицерон представил мальчика сенату и помог ему во всем. Но, войдя с его помощью в силу, Октавиан объединился с тем самым Антонием, которого так страшился Рим. Вместе с Лепидом они заключили соглашение, так называемый триумвират. Триумвиры захватили беззащитный Рим.

Прежде всего они составили *проскрипции*, то есть списки осужденных на смерть. Антоний требовал, чтобы одним из первых туда вошел Цицерон, который произносил против него гневные и остроумные речи. Говорят, два дня Октавиан противился, но в конце концов продал своего благодетеля. Взамен он потребовал, чтобы Антоний внес в списки своего дядю, на что тот с легкостью согласился. «Нет и не было, на мой взгляд, ничего ужаснее этого обмена! — пишет Плутарх, — За смерть они платили смертью» (Ant., 19). «Они забыли обо всем человеческом, — говорит он в другом месте, — или, говоря вернее, показали, что нет

зверя свирепее человека, если к страстям его присоединится власть» (Сіс, 46).

«Триумвиры, — рассказывает античный историк Аппиан, — наедине составляли списки имен лиц, предназначенных к смерти, подозревая при этом всех влиятельных лиц и заносая в списки своих личных врагов. Как тогда, так и позднее они жертвовали друг другу своих родственников и друзей. Одни за другими включались в список кто по вражде, кто из-за простой обиды, кто из-за дружбы с врагами или вражды к друзьям, а кто по причине своего выдающегося богатства. Дело в том, что триумвиры нуждались в значительных денежных средствах... Некоторые угодили в проскрипционные списки из-за своих красивых загородных домов и вилл» (В.С., IV, 5-6).

К Цицерону, которого сам Цезарь считал гордостью Рима, человеком, которого следует беречь как зеницу ока, были посланы убийцы. Когда его, уже обессиленного старика, зарезали, на Форуме по приказу Антония были выставлены отрубленная голова и правая рука, которой он писал речи, где перечислял преступления этого человека.

«Одновременно с обнародованием проскрипционных списков ворота города были заняты стражей, как и все другие выходы из него, гавани, пруды, болота и все места вообще, могущие считаться удобными для бегства или тайного убежища. Центурионам приказано было обойти всю территорию с целью обыска. И вот тотчас же, как по всей стране, так и в Риме, смотря по тому, где каждый был схвачен, начались многочисленные и неожиданные аресты и различные способы умерщвления. Отсекали головы, чтобы их можно было представить для получения награды, происходили позорные попытки к бегству... Одни спускались в колодцы, другие — в клоаки для нечистот, третьи — в полные копоты дымовые трубы... Одни умирали,

защищаясь от убийц, другие не защищались, считая, что не подосланные убийцы являются виновниками. Некоторые умерщвляли себя добровольным голоданием, прибегали к петле, бросались в воду, низвергались с крыш, кидались в огонь или сами отдавались в руки убийц и просили их не мешкать... Некоторые убивали себя над трупами погибших» (В.С., IV, 12-14).

В те страшные дни жены проявляли чудеса храбрости и изобретательности, чтобы спасти своих мужей. Одна дает мужу все свои драгоценности и помогает скрыться, другая прячет мужа в постельный мешок и так довозит до корабля, третья переодевает его угольщиком. Ускользнув от надзора родителей, она сама бежит вслед за мужем, чтобы разделить с ним тяготы изгнания (В.С., IV, 39-40). До нас дошел любопытнейший документ — надгробный памятник одной римской женщине тех лет. Муж и жена испытали все ужасы гражданской войны и проскрипций. Потом они дожили до лучших времен и, когда жена скончалась, обожавший ее супруг написал эпитафию, где вспоминал всю ее жизнь. Вспоминая террор, он говорит: «Когда я узнал, что мне грозит страшная опасность, то лишь благодаря твоим советам я остался жив». Ему удалось бежать. Жена все силы положила на то, чтобы добиться его возвращения. Она пошла к триумвиру Лепиду и пала к его ногам. Он грубо отшвырнул ее. Но она не оставила попытки и наконец добилась его прощения (CIL, 1527).

Многих спасали рабы и вольноотпущенники. «Аппий отдыхал на своей вилле, когда к нему ворвались солдаты. Раб одел его в свою одежду, сам же, улегшись в постель, как если бы он был господин, добровольно принял смерть вместо него». Одного человека вольноотпущенник спрятал в железный сейф для бумаг, из которого он выходил только ночью (В.С., IV, 44). Вот какие ужасные сцены разыгрывались по всей Италии.

Антоний прославился своей ненасытной жестокостью. Но юный Октавиан, казалось, превзошел даже его. Он не жалел ни пленников, ни проскрибированных. На все мольбы он отвечал только:

— Ты должен умереть! (Suet. Aug., 15).

Философ Фавоний, прославившийся своей благородной честностью, когда попал в плен к триумвирам и его вели в цепях, почтительно приветствовал Антония, Августу же бросил в лицо самые жестокие оскорбления (Suet. Aug., 13).

Разумеется, тройственный союз не мог существовать долго. Каждый из триумвиров рвался к неограниченной власти. И вскоре вспыхнула новая война — уже между Октавианом и Антонием. Победил в ней Октавиан. И вот этот человек, проливший море крови, этот безжалостный злодей становится единодержавным правителем Рима. Казалось, теперь страна должна погрузиться в беспросветную мглу. И вдруг произошло чудо — злодей неожиданно превратился в мудрого и доброго владыку. Это символически было связано с переменой имени — Октавиана уже не существовало. Был Август.

Французский ученый Г. Буассье говорит, что от Августа осталось два подлинных документа, причем оба он писал сам. Первый — это указ о введении проскрипций, второй — так называемые «Деяния божественного Августа», его политическое завещание, в котором престарелый Август кратко рассказывает потомкам свою жизнь. «Политическая жизнь Августа вся заключается между этими двумя официальными документами... Один показывает нам, чем был Октавиан в двадцать лет, только что вышедши из рук риториков и философов... с действительными инстинктами своей природы; другой документ дает нам понять, чем он сделался после пятидесяти шести лет безграничной и бесконтрольной власти; стоит только сблизить их между

собой, чтобы понять, какой путь он свершил и какая перемена в нем произошла»^[1].

Такая изумительная метаморфоза, такая чудесная перемена к лучшему изумляет нас в любом человеке. Но когда мы узнаем, что произошла она в монархе, самодержавном правителе, мы должны изумиться еще более. Неограниченная власть, полная безнаказанность, неудержимая лесть придворных, хор которых неустанно твердит правителю, что он гениален, мудр и все, что он делает, великолепно — все это, к несчастью, портит даже порядочных, честных и умеренных от природы людей. Постепенно царь дает волю всем своим дурным страстям. Это слишком известно, и история царствующих династий зачастую представляет собой грустный рассказ о постепенной деградации человеческой личности. Здесь же перед нами обратный пример. Буассье справедливо говорит, что Август был, вероятно, единственным человеком, которого власть сделала лучше. Более того. Тот же Буассье полагает, что вся дальнейшая жизнь Августа представляет собой историю долгой и упорной борьбы с собой. От природы он был жесток, причем холодно жесток. Он начал с того, что губил своих благодетелей. А кончил тем, что прощал своих врагов и заговорщиков. От природы он был трус, дрожащий от одного вида оружия. Усилием воли он заставляет себя биться в первых рядах. От природы он любил роскошь и буйные оргии. Усилием воли он превращает себя в скромного умеренного человека.

Но каким образом и когда этот великий нравственный поворот произошел с Августом? И что было ему причиной — некое видение, как у Савла, смертельная опасность, которая потрясла все его существо и заставила по-новому осмыслить свою жизнь, или, быть может, знакомство с каким-нибудь мудрецом, который смог, по выражению Шекспира, повернуть ему глаза зрачками в душу и показал на ней красные и

черные пятна. Увы! Тщетно мы станем искать указания на это событие в многочисленных историях Августа и его античных биографиях. Ни слова об этом, ни полслова. Мы даже не можем указать год, когда этот поворот произошел. Но тогда, возможно, нам помогут «Деяния божественного Августа», то самое политическое завещание, о котором я говорила. Конечно, нельзя ожидать, что правитель империи напишет об этом прямо. Но, быть может, мы найдем хотя бы небольшой намек? И прежде всего, как описывает он свою кровавую юность, приход к власти, проскрипции. Не даст ли это описание нам в руки желанный ключ?

«В девятнадцать лет я собрал армию по собственному почину и на свой собственный счет. С помощью ее я восстановил республику... В благодарность за это сенат издал почетные декреты и принял меня в свои ряды... и поручил мне вместе с консулами Г. Пансой и А. Гирцием заботиться о благополучии государства... Когда оба консула умерли... народ назначил меня на их место и наименовал триумвиром для устройства республики».

Даже в политике редко встретишь столь беззастенчивую ложь. Октавиан действительно удостоился декретов сената, но за борьбу с Антонием. После этого он объединился с Антонием против сената и пошел на Рим. «Народ назначил меня на их место и наименовал триумвиром для устройства республики». Ну нет. Триумвиром его никто не назначал. Читаем далее.

«Я изгнал убийц моего отца, наказывая их преступления с помощью правильных судебных приговоров». Мы едва верим глазам — это написано о проскрипциях! Да, да. Это они были «правильными судебными приговорами»! Далее. «Победивши, я прощал сограждан»(!). И венец всего — установление принципата:

«В консульство М. Марцелла и Л. Аррунция, когда сенат и народ просили меня принять неограниченную власть, я ее не принял... В мое шестое и седьмое консульство, когда я покончил с междоусобными войнами и когда граждане по общему согласию предлагали мне верховную власть, я передал управление республикой в руки сената и народа... С этой минуты я никогда не брал власти более той, что была у моих коллег».

Думаю, не было ребенка в империи, который поверил бы этой лжи!

Перед нами отнюдь не исповедь раскаявшегося грешника, а искусно составленная, лицемерная, насквозь лживая прокламация прожженного политика.

Итак, преображение Августа остается неразрешимой тайной. Быть может, принцепс был подобен герою Достоевского и решил построить здание всеобщего счастья на крови тысяч замученных? Быть может, он решил загладить все преступления тысячью добрых дел и утешался мыслью, что действовал не для себя, а для общего блага? Или все-таки было обращение? Август был человек очень скрытный, лицемерный и лживый. Он никогда ни перед кем не обнажал свою душу. В сущности подданные знали об этом внешне таком простом и доступном человеке не больше, чем если бы он жил в отгороженном от мира замке. И все-таки нам известно, что его терзали жестокие муки совести. Невозможно себе представить, чтобы этот холодный, скрытный человек выставлял свои страдания напоказ, как Филипп Македонский или у нас Иван Грозный. Но он не сумел совсем укрыться от посторонних глаз. Мы знаем, что его мучили какие-то ужасные сны. После одного из них он, властитель мира, стал в определенный день выходить в рубище и с протянутой рукой просить у подданных подаяния. Такова была добровольная епитимья, которую он на себя наложил. Он нашел сына

Цицерона и осыпал его милостями. Август был суеверен, и, быть может, верил гораздо глубже, чем принято считать. Он смертельно боялся грозы, видя в ней гнев Юпитера. Но ждал ли он всю жизнь, как пушкинский Борис Годунов, «небесный гром и горе»? Во всяком случае, они на него обрушились.

Он был удивительно удачливый правитель. Он был не только мудр, ему повсюду сопутствовало счастье. Но «насколько божественный Август был счастлив в государственных, настолько же был несчастлив в семейных обстоятельствах», — говорит Тацит (Ann., III, 24). Действительно. Вся семейная жизнь Августа представляется цепью тяжелых несчастий. Кажется, что читаешь мрачную древнегреческую трагедию и слышишь тяжкую поступь Немезиды.

Август был женат трижды. Двадцати пяти лет, будучи женат на своей второй жене Скрибонии, он увидал Ливию. По-видимому, он влюбился с такой силой, что забыл все законы, установления и просто приличия. Он решил развестись со своей беременной женой и добился развода Ливии, которая тоже ждала ребенка. «Пленившись ее красотой, Цезарь (то есть Август. — Т. Б.) отнял ее у мужа и действовал при этом с такой поспешностью, что, не выждав срок ее родов, ввел ее к себе в дом беременной» (Tac. Ann., V, I). Ливии только что минуло 19 лет. То была красавица с холодным бесстрастным лицом и железной волей. С юности на их семью обрушилась вся тяжесть гражданской войны. Ее муж бежал из Рима. Ливия его сопровождала. Они прятались по лесам и чащам, и Ливия ни на минуту не спускала с рук только что родившегося у нее младенца. Не раз их жизнь висела на волоске, убийцы были совсем близко, они прятались и буквально слышали дыхание преследователей, и вдруг ребенок поднимал жалобный плач. Однажды они бежали прямо через горящий лес. Ливия крепко прижимала к груди ребенка, стараясь

уберечь его от огня. Пламя опалило ей волосы и одежду (Suet. Aug., 6).

И вот теперь эта гонимая женщина стала царицей всего тогдашнего мира. По отзывам современников, она была очень умна, скрытна и хитра. В семье ее называли хитроумным Одиссеем в юбке. Сам Август советовался с ней в трудных случаях. И она, говорит Тацит, была «хорошей помощницей в хитроумных замыслах мужу и в притворстве сыну». Притворяться она умела как никто. Август так страшился ее слишком острого ума, что в важных случаях говорил с ней по записке, боясь сказать что-нибудь лишнее (Suet. Aug., 84; Cal., 23; Tac. Ann., V, 1). Ливия никогда не перечила Августу и всегда знала, как ему угодить. Он был неверным мужем и имел постоянные связи на стороне. Ливия не только не устраивала ему сцен ревности, но сама подыскивала ему хороших любовниц (Suet. Aug., 71). Для нее важно было одно — любой ценой остаться женой принцепса. И она этого достигла. Непостоянный Август никогда даже не помышлял о том, чтобы расстаться с Ливией. Постепенно она забирала все больше и больше власти. С каждым годом ее влияние на принцепса усиливалось.

Эту женщину, внешне столь царственно красивую и приветливую, современники считали злым гением дома Августа. Говорили, что она рассорила принцепса с семьей, что постепенно клеветой и ядом она устранила всех претендентов на престол, расчистив путь своему родному сыну Тиберию, тому, которого она пронесла через огонь в младенчестве. Тацит говорит, что она ненавидела всех отпрысков Августа, но умела казаться ласковой и внимательной. «Ниспровергнув тайными происками своих пасынков и падчериц, она проявляла показное сострадание» (Ann., IV, 71). Сына же Тиберия она любила страстно, безумно.

У Ливии и Августа детей не было. Единственным его ребенком была дочь Юлия. Как раз после ее рождения

он официально развелся с ее матерью. Все, кого принцепс прочил в наследники, таинственным образом умирали. Сначала он хотел оставить престол любимому племяннику Марцеллу, но тот умер 20 лет от роду. Тогда Август остановил свой взор на сыновьях Юлии, своих внуках. Их было пятеро — трое мальчиков и две девочки. Сначала он назначил наследником старшего, но тот скоропостижно скончался. Он приблизил к себе второго, но и тот умер, едва переступив двадцатилетний рубеж. Не казалось ли тогда убитому горем принцепсу, что боги карают его за старые грехи? Тогда наконец осиротевший император выполнил желание Ливии и решил отдать власть ее сыну Тиберию.

Но беды Августа на этом не кончились. Если все его любимцы умирали юными и цветущими, то оставшиеся в живых родичи наносили ему удар за ударом. Август, заботясь о духовном здоровье государства, издал законы против безнравственности. И кто же стал их первой жертвой? Юлия, его единственная дочь! Отец вынужден был сослать ее на остров. Но вскоре за ней последовала и внучка. Последний же оставшийся в живых внук был так зол и дик, что дед и его отправил в изгнание. Принцепс, говорят, был в отчаянии. Он не мог слышать имени своих согрешивших детей. Ему казалось, что при этом прикасаются к открытой ране. Он твердил:

— Лучше бы мне и бездетному жить и безбрачному сгинуть! (Suet. Aug., 65).

Но этого мало. Август был отцом нежным и заботливым. Но в ответ на все свои ласки он все время ощущал в детях скрытую враждебность, почти ненависть. Юлия еще до своей ссылки, говорят, ненавидела отца. У Ливии было двое сыновей, Тиберий и Друз. Оба жили в доме Августа и он относился к ним как к родным детям. Так вот, Друз, оказывается, тайно мечтал о свержении монархии и восстановлении республики. Тиберий же внезапно заявил, что хочет

уехать из Рима и жить частной жизнью. А когда испуганные родители хотели было ему помешать, он отказался от пищи. Когда же умер старший внук Августа и он задумал оставить власть второму, Гаю, он тоже неожиданно заявил, что хочет уехать из Рима и жить частной жизнью. Похоже, все дети мечтали бежать из его дома. Ни богатство, ни блеск неземного могущества не могли приковать их к этой золотой клетке. Но почему же, почему? Этот вопрос должен был не раз задавать себе принцепс. Что-то было в этом доме тяжелое, страшное.

Что же это было? Я вижу две причины. Август отдал жизнь и душу ради власти. Мог ли он щадить своих родичей? Всех их, одного за другим, приносил он в жертву этому идолу. Была у него любимая сестра Октавия, кроткая, нежная, любящая, скромная, идеал римской женщины. Когда буйный союзник Антоний стал проявлять своеволие, Август задумал крепче привязать его к себе, выдав за него Октавию. Ему и в голову не пришло, что Антоний жесток и развратен, что Октавию он не любит и этот брак разобьет ей жизнь. И действительно. Антоний терзал жену непрерывными изменами. Но она все сносила и еще защищала его перед братом. Больше всего она боялась новой войны и стремилась помирить брата и мужа. «Если зло восторжествует, — говорила она, — и дело дойдет до войны, кому из вас двоих суждено победить, а кому остаться побежденным — еще неизвестно, я же буду несчастна в любом случае» (Plut. Ant., 35). Вскоре Антоний окончательно бросил ее ради Клеопатры. Он написал ей грубое письмо, где приказывал убраться из его дома. «Она ушла, говорят, ведя за собой всех детей Антония... плача и кляня судьбу за то, что ее будут числить теперь среди виновников будущей войны» (ibid., 57). Эти дети Антония были рождены от первого его брака и от самой Октавии. Вскоре к ним прибавились

дети Антония от Клеопатры. После Акциума Октавия взяла их к себе и воспитывала вместе с остальными. Всего их было у нее девять.

Но больше всего любила она старшего, Марцелла, рожденного ею от первого мужа. Но он скоропостижно умер двадцати лет. Октавия с тех пор решила умереть для мира. Она объявила, что вечно будет носить траур и вечно скорбеть. Между тем жизнь готовила ей новый удар. Марцелл был не только любимцем Октавии, его обожал Август. Его он и назначил наследником, а для этого женил на своей дочери Юлии. После его смерти надо было подумать о преемнике. Август остановил свой выбор на своем старом соратнике Агриппе. Его он и решает женить на овдовевшей Юлии. Но на беду Агриппа был уже давно женат, причем женат на дочери Октавии, сестре Марцелла. Но Августа это не смутило. «Он стал просить сестру уступить ему зятя» (Suet. Aug., 63). И кроткая Октавия, как всегда, смирилась. Она сама уговорила дочь, сестру Марцелла, развестись с мужем, чтобы тот мог жениться на юной вдове Марцелла!

Мне кажется, Октавия должна была чувствовать себя глубоко несчастной. Точно так же поступал Август и со своим пасынком Тиберием. После смерти Агриппы он вспомнил о нем и, разумеется, решил его женить на Юлии. Но Тиберий обожал свою жену, а о Юлии не мог думать без отвращения. Но на эти мелочи не обратили внимания. Тиберию строго приказано было немедленно оставить жену, кстати, дочь Агриппы, и жениться на вдове того же Агриппы. «Для него это было безмерной душевной мукой. К Агриппине он питал глубокую сердечную привязанность, Юлия же своим нравом была ему противна... Об Агриппине он тосковал и после развода; и когда один только раз случилось ему ее встретить, он проводил ее таким взглядом, долгим и полным слез, что приняты были меры, чтобы она никогда больше не попадалась ему на глаза» (Suet. Ti., 7). С

каждым годом Юлия становилась ему все ненавистнее. Многие считают, что причиной его добровольного бегства была именно она — ведь он не мог с ней развестись и уже буквально не мог видеть.

Но особенно безжалостен был Август со своим единственным ребенком, Юлией. Трудно представить себе что-нибудь более печальное, чем жизнь этой женщины. Как только она родилась, отец оставил ее мать и женился на Ливии. Мачеха была с ней притворно приветлива и нежна, но в душе ее ненавидела. Едва она немного подросла, отец помолвил ее с сыном Антония. Но Антоний вскоре стал его смертельным врагом, помолвка расстроилась и отец объявил Юлии, что она станет женой царя гетов. Можно себе представить, в какой ужас должна была ее привести перспектива стать женой варвара! Но и этот брак расстроился. Четырнадцати лет Юлия стала женой Марцелла. Дальнейшее нам уже известно. Она переходила от одного претендента на престол к другому. Все ее мужья брали ее скрепя сердце. Агриппа был глубоко несчастен и, по словам Плиния, умер измученный изменами жены и деспотизмом тестя. Юлия ответила на все это тем, что, махнув рукой на приличия, открыто завела любовников. Тогда отец сослал ее на остров, где она не видела людей и испытывала нужду во всем.

И ведь нам говорят, что оба они — и Юлия, и Тиберий — от природы не были дурными людьми. Юлия была мила и доброжелательна настолько, что римляне постоянно вспоминали ее и умоляли Августа ее простить. Но он остался непреклонен. Тиберий же вообще был блестяще одарен — умен, красноречив, смел, талантлив. Но она открыто стала публичной женщиной, он — одним из самых страшных преступников, которых знало человечество. Не падает ли вина за это отчасти и на Августа?

Такова, несомненно, первая причина того, что дети не желали жить под одной кровлей с принцепсом. Но была, на мой взгляд, и другая причина. Мы можем заметить ее, вглядываясь в поведение Юлии. Что заставляло ее так вести себя? Если она имела много любовников, то делала это, несомненно, следуя своим естественным склонностям. Но ей ничего не стоило скрывать свои романтические приключения, как это всегда делал ее отец. Сам Август охотно помог бы подобному обману. Он сделал бы все, только бы избежать громкого соблазнительного скандала. Но, когда мы узнаем, что Юлия открыто появлялась в публичных местах, окруженная стайкой своих любовников, что они устраивали на глазах всего народа громкие и шумные оргии, что она повсюду кричала о своем разврате, мы должны признать, что это уже был вызов. Кому же?

Дело в том, что в обществе того времени царил страшная атмосфера лжи. И исходила она от принцепса. Когда мы рассматривали его политическое завещание, мы видели, что он лгал и лицемерил постоянно, даже когда в этом не было нужды. Это проявлялось во всем. На лжи основан был сам принципат, детище Августа. Цезарь, захватив власть, прямо объявил, что республики больше нет. Он всем своим поведением ясно показывал, что установлена монархия. Август же твердил, что восстановил республику. Он хотел тем самым смягчить для римлян тяжесть монархического гнета. А вышло так, что он взвалил на их плечи еще одно бремя — бремя непрерывной лжи. Они не только были рабами, но еще должны были постоянно с веселыми лицами твердить: «Ах, как мы свободны! Ах, как мы счастливы!»

Август внешне заискивал перед сенатом, называя его истинным господином республики, между тем в важных случаях даже не находил нужным с ним советоваться. Он с улыбкой говорил, что готов

смириться с любой оппозицией — если его ругают, ему это не страшно: ведь он может ответить бранью на брань, как свободный человек. И в то же время он приказывал сжечь книги неугодного писателя и отправил поэта Овидия на медленную смерть в страну варваров! Этим он не только поработил тело, но и искалечил души своих подданных. Все страшные эксцессы времен Калигулы, Мессалины и Нерона — это сев, поднявшийся из семян, брошенных добродетельным Августом.

Но особенно сильна была эта ложь в самом доме принцепса. Его семья должна была быть идеалом для любого римлянина. Жена и дочь сидели за ткацким станком, как женщины древних времен, и он хвалился, что носит только одежду, сделанную их руками. Он постоянно твердил о своей скромности, а в то же время был сказочно богат. Он говорил, что в его семье царят самые чистые и строгие нравы, настойчиво ставил ее как пример для всего развращенного Рима, а между тем Ливия сама подыскивала ему любовниц и ходили слухи, что его агенты ищут ему всюду женщин, «раздевая и оглядывая взрослых девушек и матерей семейств, словно рабынь у работорговца Торания» (Suet. Aug., 69).

В таком доме росли Тиберий и Юлия. Но уроки семьи подействовали на них по-разному. Тиберий сделался законченным лицемером. Он сам говорил, что из всех своих свойств более всего гордится умением притворяться. Юлия же, от природы прямая и откровенная, возмутилась и взбунтовалась.

Между тем в обществе того времени наблюдалось странное явление. Не было ни тени той мрачной грусти, которую ощущали лучшие умы эпохи заката Республики. Напротив. Всех охватила какая-то легкомысленная бездумная радость, какая-то безумная жажда наслаждений. Были забыты стыд, честь, верность. Нравственные ценности, накопленные веками, были

разбиты и отброшены, как ненужный хлам. Тот считался большим героем, кто больше развратничал. Словно угар какой-то нашел на всех. Такие явления обыкновенно наступают после великой крови. Так было во Франции после революции 1789 года, так было в Англии опять-таки после революции в эпоху Реставрации при дворе легкомысленного и веселого Карла II; так было у нас во времена нэпа. Так было и в Риме.

Август заметил это явление и был не на шутку встревожен. Он знал, что жизнеспособны только общества, где крепка семья и сильны моральные устои. Вот почему он стал строго выговаривать своим ветреным подданным и напоминать о римских доблестях времен Республики. Можно себе представить, какой горькой насмешкой звучали эти слова для римской аристократии, которую он поработил и превратил в придворных. Чтобы посмеяться над лицемерным правительством, они стали бравировать своим развратом. Нечто подобное было в России в конце царствования Александра I. Тогда Пушкин и его молодые друзья открыто бросали вызов ханжескому правительству. Сходство это очень хорошо ощущал сам Пушкин. Он постоянно сравнивал себя с Овидием. Молодые аристократы собирались в блестящем салоне Юлии. Овидий сделался центром оппозиции. Они изощрялись в колких эпитаграммах по адресу правительства и тосковали по республике.

И тогда Август прибег к крайним мерам. Он издал знаменитые законы против безнравственности. Они сурово карали не только прелюбодеев, но мужа, если он не доносил о случившемся правительству и покрывал разврат. Законы, как и следовало ожидать, вызвали бурю возмущения. С негодованием вспоминали, что сам принцепс — прелюбодей, говорили, что он в связи с женами чуть ли не всех своих друзей. Тацит, сам поклонник древних нравов, никогда не прощавший

безнравственности и разврата, резко осуждает законы Августа. Он говорит, что принцепс зря ссылался на предков — они никогда подобных законов не приняли бы. И ядовито прибавляет, что смешно было называть обычные любовные интрижки громким именем святотатства, оскорбления величия и превращать в политические дела (Ann., III, 24).

Юлия и ее любовники выразили свое отношение к закону тем, что стали устраивать оргии чуть ли не на том самом месте, где принцепс публично объявил на весь Рим свои законы. За это она страшно поплатилась. Но принцепс, неужели он, наделенный таким умом, не понимал, что не законами можно поправить пошатнувшуюся нравственность?

Старость Августа Тацит рисует грустно. Он ослабел и телом и душой. Несчастья семьи его подкосили. Его терзают тяжкие недуги. Он стал уже жалеть о своей суровости. Тайно виделся он с опальным внуком, обнимал его и плакал. Но втайне от Ливии.

Почти все его потомки были в могиле. И он назначил наследником Тиберия. Перед смертью у него было ужасное видение — он жалобно кричал в бреду, что какие-то сорок молодцов тащат его куда-то (Suet. Aug., 99). Быть может, его больному воображению представились те страшные огненные люди, которые, согласно Платону, хватают умерших тиранов и бросают их в преисподнюю?

Как только принцепс испустил дух, Ливия и Тиберий отдали приказ умертвить его последнего внука, Агриппу Постума, того самого, которого он недавно со слезами обнимал. Юлию, «ссылную, обесславленную, после умерщвления Агриппы Постума (кстати, ее последнего сына. — Т. Б.) лишенную всякой надежды, Тиберий довел до смерти лишениями и медленным истощением» (Tac. Ann., I, 56). Однако и гордым мечтам Ливии не дано было сбыться. Она всю жизнь положила, чтобы добыть власть

Тиберию, и именно это принесло ей несчастье. Тиберий в душе ненавидел ее, ибо она вместе с отчимом играла его судьбой. Ливия была убеждена, что будет управлять наравне с сыном. А он лишил ее всякой власти. Она впала в немилость. Последние три года ее жизни он видел ее всего один только раз. Когда же она смертельно заболела, то напрасно все время ждала сына — он так и не пришел к ее смертному одру и не простился с ней. Он не пришел и на ее похороны. Тело этой некогда столь красивой женщины «было погребено лишь много дней спустя, уже разлагающееся и гниущее». Тиберий настолько ненавидел ее память, что даже расправился со всеми друзьями и близкими, кого она любила в последние годы! (Suet. Ti., 51).

Если бы Август мог видеть будущее!.. Он увидел бы череду своих наследников одного ужаснее другого. Он увидел бы страшные пыточные камеры своего преемника Тиберия. Следующего принцепса, безумного Калигулу, который грустил лишь о том, что у римского народа не одна голова, которую можно было разом отрубить; поистине какой-то дьявольский разврат Мессалины, злодеяния Агриппины и наконец Нерона. Как же ужасно оказалось здание, которое он строил с таким трудом!

Этой бурной эпохе и этому загадочному правителю посвящена книга французского ученого Ж.-П. Неродо. Особенностью ее является то, что автор хочет показать нам не политика, а человека. Он хочет сорвать маску, которую всю жизнь носил этот правитель, и заглянуть ему в лицо. При этом он пишет с чисто французской легкостью, увлекательно и свободно. Кажется, что читаешь отчет о деятельности какого-нибудь

современного американского президента, а не рассказ о жизни императора, жившего две тысячи лет назад. Неродо досконально изучил все источники, относящиеся к Августу. Все это делает его книгу и интересной, и содержательной.

Определенным недостатком книги следует признать то, что автор не очень хорошо ориентируется в истории республиканского периода, предшествующего эпохе Августа. Особенно это относится к римской религии. Он очень плохо представляет себе римские жреческие коллегии и путает их между собой. Он плохо знает римские magistratury республиканского периода. Естественно, он допускает подчас досадные ошибки, которые отмечены в комментариях. Иногда мы встречаемся с несколько странными утверждениями — например, что римляне в республиканское время не знали, где находится Македония. Между тем, не говоря уже о многочисленных картах, в моду вошли тогда путешествия по знаменитым городам Балкан, Малой Азии, Египта. Или, что современник Августа, Галл, был первым, который описал свои любовные переживания в стихах. Между тем знаменитейшие лирические поэты, описывавшие свои любовные муки, жили в конце Республики. Точно так же несколько странным представляется утверждение автора, что Британник и Мессалина умерли своей смертью. Британник, по словам всех античных авторов, был отравлен на пиру Нероном. Но если его смерть и можно еще как-то приписать естественным причинам — он внезапно умер на пиру, и все решили, что виной этому Нерон, — то уж в случае с Мессалиной это никак невозможно. Она была зарезана убийцей, посланным по приказу временщика ее мужа Клавдия.

Однако эти замечания не отнимают главного достоинства книги — попытку воссоздать Августа-человека.

Татьяна Бобровникова

Введение

**«ХОРОШО ЛИ Я СЫГРАЛ
КОМЕДИЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ?»»**

Легкая смерть

«Поскольку болезнь его усилилась, ему пришлось остановиться в Ноле (близ Неаполя). Он заставил вернуться только что покинувшего его Тиберия и долго беседовал с ним с глазу на глаз. После этого он больше не занимался важными делами.

В последний день своей жизни, время от времени справляясь, не начались ли в городе волнения в связи с его состоянием, он потребовал себе зеркало, велел, чтобы его причесали и подтянули обвисшие щеки, а затем впустил к себе друзей и обратился к ним с вопросом: «Как, по-вашему, хорошо ли я сыграл комедию своей жизни?» После чего добавил (по-гречески) традиционную реплику:

Коль хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием.

Затем он отослал их назад и стал выпрашивать у людей, прибывших из Рима, что нового слышно о дочери Друза, но в тот же миг внезапно испустил дух на руках у Ливии, успев проговорить: «Ливия! Помни, как жили мы вместе! Живи и прощай!»^[2]

Так, за 14 дней до сентябрьских календ, в девятом часу дня (19 августа 14 года н. э., около 15.00)^[3], скончался Август — человек, покончивший с Римской республикой и заложивший основы принципата. Случай или судьба тому причиной, но он встретил смерть в собственном доме и простился с жизнью в той же самой комнате, где умер его отец. Через 35 дней ему исполнилось бы 76 лет.

Светоний повествует об этой кончине, придерживаясь принятой схемы, согласно которой

соблюдается единство места, а действие разворачивается в рамках трех последовательных эпизодов, в результате чего постепенно обнажается истинная сущность принцепса.

Хотя разговор умирающего с его будущим преемником Тиберием протекал в обстановке секретности, догадаться о его содержании нетрудно. Ситуация сложилась действительно небывалая: четкой системы передачи власти Август не разработал, и никакой определенности, что наследует ему именно Тиберий, не существовало. Да и сам монархический характер режима полностью проявился только в момент смены власти. Кроме того, в живых еще оставался внук Августа, отбывавший ссылку на одном из островов, и как знать, может быть, во время своего тайного разговора собеседники как раз и обсуждали, как от него избавиться. Его и в самом деле «убрали» еще до того, как весть о кончине Августа стала общим достоянием. Август в данном случае снова выступил — в последний раз — под маской своей привычной роли и своей политической судьбы.

После избранного наследника настал черед друзей. Именно они стали той последней аудиторией, перед которой умирающий, как и положено всякому значительному лицу, произнес исторические слова. Август сравнил свою жизнь с пантомимой, то есть с весьма модным в ту пору развлекательным зрелищем, которое сменило старинную комедию, переняв из нее некоторые сюжеты и отдельных персонажей, но добавив искусство танца. Свою пантомиму Август довел до развязки и, только продекламировав дрожащим голосом стих, каким обычно заканчивались комические представления, дал волю родственным чувствам, приоткрыв перед смертью свое подлинное лицо.

Кончина принцепса на руках 72-летней Ливии, с которой его связывали 52 года супружества, выглядела

по-домашнему трогательно — как внезапная разлука до сих пор неразлучной пары. Вместе с тем торжественный «триптих», изображающий смерть Августа, представляется простым и сложным одновременно, таким же, каким был на протяжении всей своей жизни и сам изображаемый персонаж. Слово «персонаж» выбрано не случайно, ибо оно как ни одно другое точно подходит человеку, который практически до последнего вздоха вел себя так, будто постоянно находился на сцене. Невозможно сказать, в какой момент он наконец вышел из роли, чтобы без грима предстать перед лицом смерти, да и вышел ли из нее по-настоящему.

Судить об этом тем труднее, что существует еще одна версия ухода из жизни Августа, изложенная Дионом Кассием. Согласно его рассказу, Тиберий не только не присутствовал у смертного одра принцепса, но и последние слова умирающего были обращены вовсе не к Ливии. Вот его краткое описание этого события:

«Август, которого настигла болезнь, созвал своих друзей и сказал им все, что хотел сказать, а в конце своей речи добавил: «Я получил Рим кирпичный, а вам его оставляю мраморным». Под этими словами он разумел не внешний вид зданий, а прочность империи, и подобно театральным актерам, которые в конце пантомимы требуют аплодисментов, произнес несколько шуток о человеческой жизни»^[4].

Горделивую фразу про кирпич и мрамор, построенную с использованием сразу двух стилистических фигур — метафоры и метонимии, Светоний в свой рассказ не включил, хотя, конечно, слышал ее. В его изложении Август взывает к памяти жены, как будто опасается, что она его скоро забудет, и это его беспокойство добавляет к торжественной картине смерти, похожей на образцовую смерть мудреца, после кончины Сократа ставшую правилом, штрих простой человечности. В лице Августа уходит из

жизни государственный муж, озабоченный вопросом престолонаследия; мудрец, умеющий с насмешкой говорить о земной тщете; наконец, просто человек, у которого есть друзья, родственники и жена. Дион Кассий смазал этот последний, домашний штрих и отдал предпочтение описанию смерти государственного деятеля, долгое время игравшего главную роль на сцене человеческого тщеславия.

Но и в том и в другом рассказе перед нами почти образцовая кончина человека, оставившего в наследство осиротившей обширной империи политический режим, которому на протяжении ближайших пяти столетий предстояло определять не только ее собственную судьбу, но и судьбы других народов. Признавая заслуги усопшего, римский сенат причислил его к богам. По всему миру появились воздвигнутые в его честь храмы со своими жрецами, а преемникам досталось его имя.

По завершении своего земного пути Август действительно стал божеством — не таким, конечно, как Юпитер, Марс или Нептун — этих «природных» богов римляне называли словом «dei», — а божеством («divus»), вознесенным на небеса по решению сената, но почитаемым наравне с богами. Между тем для значительной части населения империи, говорившего по-гречески, для обозначения обоих этих понятий использовалось одно и то же слово «theos» (бог), так что они видели в Августе такого же бога, как и любого другого. Мало того, если в Риме он удостоился этого звания только после смерти, в провинциях его обожествляли уже при жизни.

Нам эпоха Августа во многом кажется странной. Люди того времени считали нормальным, что в мире порой происходят самые невероятные чудеса, резко меняющие привычный ход вещей. О них писали историки, рассказы о них охотно использовали в собственных целях те, кто стоял у кормила власти. С

точки зрения нашего современника, чтобы принимать за чистую монету все эти сказочные легенды, надо обладать совершенно фантастической доверчивостью. Разумеется, среди простого народа вера в сверхъестественное пускала корни легче, чем среди социальной и интеллектуальной элиты, однако и самые образованные люди прислушивались к предсказаниям и гороскопам и верили в приметы.

Вместе с тем они прекрасно владели языком символов, умея извлекать из них глубоко скрытый смысл. Полностью отдавая себе отчет в абсолютном неправдоподобии тех или иных историй, они видели в них одно из средств выражения тайны реально существующей действительности. Слова, сказанные Титом Ливием о Риме, вполне приложимы к Августу:

«Если и существует народ, справедливо претендующий на священное происхождение, связанное с вмешательством богов, то военной славе Рима довольно величия, чтобы род человеческий, признавая его власть над собой, также признал за ним право вести свой род и род своего основателя скорее от Марса, чем от любого другого из богов»^[5].

Римляне верили в действенную силу слова, придающую форму и прочность сырой материи реальности. Объявить Августа богом значило признать, что своей жизнью он явил пример добродетели и что, почитая его, человечество чтит лучшее, на что способен человек, то есть божественное в человеке. Да и в самой личности Августа находит наиболее наглядное воплощение это странное сочетание прозорливости ума и немощи разума, вынужденного отступить перед непроницаемой загадкой вселенной.

Но, умирая, этот самый могущественный в мире человек, прекрасно сознававший масштаб своей нынешней и грядущей посмертной славы, этот будущий бог нашел для прощания с земной судьбой не громкие, а

простые слова, словно пытался сбросить маску величия, которую носил много лет. Впрочем, может быть, он просто сменил эту маску на другую, чье величие измеряется единицами совсем другого порядка.

Принцепс в маске?

Он настолько тщательно подготовил свою роль, что лишь сам да еще несколько самых близких ему людей знали, что он умирает — как обыкновенный человек. Для многих жителей империи, особенно ее восточной части, давно почитавших его как божество, он просто отправился к богам, сравнявшись с ними в добродетели. Он сам составил Деяния (Res Gestae)^[6], которые после его смерти выгравировали на двух бронзовых колоннах, установленных возле его могилы, а копии разослали по всем провинциям империи. Историю своей жизни и деятельности он изложил по восходящей, так, чтобы за этим перечислением не угадывались ни превратности карьеры, неудачные моменты которой исчезли из людской памяти только после того, как он добился решающего успеха, ни вероятные перемены в его собственном характере.

Создание исторической биографии Августа явится своего рода расследованием, конечная цель которого — сорвать с героя маску. Осуществить такое расследование тем труднее, что принцепс, чью тайну мы будем пытаться раскрыть, никогда и не скрывал, что носит маску, давая понять, что в этом и заключается его главная особенность. И античные, и новейшие историки, определяя характер Августа, привычно говорят о его двуличии и наперегонки стараются ее изобличить. Но разве не является эта черта общей для всех без исключения правителей? Август обладал ею не больше, чем любой другой деятель его уровня, а может быть, и меньше. И предполагать, что власть бывает прозрачной, а властитель — искренним и открытым, значит находиться в плену иллюзии, наивность которой доказана всей историей человечества.

Впрочем, складывается впечатление, что Август довел искусство маскировки до совершенства. Светоний сообщает, что он никогда не выступал ни перед сенатом, ни перед народом, ни перед солдатами, не обдумав заранее и тщательно не проработав своей речи, хотя в неожиданных ситуациях умел импровизировать. «Дабы не полагаться на могущую подвести память и не тратить времени на заучивание наизусть, он взял привычку зачитывать свои речи. Он загодя набрасывал даже личные беседы, в том числе и со своей супругой Ливией, если считал их важными, и говорил, сверяясь с заметками, потому что опасался, что без подготовки скажет слишком много или слишком мало» (Светоний, LXXXIV, 2-3).

Не стоит торопиться, объясняя эти предосторожности скрытностью. В самом деле, если боязнь сказать слишком мало обычно диктуется стремлением не упустить той или иной важной мысли и в сущности выражает недоверие к собственной памяти, то за страхом сказать слишком много кроется нежелание выдать под влиянием удивления, поспешности или волнения нечто такое, о чем ни в коем случае нельзя проговориться, или то, о чем просто лучше умолчать, или то, о чем следует сказать совершенно иначе. Эти три мотива не имеют между собой ничего общего, и лишь последний из них может быть расценен как свидетельство скрытности политика. Впрочем, с тем же успехом его можно приписать заботе об эстетической стороне дела.

Август, который отличался достаточно тонким литературным вкусом и вообще неплохо разбирался в литературе, не терпел невнятности и всегда старался выразить свою мысль предельно точно. Он предпочитал пожертвовать изяществом слога, лишь бы сохранить ясность изложения. И в письменных, и в устных выступлениях он сознательно избегал любого кокетства,

любых стилистических ухищрений, способных затруднить слушателю или читателю понимание его речи. В этом вопросе он решительно не соглашался с Антонием, которого упрекал в стремлении не столько донести до людей свои мысли, сколько поразить их. Всю свою жизнь он с особым вниманием следил за тем, чтобы быть правильно понятым окружающими, и близким советовал поступать так же. Так, внучке Агриппине, которую высоко ценил за ум, он писал: «Старайся говорить и писать без тумана» (Светоний, LXXXVI).

Следовательно, готовясь к выступлениям и беседам, Август преследовал в том числе и цель сказать именно то, что нужно сказать, используя точные слова, взятые в нужном и достаточном количестве. Разумеется, его твердое стремление к ясности речи само по себе не доказывает, что он всегда говорил одну лишь правду. Но и тот факт, что он никогда не произнес ни одного слова впустую, не может служить доказательством, что среди этих слов не попадалось ни одного искреннего. Высшее мастерство персонажа, уверяющего, что он выступает в маске, в том и заключается, чтобы высказать свои сокровенные мысли так, чтобы окружающие при этом приняли бы их за текст роли.

Вместе с тем, подчеркивая скрытность и двойственность Августа, мы предполагаем, что и это притворство, и это двуличие делали его способным в чем-то обмануть современников. Но ведь очевидно, что, отдавая предпочтение видимости над сущностью, он вовсе не рассчитывал обвести вокруг пальца окружавших его политиков, которые прекрасно понимали истинный смысл любого его поступка. Он видел свою задачу в установлении такого режима, который внешне выглядел бы как реставрация республики, но на самом деле являл собой монархию. И не Август выбрал строй, основателем которого ему пришлось стать: заложенную в нем двойственность

определили обстоятельства. И сама эта двойственность явилась не результатом стремления кого-то обмануть, а следствием политического прагматизма и одновременно своеобразной данью уважения к древним обычаям.

Римляне веками не уставали твердить о своей ненависти к монархии, однако на протяжении последнего столетия в римское сознание постепенно все глубже проникала идея, что для спасения государства необходимо, чтобы им управлял один человек. Они нуждались в царе, который не назывался бы царем. Тот политический контекст, в котором предстояло действовать Августу, предусматривал единственный выход: играть комедию, причем комедию с участием главных действующих лиц, выступающих перед публикой, которая понимает, что она присутствует на представлении, а значит, внимательно следит за качеством игры и логикой ее развития. Словам в этой пьесе, в любой момент грозившей обнажить свою изнанку, придавалось огромное значение, возможно, не меньшее, чем делам, и Август ораторствовал с предельной осторожностью.

Сама ситуация предполагала разрыв между реальностью монархического устройства и видимостью восстановления республиканских институтов. Этот разрыв, проявившийся в несоответствии сущности режима и его политической формы, наложил свой отпечаток и на личность Августа, заставив его быть одним, а казаться совсем другим. Однако в этом соотношении определяющую роль играло все-таки не «казаться», а «быть», и Август никогда не скрывал своих неустанных трудов над внешним обликом принцепса. Он и потомкам передал в наследство определение того, что должен представлять собой принцепс. Свой финальный апофеоз, превращения в божество, покровительствующее городу, он выстроил по образу

человека, силой своих добродетелей шагнувшего за пределы человеческих возможностей.

Власть, определяемая как преодоление собственной сущности, требовала «показа» этой сущности — не обязательно подлинной, скорее некоего образа, достаточно правдоподобного, чтобы на его основе судить о размахе и успешности самопреодоления. Принцепсу это позволяло обосновать свой внешний образ, создаваемый относительно совершенного человеческого образа, который он выдавал за свою сущность. Исходя из этого, высказывания Августа, приводимые античными историками, можно расценивать либо как в целом искренние, либо как полностью лживые. В тех случаях, когда он явно грешил против истины, например, в истории с дочерью, его ложь отнюдь не вводила в заблуждение современников, которые понимали ее необходимость, вызванную логикой роли. Впрочем, нельзя сказать, что он только и делал, что лгал, когда признавался в своих неудачах и разочарованиях и во имя человечности скрывал истину.

Всю свою жизнь он упражнялся в красноречии, порой в самых неподходящих условиях, например, при осаде Модены. Он знал, что оратор, готовя речь, выбирает нужный «этос» — форму изложения и тон, наиболее подходящие для конкретной темы и данной аудитории. Его главной темой оставалась власть, однако в Риме ему приходилось скрывать ее монархическую сущность. Публика, к которой он обращался, также не отличалась однородностью. С одной стороны, его слушали люди образованные и искушенные в риторике, не хуже него умевшие жонглировать политическими идеями и способные уловить любой подтекст, с другой — плебеи, которых в основном интересовали сугубо материальные вещи, например, продовольственное снабжение города. Отношение последних к правителю изменялось: от

горячей любви до холодной неприязни в зависимости от того, насколько полно он удовлетворял их требования.

Но ведь кроме Рима существовала еще и огромная империя, над которой Август должен был утвердить свою власть и свою личность. Ее западная часть, в основном покончившая с войнами, убедилась, что былой свободы уже не вернуть, и в принципе созрела для того, чтобы признать за победителем сверхчеловеческие добродетели. Что же касается восточной части, которая издревле находилась под властью царей, то здесь дела зашли еще дальше. В самых отдаленных провинциях римского владыку считали просто новым царем; Египет, например, признал в нем нового фараона. Всячески избегая царского титула в Риме, в грекоязычных странах Август соглашался именоваться *басилевсом* и уклониться от этого звания не мог.

Перед лицом этой пестроты ему приходилось искать для себя внешний образ, составленный из множества граней. Он нашел свой «этос» в промежуточной по весомости форме между традиционной римской *auctoritas*^[7] и священной властью греческих царей. При этом такое его качество, как простота в общении, перекликалось и с демократизмом древних римских магистратов, и с приветливостью добрых царей.

Неизвестно, скрывала ли эта маска его истинный облик или скорее придавала его чертам определенный стиль. Действительно, вникнув еще раз в последние произнесенные им слова, нельзя не заметить и той простоты, что заставила принцепса сравнить себя с актером театра пантомимы, и той серьезности, что сквозит за его рассуждением о мире как о театре. Так что же перед нами — маска или выражение подлинного лица человека, который никогда не заблуждался относительно своей жизни и, будучи актером на ее сцене, в равной мере оставался и зрителем разыгрываемой пьесы?

Непостоянный человек?

В начале своей жизни Август играл совершенно другую роль, в которой проявились иные стороны его личности. Впрочем, для человека, который прожил 76 лет, в этом нет ничего странного. Монтень, считавший, что человек есть олицетворение непостоянства, поэтому судить о нем на основании самых общих сторон его жизни невозможно, в качестве примера приводил как раз Августа («Опыты», II, 1):

«Ввиду природного непостоянства наших нравов и суждений мне часто казалось, что даже хорошие авторы ошибаются, с завидным упорством пытаюсь представить нас в форме неизменных и твердых натур. Они создают некий обобщенный образ, а затем, глядя на эту картинку, принимаются подгонять под него и толковать поступки того или иного лица, а если не в силах объяснить их, как им хочется, обвиняют это лицо в скрытности. Но Август от них ускользнул, ибо в этом человеке проявилось такое разнообразие поступков, всегда внезапных на протяжении всей его жизни, что он, цельный и не поддающийся определениям, недоступен и самым дерзким судьям».

Последнее следует понимать в том смысле, что люди, которым достало отваги судить Августа, в конце концов признали за ним цельность натуры и отказались от стремления разложить ее по полочкам. Эта мысль должна внушить биографу Августа великую осторожность: если уж ему недостает мудрости отказаться от замысла поведать о его жизни, пусть по крайней мере не претендует на возможность раскрыть «неизменную и твердую натуру» своего героя. И тогда все превосходство Августа над обыкновенными людьми сведется к тому, что в силу своего положения он явит

собой высший образец непостоянства как свойства человеческой природы. В конечном счете его исключительность — это исключительность самого яркого примера, иллюстрирующего черту, присущую всем людям.

Монтень тонко уловил метаморфозы, отметившие жизнь Августа, но еще до него это сделали римские историки и философы, для которых этот факт стал общим местом. Так, Сенека, беседуя со своим учеником Нероном, приводил Августа в качестве примера («О милосердии», III, 7, 1 и 9, 1-2):

«Божественный Август был принцепсом, исполненным мягкости, если судить по его личному правлению, однако в несчастную для государства пору (во времена триумvirата) и он потрясал мечом... К 20 годам он уже успел обагрить свой меч кровью друзей, уже втайне злоумышлял против консула Марка Антония, уже участвовал вместе с ним в проскрипциях... В юности он отличался горячностью, легко впадал в гнев и совершил немало преступлений, о которых не любил вспоминать... Да, он проявил мягкость и умеренность, но лишь после того как оросил римской кровью море у Акция, после того как погубил свой и вражеский флот возле Сицилии, после того как устроил резню в Перузии и организовал проскрипции. Нет, я не назову «милосердием» былую жестокость».

Итак, милосердие, которому в идеализированном портрете Августа отводится такая важная роль, может оказаться лишь очередной маской. В этом случае его обращение в милосердного человека должно объясняться либо усталостью и тем, что с годами некоторые черты его подлинной природы смягчились, либо политическим приспособленчеством, а это означает, что он никогда не переставал быть самим собой, то есть жестоким карьеристом, который, добившись своего, притворяется, что стал другим.

Этот вопрос начал обсуждаться еще во времена античности, но так и не нашел решения. Юлиан, например, описывает воображаемый спор об Августе между Аполлоном и Силеном, приемным отцом Диониса. Аполлон вспоминает о благоговении, которое демонстрировал по отношению к нему Август, и уверяет, что тот переменялся главным образом под влиянием стоицизма, тогда как Силен продолжает считать его хамелеоном, менявшим окраску в зависимости от обстоятельств^[8].

Способность к приспособлению находит свое выражение в некоторых внешних приметах, за которыми кроются действительно серьезные перемены. Взять хотя бы смену имен. При рождении его звали Гай Октавий по прозвищу Фуриец. Затем его усыновил двоюродный дед Юлий Цезарь, и он превратился в Гая Юлия Цезаря Октавиана; позже свое личное имя он сменил на титул Императора, наконец, взял прозвище Август, под которым и стал известен. К моменту его смерти о Гае Октавии никто уже и не вспоминал — он исчез из списков граждан еще в 44 году^[9].

Значит ли это, что вместе с именем исчез и характер молодого человека, звавшегося Гаем Октавием? Но кто же тогда появился вместо него? В связи с этим интересно вспомнить, что на протяжении своей жизни Август поочередно пользовался тремя разными печатями. Конечно, точного ответа на поставленный вопрос этот факт не дает, тем более что мы не знаем, когда именно он менял одну печать на другую. Первую он нашел в ларце для драгоценностей, принадлежавшем его матери. У нее было два похожих кольца с резными камнями, украшенными изображением сфинкса. Запечатывая свои письма подобной фигурой, он как будто признавал — не без нахальства, что в глазах римлян его появление на политической сцене таит загадку, скрывает вопрос, который он, обращая его

согражданам, возможно, задавал и самому себе: «Кто я? Гай Октавий или Цезарь?»

Но получатели писем откровенно потешались над символом тайны, вышучивая сфинкса — любителя загадывать загадки, и тогда он выбрал другую печать, на сей раз с изображением Александра Македонского. Это случилось после его победы при Акции, когда он побывал в Египте, где для него открыли саркофаг Александра, которому он отдал дань почтения. Тогда же ему предложили осмотреть усыпальницы Птолемеев, на что он ответил: «Я хотел видеть царя, а не мертвецов» (Светоний, XVIII). Тем самым он выразил и свое восхищение величайшим завоевателем античности, и свое желание сравняться с ним в славе. В начале 20-х годов он все еще пользовался этой печатью, поскольку именно она фигурирует на статуе в Прима Порта, воздвигнутой в честь возврата парфянским царем значков, захваченных у римлян.

Но идеальным образцом Александр служить не мог. Да, благодаря своему военному гению он сумел покорить мир, но в то же время оставался примером невоздержанности и неутолимой жажды самых диких удовольствий. И Август без колебаний отбросил печать со слишком спорной символикой и взял себе новую — с собственным изображением, выполненным греческим художником Диоскуридом с соблюдением полного портретного сходства.

Значит ли это, что, отказавшись от мифологических и исторических символов, Август наконец-то нашел точку соприкосновения со своей истинной сущностью? Ничего подобного. Напротив, он «подарил» свое лицо той должности, которую исполнял, подчинив ей свою личность, и не случайно наследники Августа продолжали пользоваться его печатью, видя в ней символ преемственности власти. Политическая подоплека этого хода ничем не отличалась от той, что

подвигнула Людовика XIV поначалу окружить себя атрибутами языческих богов и выступить в ореоле славы великого Александра, чтобы в конце концов отказаться от любых образов, кроме собственного, словно утверждая тем самым, что для государя прожить жизнь значит стать самим собой.

Между тем не исключено, что стремление стать самим собой подразумевало, в числе прочего, исполнение предсказаний гороскопа. Любопытно, что у Августа был не один, а сразу два гороскопа! Так, у Светония (XCIV) читаем:

«Август настолько верил в свою судьбу, что даже обнародовал свой гороскоп и отчеканил серебряную монету со знаком созвездия Козерога, под которым он был рожден».

Странное заявление относительно человека, рожденного в сентябре, то есть под знаком Весов! Но вот что пишет Германик:

«О Август! Силою того же небесного тела, что дало тебе рождение, Козерог вознес к небесам твою божественную душу»^[10].

С другой стороны, Вергилий предрекал, что Август, обратившись после смерти в звезду, займет свое место между Скорпионом и Девой, то есть именно там, где положено находиться Весам^[11]. Того же мнения придерживается и Манилий, повествующий о судьбе ребенка, явившегося на свет под знаком Весов:

«Счастливо дитя, рожденное под коромыслом Весов — знаком совершенного равновесия! Оно станет полновластным судьей, распоряжающимся жизнью и смертью; оно подчинит себе народы и даст им закон. Пред ним падут города и царства. Все будет делаться, как оно того пожелает, и, завершив свой земной путь, оно обретет могущество в небесах»^[12].

Совершенно очевидно, что в этих строках говорится о судьбе Августа. Но какой же знак — Весов или

Козерога — Август считал своим? В спорах по этому вопросу исследователи извели море чернил. Самое простое решение, как нам кажется, заключается в том, что он сам колебался между знаком, господствовавшим в момент его рождения, то есть Весами, и Козерогом, определившим его зачатие. Преимущество Козерога состояло в том, что это созвездие считалось знаком Ромула и самого Рима, зато Весы олицетворяли царство справедливости. Август не хотел отказываться ни от одного из этих символов, заставив потомков ломать себе голову над еще одной его загадкой, из-за которой Светонию пришлось «переместить» знак Козерога на сентябрь.

Возможно также, в этом проявилось его желание внести сознательную путаницу в природу носителя особой судьбы, рожденного под двумя знаками. Так кем же он был — «владыкой» (*dominus*), «царем» (*rex*, греческим «басилевсом»), чье появление возвестили предсказания? Или спасителем отечества, полководцем, удостоенным благословения богов? Или просто человеком, который благодаря своим исключительным добродетелям занял место Первого среди людей, то есть принцепсом^[13]? На самом деле он выступал во всех этих ипостасях, хотя далеко не в одно и то же время и отнюдь не в одном и том же месте.

Постоянство принцепса?

Справедливости ради следует признать, что повесть о жизни Августа несет на себе отпечаток той резкой перемены, которая произошла в образе его действий. Первая часть его биографии похожа на приключенческий роман — с более или менее дальними походами, безжалостными схватками, опасностями и кровавыми преступлениями, разыгрывающимися под аккомпанемент воплей, криков и стонов. Но вот он добился поставленной цели — и рассказ о нем превращается в семейную хронику с ее приглушенной атмосферой, с описанием сцен домашней жизни, в которой тоже порой разыгрываются жестокие баталии, но только соперники предпочитают драться на рапирах с предохранительным наконечником.

С той самой поры, когда Август остановил окончательный выбор на последней из своих печатей, он демонстрировал поразительное постоянство и в действиях, предпринимаемых в качестве принцепса, и в образе, который старался внушить окружающим. Ни разу не изменил он своему упорному стремлению осуществить исторические преобразования, в которых нуждалась империя, а если иногда и позволял себе кое-какие отступления, то продиктованы они были не капризом или трусостью, но желанием соблюсти верность генеральной линии. Порой то, что на поверхностный взгляд казалось отступлением, на самом деле скрывало глубочайшую приверженность раз и навсегда избранному курсу.

Он даже внешне не менялся, вернее, почти не менялся. Так, мы прекрасно знаем, как выглядел Людовик XIV в старости, не говоря уже о Бонапарте, который, став Наполеоном, кажется, и вовсе обрел

другое лицо. Но вот облик Августа, запечатленный на его портретах, хоть и делался с годами чуть более жестким, но все равно оставался молодым и прекрасным. Даже умирая, он попытался стереть со своего увядшего лица разрушительные следы, наложенные старостью, словно мечтал вновь обрести тот безупречный профиль, что когда-то увековечил Диоскурид. Август хотел в последний раз стать таким, каким благодаря бесчисленным портретам его знала вся империя от Рима до глухих провинций — навеки застывшим в величественной красе зрелости. Политической зрелости, символизовавшей возраст империи, которой, если судить по облику ее основателя, никакая дряхлость просто не могла грозить.

В попытке Августа и на смертном одре вернуть красоту своему лицу, привлекательности которого до последних дней не одолели ни годы, ни невзгоды, видны и его величие, и его пафос. «Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие; он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы — рыжеватые и чуть вьющиеся, брови — сросшиеся, уши — небольшие, нос — с горбинкой и заостренный, цвет кожи — между смуглым и белым. Роста он был невысокого — впрочем, вольноотпущенник Юлий Мараф, который вел его записки, сообщает, что в нем было пять футов и три четверти, — но это скрывалось соразмерным и стройным

сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми» (Светоний, LXXIX).

Если Юлий Мараф говорит правду, значит, рост Августа достигал 1 м 70 см, что для той эпохи было даже выше среднего. Вот почему в словах Светония проскальзывает некоторое удивление, которое может быть объяснимо его осведомленностью о том, что Август, сожалеющий, что природа не наградила его исключительным ростом, носил обувь на высокой подошве.

Впрочем, если судить по изваянию, запечатлевшему Августа босым, которое Ливия велела воздвигнуть на вилле Прима Порты, он вовсе не был низкорослым. Это посмертная статуя, но описанная Светонием красота телесной оболочки оригинала предстает здесь во всем своем неувядаемом совершенстве. Тяжесть корпуса приходится на правую ногу, тогда как левая, в манере статуй Поликтета, касается земли лишь кончиками пальцев, что производит впечатление динамики и устойчивости. Лицо вылеплено согласно канонам греческой классической скульптуры и состоит из трех равновеликих частей. Небольшими уступками индивидуализации, вызванными необходимостью портретного сходства, выглядят лишь спускающиеся до середины лба пряди волос да, пожалуй, слишком выступающий нос. Разумеется, скульптура не способна передать особого блеска глаз, который, возможно, служил умелым средством маскировки природного недостатка. В самом деле, если верить Плинию Старшему, в сине-зеленых глазах Августа с непропорционально большими белками было что-то лошадиное, поэтому он очень не любил бросаемых на него слишком пристальных взглядов^[14].

Для искусства официоза тело Августа перестало стариться примерно после сорока лет, а пережитые им душевные страдания никак не отразились на внешней

безмятежности его портретов, оставив по себе лишь легкие морщинки. Даже после смерти его продолжали изображать мужчиной в расцвете сил. Дело в том, что художники той эпохи запечатлевали не просто портрет человека, а облик его вечного двойника, именуемого *гением*. Олицетворяя духовное начало, гений человека оказывался неподвластен времени. Поэтому, глядя на статуи, барельефы и монеты с профилем Августа, мы видим не его, а его гения; его же Диоскурид вырезал на камне, из которого Август сделал себе печать. И нам никогда не узнать, как выглядел Август в старости, хотя легко догадаться, что он увял и поблек.

Но и для его души бурные события жизни не прошли бесследно. К старости Август почувствовал себя в густой паутине одиночества, которую сплела вокруг него его собственная жестокость, пышным цветом расцветшая в годы гражданской войны, когда он, как, впрочем, и другие, позволял себе слишком многие беззакония. Может быть, в миг прощания с Ливией, уронив маску, он, назубок вытвердивший роль божества, вдруг лицом к лицу столкнулся с собственной совестью, и в нем вспыхнуло желание простого человеческого тепла, которого уже никто не мог ему дать? Ощутил ли он себя жертвой стечения обстоятельств, которыми никогда по-настоящему не управлял, мирясь с любыми их последствиями во имя общих интересов?

Вряд ли подобные мысли посещали юного Цезаря Октавиана в ту пору, когда он замышлял и осуществлял самые кровавые преступления. Но мы почти уверены, что они всплывали в гаснущем сознании старого Августа, которому в смертный миг открылась вся необъятность его одиночества. Как знать, может быть, даже жена вздохнет с облегчением, когда его не станет?

Наверное, воспоминания о прошлом продолжали преследовать его. Мы никогда не узнаем, что являлось

ему в ночных кошмарах, — не желая пересказывать своих снов, он уверял близких, что ему снится всякая бессмыслица. Не легче разгадать и смысл последнего страшного видения, посетившего его незадолго до кончины. Ему пригрезилось, что его схватили (*abripī*) и куда-то потащили сорок молодых мужчин. По мнению Светония, считающего, что Август умер легкой смертью, о которой всегда мечтал, «только один раз выказал он признаки помрачения, но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно сорок воинов-преторианцев вынесли потом его тело из дома» (Светоний, ХСІХ, 4).

Толкование Светония сбивчиво и нелогично. Почему мы думаем, что оно сбивчиво? Не найдя для эпизода с видением подходящего места в «сценарии» смерти, он спутал причину со следствием. В самом деле, разве не яснее выглядела бы картина, если бы Светоний написал, что накануне кончины Август впал в состояние бреда, в котором ему явилось точное число преторианцев, выносящих его тело, но затем пришел в себя и умер в полном сознании, обращаясь к Ливии? Почему, на наш взгляд, оно нелогично? Потому что преторианцы должны были нести тело с величайшим почтением, а видение Августа напугало его до ужаса. Кстати сказать, употребленный Светонием глагол «*abripī*» обозначает именно «схватить» и никак не приложим к тому, что делали с телом преторианцы; в последнем случае уместен глагол «*extollere*». Если на основе текста Светония попытаться реконструировать, что же именно кричал Август, то, очевидно, окружающие должны были услышать нечто вроде: «Меня тащат из постели сорок молодцов!»

Можно предложить и другие варианты. «Что это за сорок молодцов, которые...» Или: «Почему эти сорок молодцов тащат меня из постели?» Или: «Куда меня тащат эти сорок молодцов, которые...»

Но и это еще не все. Он оставил подробные распоряжения относительно своих похорон, следовательно, знал и число преторианцев, которые понесут его тело. Значит, его видение не несло в себе ничего пророческого, если, конечно, не считать его знаком приближающейся кончины, но разве и без всяких знаков не было очевидно, что он умирает?

Рискнем выдвинуть другую гипотезу, прекрасно понимая ее уязвимость. Итак, Август на краткий миг впал в забытие и увидел сгрудившихся вокруг него «молодцов». Их было много. Либо он успел их сосчитать, либо, как это часто случается во сне, просто знал, что их ровно сорок. Они грубо выдернули его из постели и куда-то потащили. Если правда, что перед мысленным взором умирающего человека стремительно проносится вся его жизнь, почему не предположить, что Август в эту минуту беспамятства вновь пережил самые кровавые события своего прошлого и понял, что перед ним жертвы его собственных преступлений или казненные им заговорщики? Тогда становится понятным, чего он так испугался: юноши, убитые им во цвете лет, явились за своим убийцей и поволокли его прямо в преисподнюю — самое подходящее место для отъявленных злодеев.

Есть у нас и еще одна гипотеза, которую, признаем, невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Истинный сын своего времени, Август искренне верил в совпадения чисел. Между тем год его смерти отделяли от 27 года, когда он взял себе имя Августа, ровно сорок лет. Что, если привидевшиеся ему сорок юношей олицетворяли те жертвы, которыми ему пришлось оплатить свое пребывание у власти — по одной за каждый год? Или он увидел повторенный сорок раз образ себя самого, и все эти воплощения толпились вокруг его смертного одра безжалостным напоминанием об ушедшей молодости?

Впрочем, какой бы гипотезы ни придерживаться, действительно важное значение имеет одно: бредовые видения Августа отнюдь не вселили в его душу умиротворения, а смерть явилась ему не тихим скольжением к покою, но грубым броском к новым неведомым мукам.

Комедия или трагедия?

Мучительных воспоминаний Августу хватало. Комедия его жизни оказалась отмечена таким количеством поражений, убийств, страданий и слез, что трагические эпизоды, пожалуй, заняли в ней гораздо больше места, чем сцены фарса. Размышляя о его жизни, Плиний Старший имел все основания написать:

«Даже божественный Август, принадлежащий к числу счастливейших из смертных во всей вселенной, если пристально приглядеться, явит собой яркий пример превратности человеческой судьбы. Дядя отказался назначить его начальником конницы и предпочел ему Лепида; из-за проскрипций, проводимых триумвиратом, на него обрушилась всеобщая ненависть, хотя по сравнению с коллегами он обладал куда меньшей властью, вынужденный повиноваться Антонию; во время битвы при Филиппах он занемог, бежал и три дня больной прятался в болотах, — по свидетельству Агриппы и Мецената, все тело его разбухло от воды, проникшей под кожу; близ Сицилии он потерпел кораблекрушение и снова скрывался, на сей раз в пещере; надеясь бежать морем, он попал в тиски неприятельской эскадры и умолял Прокулея прикончить его. Затем были тяготы Перузийской войны, треволнения войны в Актии, война в Паннонии и ранение после падения с башни, бесчисленные военные поражения и бессчетные опасные болезни. Добавим к этому вызывающие подозрение притязания Марцелла, позорную ссылку Агриппы, все множество ловушек, угрожавших его жизни, подозрения, павшие на него после смерти его детей, и горе, вызванное не только их потерей, прелюбодейство его дочери и ставшие всеобщим достоянием планы отцеубийства, которые она

вынашивала, оскорбительную отставку его зятя Тиберия и еще одно прелюбодейство, теперь уже его внучки. А ведь было еще и оскудение казны, из которой выплачивалось жалование солдатам, и мятеж в Иллирии, и необходимость призывать рабов, и нехватка людей для воинского набора, и чумная зараза в Риме, и испытание голодом и жаждой в Италии, и решимость умереть, когда после четырех дней поста он оказался на волосок от гибели^[15]. Но и это еще не все, ибо был еще разгром Вара^[16], оскорбительные насмешки против его величества, высылка прежде усыновленного Агриппы Постума и горькие сожаления по поводу этой высылки, подозрения против Фабия, возможно, выдававшего его секреты, тайный сговор его жены с Тиберием, до последнего часа служивший причиной его тревоги. И в конце концов это божество, о котором я затрудняюсь сказать, вознесся ли он благодаря удачливости или собственным заслугам, простилось с жизнью, оставив после себя наследником сына человека, воевавшего против него же»^[17].

Этот список неудач, заставляющий нас согласиться с Плинием, когда он говорит, что судьба обращалась с Августом не как «добрая мать», а скорее как «безжалостная мачеха», только подчеркивает горечь его последних слов» обращенных к друзьям, и доказывает, что если он и смеялся над своим концом, то сардоническим смехом, демонстрируя несгибаемую волю противопоставить слезам презрение к земной тщете.

Но раз уж он сам избрал для оценки своей жизни комический регистр, не станем спорить и последуем за развитием его истории в том же русле, в каком разворачивается классическая античная комедия, точнее даже, греческая комедия, — ведь он процитировал именно ее финал.

Изобилие и скудость источников

Для работы над биографией Августа в нашем распоряжении такое количество источников, что самое их множество не только не помогает ухватить суть нужного нам персонажа, но словно бы окутывает его непроницаемой тенью. Мало того, эти источники чаще всего вопиюще противоречивы, что, как будто в насмешку над растерянным биографом, доказывают первые же главы «Анналов» Тацита.

При жизни Августа и в годы правления его преемников тексты подвергались цензуре, о существовании которой мы знаем, хотя о степени ее строгости судить не можем. Все, что писалось в духе, враждебном Августу, вымарывалось, так что до нас дошли только те сочинения, авторы которых Августа превозносили. Правда, сохранились кое-какие следы памфлетов, которыми на протяжении десяти лет обменивались Антоний и Август, но оба автора настолько старательно извращали мысли и поступки друг друга, что сегодня нет ни малейшей возможности определить, степень истины в этих взаимных обличениях. Из-за цензуры, из-за того, что далеко не все литературные произведения в античности переносились на пергамент, а папирусы не пережили прошедших столетий, от мемуаров, написанных главными действующими лицами этой «пьесы», включая самого Августа, не осталось ничего. Погибла и большая часть сочинения Тита Ливия, слишком объемистого для переписывания, в том числе главы, посвященные гражданским войнам. Впрочем, даже если бы сохранилось гораздо больше источников, многие события так или иначе остались бы для нас загадкой. Что такого натворили дочь и внучка Августа, если он

наказал обеих изгнанием? Что узнал или увидел Овидий, если и его сослали в немыслимую даль, откуда нет возврата? На самом ли деле Агриппа Постум был таким неуправляемым буяном, как о нем пишут? И соответствовали ли действительности слухи, зародившиеся еще в те античные времена, что к многочисленным смертям, ввергшим в траур семью Августа, приложила руку Ливия?

Но и позже, когда династия угасла, критики Августа не почувствовали особенной свободы, потому что власть перешла к череде принцепсов, унаследовавших и его титулы, и его полномочия. Разумеется, свидетельства подобного рода имеются, и даже в избытке; ими изобилуют, например, тексты Сенеки Ритора и его сына-философа, Плиния Старшего и других. Но и они — не более чем часть головоломки, в которой не хватает слишком многих элементов, чтобы пытаться сложить целостную картину.

Таким образом, даже самые осведомленные из античных историков пользовались либо неполными, либо недостоверными источниками. Так Тацит, творивший в годы правления Траяна, вместо яркого портрета Августа оставил черно-белый диптих, лишенный каких бы то ни было оценок, на основе которого совершенно невозможно разглядеть личность под личиной, вернее, под многими личинами. К тому же рассказ Тацита начинается с правления Тиберия, так что Август фигурирует лишь в ее прологе.

Светоний в посвященной Августу биографии сообщает тысячу подробностей, кажется, позволяющих наконец-то приподнять с его лица маску. Но... Обилие деталей и явно сочувственный тон изложения не столько проясняют картину, сколько ее затемняют.

В середине II века н. э. была написана «Римская история» грека Аппиана^[18], которая, по всей видимости, испытала влияние «Истории» Азиния Поллиона,

современника Августа, не во всем разделявшего политические взгляды последнего. Этот труд кажется особенно интересным в сравнении с «Римской историей» Диона Кассия^[19], тоже грека, жившего в начале следующего века и входившего в окружение Септимия Севера. Относительно политических убеждений Диона твердого мнения не существует.

При этом не следует забывать, что в античности жанр исторического сочинения тесно смыкался с риторикой, политической моралью и литературой. Если его конечной целью, бесспорно, являлся поиск объективной истины, то практическое воплощение оказывалось неразрывно связанным с особой манерой изложения, с помощью которой — как в риторике или в литературе — воссоздается «поэтическая» действительность, считающаяся более истинной, чем сама истина — разумеется, если допустить, что истина как таковая существует сама по себе, вне формы выражения.

Наиболее ярким примером вольного обращения с действительностью служит рассказ о смерти Августа. Вряд ли последние слова умирающего, обращенные к Ливии, являются плодом воображения Светония, а тот факт, что о них умалчивает Дион Кассий, объясняется просто: он писал не биографию, а римскую историю, в которой семейные подробности выглядели бы неуместно. Но кто поручится, что последние слова Августа не выдумала сама Ливия? После смерти мужа ей пришлось отстаивать свои интересы в столкновении с собственным сыном, и ее забота обеспечить себе наилучшие позиции вполне понятна. И даже если будут найдены новые тексты или надписи, они не помогут нам прийти к окончательному решению вопроса, действительно ли Август приберег последние слова для жены.

Это говорит о том, что тексты — не более чем отражения образов, и их изучение непременно должно дополняться и интерпретироваться в свете данных, полученных специалистами смежных с историей областей — эпиграфики, искусствоведения, нумизматики. Достижения этих дисциплин позволили новейшим историкам внести существенные коррективы в устоявшийся образ Августа как великодушного правителя и едва ли не героя, запечатленный, в частности, в творчестве современных ему поэтов — в первую очередь Вергилия, но и Горация тоже. Сегодня появилась тенденция к реабилитации не только главного соперника Августа — Антония, но и других его противников и, соответственно, к пересмотру в сторону увеличения той доли ответственности за развязывание и ведение гражданских войн, обескровивших Рим, которая ложится на плечи Цезаря Октавиана. Если человеческая личность Августа по-прежнему остается загадкой, то о его политической деятельности мы постепенно узнаем все больше.

Вместе с тем новейшие исследования множатся столь интенсивно, что сегодня ни один отдельно взятый ученый уже не в состоянии уследить за всей необъятной библиографией по теме, которая понемножку начинает генерировать собственные загадки. И специалисты еще долго будут спорить об организационной природе полномочий Августа, о пестрой картине философских течений, которые он синтезировал в одно, об успехах и провалах его политики.

В намерения автора этой книги ни в коем случае не входит обрушить на читателя всю толщу существующей библиографии или предложить его вниманию политическую и экономическую историю принцепата Августа, подобную той, что в 1981 году выпустил в свет Германн Бенгстон. В отличие от Рональда Сайма я отдаю предпочтение текстам, повествующим о событиях, в

которых участвовал или о которых отзывался сам Август, что позволяет, оставаясь в рамках биографии, задуматься над личностью человека, оказавшего столь большое влияние на всемирную историю.

Вслед за поэтами эпохи Августа, избегавшими касаться неохватных тем, я повторю, что моим парусам недостает прочности, чтобы бросить вызов океанским волнам, а потому, остерегаясь выпустить свой челн на безбрежные просторы Истории, довольствуюсь скромным каботажем. Но и эта задача не из легких, если верить Леону Омо, предпринявшему подобную попытку прежде меня. Август — личность почти неуловимая, и пусть читатель не думает, что на последней странице книги его поджидает портрет героя в полный рост, четкий и недвусмысленный. Отводя значительное место собственным высказываниям Августа, как устным, так и письменным, мы в лучшем случае надеемся предложить ряд правдоподобных гипотез, имеющих целью объяснить не столько его характер, сколько придуманный им самим образ принцепса. Жизнь Августа представляет для нас интерес главным образом благодаря тому политическому уроку, который он преподал. На его примере прекрасно видно, как правитель, тщательно проработав собственный «имидж», затем навязывает его не только окружающим, но и самому себе.

Дидаскалия [\[20\]](#)

Действие пьесы, отрежиссированной и сыгранной Августом, охватывает промежуток с 63 года до н. э. — даты его рождения — по 14 год н. э. — даты его смерти.

В 63 году Цицерону, одному из двух консулов года, стало известно, что знатный патриций Каталина при поддержке разношерстной группы заговорщиков готовит государственный переворот с целью захвата власти. Цицерон выступил в сенате с разоблачительными речами — Катилинариями — и пламенной силой своего красноречия сумел убедить гражданскую общину в серьезности нависшей угрозы, потребовав для ее виновников смертной казни. Несколько соучастников Катилины действительно казнили, а сам он в начале 62 года пал в сражении против римской армии. Цицерон надеялся, что ему удалось достичь долговременного согласия и ликвидировать зло, грозившее самому существованию государства. Однако он заблуждался, поскольку случай Катилины вовсе не сводился к единичному проявлению зла и был лишь симптомом гораздо более глубокого процесса, анализу которого посвятил свою монографию Саллюстий. На самом деле республика была смертельно больна.

Слово «республика» плохо передает тот смысл, который древние римляне вкладывали в понятие «Res Publica» (дословно: общая вещь), подразумевая под ним государство как общую принадлежность. И Август, добившись полноты власти, продолжал управлять «общей вещью», так что выражение «res publica» не исчезло из политического словаря. В современных языках слово «республика» употребляется в двух значениях. Ради удобства мы вслед за авторами других

книг по истории будем здесь обозначать словом «республика» период, протянувшийся от 509 года до н. э., когда рухнула царская власть, до начала правления Августа, то есть до 31, 27 или 17 года. Об этом полезно помнить, чтобы лучше понять, что именно совершил Август, и удержаться от искушения слишком прямолинейных аналогий между исторической обстановкой, сложившейся в ту пору в Древнем Риме, и, например, развитием Французской революции.

В истории термин «республика» применяется относительно того периода, на протяжении которого политическая жизнь Древнего Рима регулировалась конституцией. Она разрабатывалась постепенно, начиная с изгнания последнего царя Тарквиния Гордого, и велась в таком ключе, чтобы сделать невозможным возврат к монархии. Эффективность и устойчивость этой конституции зиждилась на трех взаимно уравновешивающих элементах. Высшей властью обладали два консула, что, конечно, несло в себе опасность тирании, но, во-первых, консулов было двое, а во-вторых, избирались они всего на год. Элементом аристократии был сенат, а демократии — народ, который голосовал на собрании. В случае тяжелого кризиса консул имел право назначить диктатора, наделенного неограниченными полномочиями, но не более чем на полгода. К тому же диктатор в обязательном порядке избирал себе помощника, носившего звание начальника конницы. Заговор Каталины нанес жестокий удар по стройному трехчастному зданию римской конституции, вызывавшей восхищение всего античного мира.

Впрочем, первые трещины в этом здании появились еще раньше, в 133 и 123 годах, во время трибуната Гракхов. Именно тогда впервые проявились симптомы болезней, точивших государство. Вдруг выяснилось, что невероятно трудно поддерживать гражданский мир,

если почти все общественные богатства захватили сенаторы, выделившиеся в особый класс, в то время как народ и в Риме, и по всей Италии прозябал в нищете. Сельское хозяйство полуострова переживало жестокий кризис, из которого оно никак не могло выбраться еще с окончания пунических войн. С образованием обширной Римской империи началось бурное развитие торговли, но, хотя сенаторы из-за специального запрета не имели к ней доступа, простому народу здесь тоже не нашлось места. Торговля стала привилегией сословия всадников. Всадники быстро превращались в богатейших людей римского мира. Кроме того, в результате военных побед огромную власть сосредоточили в своих руках военачальники. Они широко использовали собственный авторитет среди солдат и рвались к гражданской власти. Наконец — и на этом обстоятельстве особенно настаивают древние историки, — под влиянием хлынувших с Востока богатств дрогнули и пошатнулись исконные ценности, обеспечившие Риму его величие, — гражданская доблесть и нравственная стойкость. Им на смену явились Алчность, Роскошь и Разврат — гнусные пороки, аллегорически изображавшиеся в виде неразлучной троицы.

После смерти Гая Гракха (123 г.)^[21] и до битвы при Акцииуме (31 г.) Рим пережил полосу невероятно кровопролитных внутренних войн, приведших страну на грань распада. Борьба развернулась между оптиматами — партией сенаторской аристократии, защищавшей свои привилегии, и сторонниками реформ, которые именовали себя популярами. Однако с расколом на тех и других не все обстояло так уж просто, потому что к популярам примкнуло немало патрициев. Некоторые из них горели вполне искренним негодованием против нищеты, в которой жил народ, но большинство преследовало совсем другую цель — опереться на народные силы ради удовлетворения личных амбиций. К

числу последних принадлежал и Юлий Цезарь, который тайно поддерживал Катилину — не потому, что надеялся на его победу, а потому что понимал: все, что ослабляет государство, лично ему поможет возвыситься. В 63 году Цезарь ревниво следил за Помпеем, который одерживал на Востоке победу за победой, что позволило ему значительно укрепить свои позиции и вернуться в Рим, чувствуя себя настоящим лидером.

В 63 году и сенаторы, и всадники почти единодушно поддержали акцию Цицерона, поскольку того требовали их собственные интересы. Однако лишь единицы из них были готовы защищать республиканские ценности как таковые, и среди них сам Цицерон, несколькими годами позже изложивший свои взгляды в трактатах «О государстве» и «О законах». Но даже он, не жалевший сил для спасения senatorской республики, в конце концов пришел к убеждению, что наилучшим образом с этой задачей справится один человек — принцепс, то есть первый среди равных. Он станет следить за незыблемостью существующих институтов и будет мудрым и бескорыстным судьей в политических спорах. Эту роль принцепса он примерял и на себя. Затем, после 63 года, полагал, что с ней справится Помпей, хотя последний выдвинулся исключительно за счет военных успехов. Но главное стало ясно уже всем: конституция, прекрасно работавшая в масштабах средней величины полиса, не применима для управления империей.

Такова была обстановка, сложившаяся к моменту рождения Августа. Когда спустя 76 лет он умер, процарствовав, в полном смысле этого слова, более 40 лет и обеспечив гражданский мир, новая политическая система стала данностью. Первому принцепсу наследовал второй, им же и избранный. Так зародился принципат. И здесь мы снова для описания исторического процесса воспользуемся театральным языком, ведь любая комедия начинается с неразберихи,

а заканчивается восстановлением порядка. И мы постараемся показать, каким путем и с какой ловкостью Август установил новый порядок, не переставая при этом твердить, что восстанавливает старый.

Во всей античной истории нет деятеля, который мог бы сравниться с Августом стремительностью и продолжительностью взлета. Сыгранной им пьесе предшествовали многие репетиции, ни одна из которых, несмотря на старания актеров, так и не завершилась развязкой. Он подхватил и довел до конца дело, в котором не преуспели ни Марий, ни Сулла, ни Помпей, ни Цезарь, хотя каждый из них сделал очередной шаг по пути к достижению абсолютной власти. Марий правил Римом всего пять лет, с 104 по 100 год^[22]. Сулла был диктатором и почти царем, но и он по прошествии трех лет, в 79 году, отрекся от власти. Но и Марий, и Сулла хотя бы умерли своей смертью, тогда как Помпей, единовластный владыка Рима, совершивший блестящий дебют, чем-то напоминающий дебют Августа, затем потерпел поражение от Цезаря и погиб, преданный вероломным египетским царем. Что же до его победителя Цезаря, то он, добившись пожизненной диктатуры и мечтавший о монархии, 15 марта 44 года пал от руки убийц.

Все четверо были удачливыми полководцами, то есть императорами, которые стремились использовать военную власть — империй (*imperium*) — для достижения гражданской власти — *potestas*. Каждый из четверых старался внушить окружающим, что ему покровительствуют боги и что лично он шагнул далеко за пределы человеческих возможностей. Репетиция или черновик Истории, их карьера, со всеми ее взлетами и падениями, готовила восхождение Августа.

Вдохновляющим примером для каждого из этих триумфаторов мог послужить один-единственный исторический персонаж — Александр Македонский. Как

и его предшественники, Август нисколько не возражал против такого сравнения и даже подчеркнул его, выбрав себе печать с изображением великого завоевателя. Впрочем, сравнение не вполне корректно. Александр, рожденный в царском пурпуре, прожил всего 33 года, а созданную им гигантскую империю его полководцы превратили в лоскутное одеяло. Кстати сказать, именно Август сумел уменьшить его пестроту, объединяя царства-лоскуты под властью Рима, который он олицетворял своею личностью. С другой стороны, как мы уже упоминали, в характере неутомимого завоевателя уживалось слишком много пороков.

С точки зрения успеха политической карьеры Август не знает себе равных. Лишь в последующие эпохи можно попытаться отыскать более или менее приемлемые аналогии. Как и Август, свое имя целому веку дал Людовик XIV, начало царствования которого ознаменовалось завершением гражданской войны, что отвечало самым глубоким народным чаяниям. И тот и другой правили долго, и тот и другой на определенном этапе своей жизни совершили крутой поворот, и тот и другой встретили старость отягощенные физической немощью и несчастьями как общественного, так и личного порядка. Разница в том, что Людовику XIV пришлось отстаивать свою легитимность, а не создавать ее заново. Другой пример. Наполеон, как и Август, строил карьеру собственными руками. Он дал Европе законы, некоторые из которых действуют и поныне, однако его царствование было недолгим и стоило странам, вовлеченным в орбиту его деятельности, потоков крови.

Все великие династии, оставившие яркий след в мировой истории — Капетинги, Гогенштауффены, Габсбурги, Романовы, — начинались тихо и незаметно, в смутное время, и усиливались медленно и постепенно. Август же утвердил новый режим в период расцвета

классической эпохи, отмеченной величайшими именами мировой культуры.

Юношей он бывал у Цицерона, затем дружил с Меценатом, через которого познакомился с Вергилием, Горацием и Проперцием. В годы его правления жили и работали Тит Ливий, Овидий и многие другие, озарившие литературу того времени блеском, долгое время считавшимся непревзойденным. И все они в той или иной мере принимали участие в великом деле сотворения новой эпохи.

В этот процесс оказались вовлечены и многие другие персонажи: Марк Антоний, Клеопатра, со своим знаменитым носом, якобы способным изменить облик мира, Агриппа, следы градостроительной деятельности которого все еще заметны в сегодняшнем Риме, Тиберий, второй принцепс династии, Германик, образец добродетели... Свое слово сказали и женщины: любящая сестра Октавия, непокорная дочь Юлия и, конечно, Ливия, не покидавшая сцену до последнего акта, чтобы выслушать заключительную реплику заглавного героя пьесы.

Только вот театральное представление не может длиться более одного дня, а состав действующих лиц остается, как правило, неизменным с начала и до конца. Но Август прожил такую долгую жизнь, что почти никого из тех, с кем он начинал, к последнему акту на сцене не осталось.

За это время и роли успели перемениться. На заре своей политической карьеры Август выступал в амплу типичного комедийного героя. Он, смело восставший против власти сенаторов, именуемых «отцами», к финалу и сам превратился в старика, увенчанного титулом Отца отечества и олицетворяющего для грядущих поколений суровый принцип авторитета. Его жена Ливия, появившаяся в комедии довольно рано, последовательно сыграла молодую женщину, которую

влюбленный герой отбивает у мужа, потом супругу, наконец, вдову, пережившую его на 15 лет.

Итак, в окружении многочисленных партнеров и толпы статистов Цезарь Октавиан двинулся на завоевание славы. Избавившись от соперников, он, уже под именем Августа, преобразил весь римский мир, словно каким-то чудом ему стали известны слова, якобы произнесенные Екатериной Медичи после убийства герцога Гиза: «Славно скроено, сынок! Осталось сшить».

Часть первая
ВЫХОД НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СЦЕНУ (63-43)

Чудесное рождение?

Где берет начало та дорога, что привела к абсолютной власти сына Гая Октавия, который первым в своей фамилии рискнул выбраться из провинции, чтобы совершить «почетную карьеру», но так и не успел дослужиться до консула? В условиях республики, когда знатность юноши определялась теми магистратурами, которые занимали его предки, будущий Август не мог похвалиться, что вступил в жизнь с крупными козырями на руках. Несмотря на это, он обошел всех и вырвался на первое место. Он двигался вперед с такой неукротимой силой, что, казалось, сами боги поклялись сотворить чудо его возвышения. И первым знаком божественного вмешательства в его грядущую судьбу стал, возможно, второй брак его отца Гая Октавия с Атией — дочерью Марка Атия Бальба, родственника Помпея, и Юлии, сестры Юлия Цезаря. Надо думать, что союз между провинциалом из Велитр — маленького процветающего городка в Лациуме — и девушкой из рода Юлиев, которые вели свою родословную от Энея и Венеры, стал возможен главным образом благодаря значительному состоянию Октавиев, накопленному многими поколениями бережливых «буржуа».

Таким образом, дети Гая Октавия и Атии — сын Гай, будущий Август, и дочь Октавия — приходились Юлию Цезарю внучатыми племянниками. Располагая таким родственником и имея за плечами фамильное состояние, Гай вступал в жизнь отнюдь не с пустыми руками. Впрочем, чтобы стать полновластным хозяином Римской империи, этого было маловато, так что богам пришлось не раз и не два приложить руку к его судьбе. У Цезаря была дочь, которую, как и всех женщин рода, звали Юлией^[23]. Отец выдал ее замуж за Помпея. Если бы она

не умерла родами или если бы удалось спасти жизнь ее ребенку, для Октавия многое изменилось бы. Опять-таки, если бы у последней жены Цезаря Кальпурнии родился сын, тому не пришлось бы подыскивать себе наследника в более отдаленной родне. Это решение с далеко идущими последствиями он принял 13 сентября 45 года, поддавшись внезапному порыву, когда уничтожил завещание, согласно которому ему наследовал Помпей, и составил новое, включившее пункт об усыновлении Гая Октавия и назначении его главным наследником^[24]. Все это он проделал в строжайшей тайне, оставив за собой возможность изменить завещание, если Кальпурния все-таки родит ему сына или если ему случится передумать. Но семь месяцев спустя Цезарь был убит. Перед его приемным сыном открывалась широкая дорога.

Выбрав из всего потомства двух своих сестер именно Гая Октавия, Цезарь, если верить многочисленным анекдотам, изобретенным впоследствии, как будто следовал предназначению будущего Августа. Один из них относится к 23 сентября 63 года и, по мнению Светония, абсолютно достоверен. В тот день Октавий-отец немного опоздал на заседание сената, на котором Цицерон собирался представить первые добытые им доказательства заговорщической активности Каталины. Когда Октавий принялся извиняться, объясняя, что незадолго до восхода солнца у него родился сын, сенатор Нигидий Фигул, пифагореец и знаток астрологии, ненадолго задумавшись, провозгласил, что родившийся младенец будет властелином вселенной.

Воображение поклонников Августа впоследствии расцветит это пророчество новыми подробностями. Так, Юлий Марф, исполнявший обязанности официального летописца империи, рассказывает, что за несколько месяцев до рождения Августа было знамение, возвестившее, что природа рождает римскому народу

царя. Сенат принял решение оставить без воспитания всех младенцев мужского пола, которые родятся в этом году, — это было то же самое, что убить ребенка или вышвырнуть его на большую дорогу. Однако те из сенаторов, чьи жены ожидали потомства, постарались провалить принятие соответствующего сенатус-консульта, благодаря чему Август благополучно появился на свет.

Еще дальше пошел македонец Асклепиад Мендетский, который в своей книге о богах приводит такую странную историю (Светоний, XCIV, 4):

«Однажды в полночь Атия пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, тогда как прочие матроны разошлись по домам. И тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как если бы побывала в объятиях мужа. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змея, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани. Девять месяцев спустя родился Август, признанный по этой причине сыном Аполлона».

Говорят, у самого Августа были на теле пятна, числом и расположением повторявшие звезды, образующие созвездие Большой Медведицы.

В возрасте нескольких месяцев он исчез из колыбели, в которую его уложила кормилица в комнате на первом этаже дома. Вскоре его нашли на самом верху башни; он лежал, обратив лицо к солнцу. Еще несколько месяцев спустя, когда он только-только начал говорить, он приказал умолкнуть лягушкам, не дававшим ему уснуть, и с той поры лягушки в тех местах больше не квакают.

Все эти истории, дополненные вещими снами, якобы виденными родителями Августа и некоторыми другими важными лицами, а также всевозможными знаменами,

ни в коей мере не сводятся к забавным курьезам, свидетельствующим либо о безграничной угодливости современников, откровенно льстивших основателю императорского режима, либо о ребяческой наивности римлян. В первую очередь они дают нам представление о той огромной работе над массовым сознанием, которую вели сторонники нового строя. История рождения Августа есть не что иное, как перепевы истории рождения Александра, мать которого якобы почтил своим вниманием сам Зевс, а волшебные сказки о детских годах Геракла и Александра послужили моделью для аналогичных рассказов о детстве Августа. Народу следовало внушить, что спаситель государства — существо исключительное, не чета обыкновенным людям.

Потому что речь шла именно о спасителе. За всеми этими легендами стояло вполне очевидное стремление выразить облегчение, которое испытала целая цивилизация, уже считавшая себя погибшей — и на самом деле гибнущая, — но бесконечно благодарная Августу за то, что он заставил ее поверить в собственное возрождение. О том, что Август сознательно участвовал в этой мистификации, говорит его «актерство» на смертном одре; но она стала возможной только на фоне самых невероятных чудес и пророчеств, отметивших последние десятилетия существования республики, истерзанной более чем вековой^[25] историей гражданских войн. Сюда же примешивались предсказания о завершении девятого века истории этрусков и о грядущем пришествии иудейского царя. Поразительный эпизод с «избиением младенцев», якобы задуманным сенатом, наглядно демонстрирует, до какой степени античный мир жил в предчувствии полной смены времен.

В такой обстановке тревожного ожидания и родился Гай Октавий. Его отец располагал достаточными

средствами, чтобы поселиться на Палатине — самом оживленном в ту пору римском холме, где жили и Цицерон с братом, и Милон с Клодием — герои одной из самых жестоких схваток, разыгравшейся в агонизирующей республике, и соперник Цицерона Гортензий, и Марк Антоний, и Тиберий Клавдий Нерон, и многие, многие другие. Родной дом Августа, расположенный в местечке под названием Бычья голова, после его смерти стал святилищем, где ему поклонялись как божеству.

Защищенное детство

Не имеет никакого значения, действительно ли отец Гая услышал из уст Нигидия Фигула знаменитое предсказание или это всего лишь легенда, потому что в 59 году он умер, оставив четырехлетнего сына сиротой. Он немного успел сделать для своего отпрыска — пожалуй, всего лишь передал ему прозвище Фуриец, которого удостоился за победу, одержанную над беглыми рабами в Фурийском округе. Светоний (VII, 2) сообщает, что ему удалось отыскать бронзовую статуэтку, изображающую Октавия в детстве, с надписью «Фуриец». Это очень важная деталь, потому что она удостоверяет подлинность имени, которое противники Августа в начале его карьеры использовали для его дискредитации. Так, они заявляли, что его прадед был простым канатчиком в Фурии, однако сам Август утверждал, что это прозвище происходит от греческого слова *Thuraios*, которое является одним из эпитетов Аполлона и означает «хранитель врат». Именно эту «функцию» божества впоследствии возьмет на себя Август, как, впрочем, и все остальные функции, за которые считался ответственным Аполлон.

Овдовев, Атия принялась искать для сына опекуна. В списках жертв проскрипций 43 года одним из первых фигурирует некто Гай Тораний, про которого говорили, что он-то и был опекуном Октавия. Не исключено, однако, что это не более чем оговор; известно, что в годы террора процветало доносительство даже на ближайших родственников, так что злым языкам ничего не стоило обвинить Августа в гибели опекуна. Нам, во всяком случае, представляется странным, что Атия выбрала сыну опекуном такую ничем не примечательную личность. Вроде бы Тораний был эдилом вместе с ее

мужем, однако больше о нем не известно ничего, и если бы не его трагическая гибель, мы вообще не знали бы его имени^[26].

Атия вторично вышла замуж, на сей раз за Луция Марция Филиппа, бывшего консула из очень известного рода. Сына, до той поры воспитывавшегося в доме Октавиев в Велитрах, она поручила заботам его бабки Юлии^[27]. Это вовсе не значит, что, заведя новую семью, она поспешила избавиться от ставшего ненужным мальчишки. Просто Атия следовала традиции, согласно которой наилучшим воспитателем для ребенка считался кто-нибудь из старших родственников, обязательно женщин, являвших собой пример старинной добродетели. Кроме того, жизнь в доме Юлии давала мальчику шанс попасться на глаза Цезарю. Так что Атия ни в коей мере не снимала с себя обязанности по воспитанию сына, и мы смело можем причислить ее к славному списку добродетельных матерей, включающему мать Гракхов Корнелию и мать Цезаря Аврелию. Впрочем, по сравнению с этими двумя высокими образцами материнской добродетели, немало способствовавшими славной карьере своих сыновей, Атия выглядит гораздо скромнее.

Трудно судить, насколько решающим для характера Августа оказалось женское влияние и отсутствие отца. Во времена Плутарха существовала теория, согласно которой расти без отца означало остаться без воспитания. В результате «добрая и благородная натура, подобно богатой почве, лишенной ухода, начинает попеременно производить плоды прекрасные и плоды ужасные»^[28]. Но применима ли эта теория к Августу?

Юлия добросовестно занялась воспитанием внука. Она позаботилась, чтобы он получил все знания, необходимые свободнорожденному ребенку. Сначала его учил педагог-грек по имени Сфер, затем появился

еще один наставник, имени которого мы не знаем. Но Юлия рано, может быть, слишком рано приобщила его к тайнам политики. Он провел в ее доме восемь лет, с четырех- до 12-летнего возраста, то есть 59–51 годы. Наверняка он вместе с ней внимательно следил за всеми перипетиями карьеры Цезаря. И если в 59 году он, разумеется, был еще мал, чтобы сознавать, что он — внучатый племянник консула года, однако в дальнейшем его, конечно, не могли не захватить волнующие подробности завоевания Галлии и резкие повороты римской политической жизни. Он не мог не знать, что далеко не всем нравилась власть Помпея, прозванного Великим, и на улицах Рима нередко вспыхивали стычки, заканчивавшиеся кровопролитием. Ему приходилось слышать имя экзальтированного трибуна Клодия, люто ненавидевшего Цицерона, так же как имена его сестры Клавдии и его жены Фульвии. Обе дамы пользовались репутацией скандалисток и бесцеремонно вмешивались в политику, всегда считавшуюся уделом мужчин. Мы не знаем, подозревал ли он, что у Цезаря имелись в городе свои тайные агитаторы, да это и неважно, потому что несмотря ни на что он наверняка всем сердцем болел за двоюродного деда, разговоры о котором не стихали в доме Юлии.

Время от времени до них доходили жуткие новости. В 53 году Красс потерпел разгром в битве с парфянами, и в салоне Юлии горячо обсуждали потерю римских значков, которые царь Парфии захватил в качестве боевого трофея. В 52 году и сам Цезарь проиграл сражение при Герговии, о котором, впрочем, вспоминали недолго, потому что в тот же год в битве при Алезии ему удалось захватить в плен Верцингеторига. Среди прочих тем в разговорах наверняка всплывали трудности, ожидавшие Цезаря по возвращении из Галлии, когда завершится срок его проконсульства. Живя в таком доме, мальчик, еще и не догадываясь об этом, как будто

присутствовал при генеральной репетиции пьесы, в которой впоследствии ему придется играть самому. Жизненные пути большинства актеров этого спектакля, пока известных ему лишь по именам, вскоре пересекутся с его собственным, включая ту самую Фульвию, которой предстоит на некоторое время сделаться его тещей.

В 51 году, когда ему исполнилось 12 лет, умерла Юлия. В документальных источниках нет сведений о том, как Октавий пережил эту потерю. Тем не менее не прочувствовать ее он не мог, потому что, согласно традиции, соблюдаемой всеми знатными фамилиями, похвальное слово умершему родственнику всегда произносил самый юный член семьи. Таким образом, кончина Юлии, у которой он был единственным внуком, стала для него боевым крещением на поприще ораторского искусства. Надгробная речь относилась к строго определенному жанру, оставлявшему мало места для творческой фантазии, да и вряд ли ребенок сочинял ее самостоятельно. Но все-таки на трибуну поднимался именно он, и именно ему внимала густая толпа родственников, друзей, клиентов, рабов и просто зевак, с любопытством озиравшая мальчика в детской тоге — претексте, сжимавшего в руках свиток папируса, на котором, как все прекрасно знали, перечислялись добродетели его покойной бабки и заслуги всей семьи. Ребенку приходилось напрягать свой слабый голосок, чтобы город услышал, как много он потерял со смертью такой женщины, как Юлия. Впрочем, тогда, в 51 году, превозносить с трибуны форума достоинства сестры Юлия Цезаря следовало с большой осторожностью. Действительно, едва покончив с покорением Галлии, Цезарь вступил в бескомпромиссную борьбу с сенатом и Помпеем, которая двумя годами позже вылилась в новую гражданскую войну. Смерть Юлии дала повод еще раз напомнить о знатности рода; то же самое проделал и сам Юлий Цезарь, когда произносил надгробное слово

после кончины своей тетки Юлии, по матери происходившей от царей, а по отцу — от самой Венеры. Содержание речи юного Гая нам неизвестно, но легко предположить, что, даже оставаясь в строгих рамках канона, он не мог обойти молчанием божественные корни семейства, к которому принадлежал и сам — пусть по женской линии, но непосредственно.

Лишившись бабушки, Октавий снова переехал к матери, и для него без особых приключений потекла обыкновенная жизнь мальчика из хорошей семьи. Готовясь стать достойным гражданином, он регулярно отправлялся на Марсово поле, где постигал все тонкости военного искусства: учился скакать на лошади, фехтовать и плавать, а в остальное время овладевал ораторским мастерством, абсолютно необходимым для будущей политической карьеры. В Риме он посещал уроки Марка Эпидия, который, утратив права гражданства по обвинению в клевете, зарабатывал себе на жизнь преподаванием риторики. Прежде в его учениках ходили Марк Антоний и Вергилий, так что юный Октавий оказался в недурной компании. Кроме того, он занимался с частным ритором Аполлодором Дамасским, который, как мы полагаем, не только научил его красноречию, но и привил вкус к публичным выступлениям.

В то время в Риме жил философ-стоик Афинодор из Тарса. Ему было тогда около 40 лет, и он собрал вокруг себя кружок молодежи, которой преподавал этику. Ходил к нему и юный Октавий, вскоре пригласивший Афинодора к себе в наставники. И 20 лет спустя философ все еще входил в его окружение.

Разумеется, Октавий самым внимательным образом следил за политической жизнью Рима, одной из ключевых фигур которой оставался его двоюродный дед. В 49 году Цезарь, перейдя Рубикон, развязал гражданскую войну против Помпея, который бежал из

Италии на Восток и оттуда готовил ответный удар. Мы не ошибемся, если предположим, что эти события без остатка захватили воображение Гая, одновременно преподав ему первые уроки насилия и цинизма. Вместе со взрослыми он с нетерпением ждал новостей об исходе страшной схватки, разыгравшейся в 48 году при Фарсале. Войска Цезаря бились с войсками Помпея; римляне дрались против римлян. Победил Цезарь, получивший в этом бою власть распоряжаться судьбами Рима. Затем Цезарь, преследуя Катона, добрался до Африки, где 6 апреля 46 года выиграл битву при Тапсе. Спустя несколько дней Катон покончил жизнь самоубийством, заслужив себе славу мученика во имя республики. Перед смертью он читал платоновского «Федона»^[29]. Образ Катона, погибшего за безнадежное дело, на протяжении некоторого времени вдохновлял тщетные надежды республиканцев, пока не превратился в символ утраченной свободы, охотно используемый ораторами. Чуть позже подобная история еще раз повторится в Риме, но теперь в ней будет замешан и Октавий, а борцами за республиканскую свободу в народной памяти останутся Кассий и Брут.

Среди событий личного порядка, отметивших этот период, главным для Октавия стало его вступление во взрослую жизнь. Согласно вековым обычаям, переход из детского состояния сопровождался особым ритуалом, включавшим расставание с некоторыми детскими атрибутами — буллой, золотым шариком, который дети носили на груди на длинной цепочке, и претекстой — детской тогой с пурпурной полосой: юноша впервые надевал тогу гражданина. После переодевания, которое происходило в родительском доме, юноша в сопровождении более или менее многочисленного и пышного кортежа шествовал по улицам Рима до Капитолия, где приносил жертву на алтарь Юпитера. Здесь же его имя вносили в списки граждан.

Октавий совершил этот обряд 19 октября 48 года. Он пока не мог именоваться «мужем», но вошел в категорию «юношей», в которой ему, как и всем остальным молодым римлянам, предстояло оставаться по меньшей мере до 27 лет — официального возраста первой магистратуры. Одновременно благодаря покровительству Цезаря он получил право на ношение латиклавии — широкой пурпурной полосы, которая нашивалась на тунику и обозначала принадлежность к сословию сенаторов. Очевидно, тогда же Цезарь внес его в списки патрициев и включил в коллегию понтификов^[30]. Карьера Октавия, начатая при столь мощной поддержке, полетела вперед, сметая на своем пути все преграды и попирая все возрастные ограничения и законные нормы, требовавшие постепенного восхождения от должности к должности.

25 июля 46 года Цезарь вернулся в Рим триумфатором. Празднества длились весь август и весь сентябрь. Он и Октавия удостоил боевых наград за войну, в которой тот по молодости лет не принимал никакого участия, продемонстрировав тем самым как свое полнейшее пренебрежение к законным установлениям, так и особое расположение к внучатому племяннику. Кроме того, он поручил юноше организацию зрелищ, устраиваемых для народа в честь триумфа. Мы не знаем, какие отношения связывали Цезаря с внучатым племянником. Вполне вероятно, они отличались искренней близостью и теплотой, хотя лично видеться обоим удавалось нечасто. Не исключено, что Цезарь, добившийся великой славы, но не имевший потомства, привязался к мальчику и, глядя на него, каждый раз с грустью думал, что у него нет сына, который продолжит его род и почтит память его могилу. Со своей стороны, юноша не мог не восхищаться великими деяниями Цезаря, твердо решившего спасти римский мир из пучины маразма, в которую тот

погружался. Его влияние ощущалось повсюду — в Риме, который он украшал новыми монументами; в Италии, где он основывал новые колонии из солдат-ветеранов и пролетариев; в провинциях, которые он романизировал, организовывая новые колонии.

Молодой Октавий знал, какие планы вынашивал Цезарь, вознамерившийся взять все управление огромной империей, создававшейся на протяжении более чем ста последних лет, в свои руки. Он уже превратился в священное лицо, стал почти царем, почти богом. В годы своей юности Октавий, еще не осознавая этого, получил от него политические уроки такой важности, что они во многом определили его собственную дальнейшую деятельность. Возможно также, уже тогда он замечал и совершаемые Цезарем ошибки: дерзкое высокомерие в отношениях с людьми, связь с Клеопатрой, которой он позволил приехать в Рим и привезти с собой ребенка — якобы его собственного сына, но главным образом, нежелание маскировать свои притязания на титул царя, вызывавшее в согражданах чувство ненависти. Октавий в будущем никогда не позволял себе подобных ошибок.

Ослепленный блеском своего гениального родственника, перед которым склонился весь Рим, он, конечно, с жадностью ловил малейшие знаки внимания с его стороны. Между тем Цезарь действительно оказывал ему знаки внимания, и отнюдь не пустяковые. И нам остается только гадать, что же на самом деле стояло за поразившей Октавия летом болезнью, столь тяжелой, что выздоровление затянулось до ноября, — реальное недомогание или попытка убежать от ответственности. Как бы там ни было, в связи с этим случаем мы впервые узнаем, что он вовсе не отличался крепким здоровьем. Вот как об этом без прикрас повествует Светоний (LXXXI):

«Тяжело и опасно болеть ему за всю жизнь случилось несколько раз, сильнее всего — после покорения Кантабрии: тогда его печень так страдала от истечений желчи, что он в отчаянии вынужден был обратиться к лечению необычному и сомнительному: вместо горячих припарок, которые ему не помогали, он по совету Антония Музы стал употреблять холодные. Были у него и недомогания, повторяющиеся каждый год в определенное время: около своего дня рождения он обычно чувствовал расслабленность, ранней весной страдал от расширения предсердия, а при южном ветре — от насморка. При таком расстроенном здоровье он с трудом переносил и холод и жару».

Кроме того, он плохо спал, не больше семи часов подряд, да и то не беспробудным сном. Среди ночи он просыпался по три-четыре раза и тогда звал к себе рабов, которые читали ему вслух или рассказывали сказки. Лишь после этого ему удавалось отвлечься от мрачных дум или неясных страхов, и он снова засыпал. В результате по утрам он просыпался с большим трудом (обычай требовал подниматься с солнцем), любил соснуть днем, а иногда, сморенный усталостью, засыпал в самых неподходящих местах. Если дремота настигала его сидящим в носилках по пути куда-либо, это было еще полбеды, но вот когда он отключился накануне сражения и едва не проспал его начало, дело обернулось гораздо серьезней.

При мысли об этой слабости, омрачившей всю жизнь Августа, на память приходят Людовик XIV с его букетом всевозможных болячек и Наполеон с его больным желудком. Если публичный политик, обязанный олицетворять собой силу и надежность, от природы слаб здоровьем, ему волей-неволей приходится постоянно пересиливать себя. Частично этим обстоятельством можно объяснить, почему Август так остро воспринимал окружающую жизнь как человеческую комедию. Ведь

все его существование протекало в непрестанной борьбе с собственными недомоганиями. Складывается впечатление, что он буквально заставлял свой организм справляться с трудностями, прекрасно сознавая, что тот в любую минуту может его подвести. Чем больше сил требовала от него обстановка, тем тяжелее ему приходилось морально, а вечный страх предательства со стороны собственного тела отбирал и без того невеликие силы.

Помня о своей подверженности сезонной лихорадке и опасаясь повторявшихся нервных припадков, он всю свою жизнь старался избегать излишеств. «Ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора; закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма: «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками». И еще: «Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда».

«Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом выпивал не более трех кубков, как сообщает Корнелий Непот, а впоследствии, даже когда давал себе полную волю, — не более секстария^[31]; если он выпивал больше, то принимал рвотное. Больше всего он любил вино из Сетии или ретийское. Впрочем, натошак он пил редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо стебель латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом» (Светоний, LXXVI-LXXVII).

В обществе, привыкшем искать забвения своих тревог в обжорстве и пьянстве, подобная сдержанность выглядела особенно примечательно. С одной стороны, это качество выгодно отличало Августа от Марка Антония, а позже и от Тиберия, но с другой — оно же

вредило ему, поскольку у него не было отдушины, необходимой после тяжелых переживаний. Он не знал также состояния легкого опьянения, которое, как говорит Платон, освобождает и возвышает душу.

Впрочем, слабое здоровье нисколько не мешало ему оставаться человеком крайне любвеобильным; пожалуй, сладострастие составляло единственную поблажку, которую он себе позволял почти до самой старости. В начале жизненного пути, когда его персону служила мишенью самых грязных памфлетов, в Риме болтали, что он, подобно Юлию Цезарю, испытывал склонность к однополый любви и даже позволил тому совершить над собой содомский грех. По мнению одних, он согласился на это в надежде на особые милости, по мнению других — за деньги. Однако если судить по всей его дальнейшей жизни, эти сплетни не имели под собой ничего кроме пустой клеветы, которая была вполне в духе тогдашних политических споров. Его всегда тянуло исключительно к женщинам, но уж эта тяга проявлялась в нем с непреодолимой силой.

Боевое крещение

Итак, в 46 году он заболел. Тот год в римской истории оказался самым длинным. Реформу календаря, пришедшего в слишком заметное несоответствие с астрономическим годом, придумал Цезарь. Он ввел между ноябрем и декабрем три дополнительных месяца общей продолжительностью в 67 дней. В декабре он отбыл в Испанию, где вокруг сыновей Помпея начала сколачиваться враждебная коалиция. Октавий к этому времени уже вступил в тот возраст, в котором молодые римляне благородного происхождения под руководством родственника или старшего друга принимали участие в военных операциях. Это сотрудничество, в ходе которого между опекаемым и опекуном складывались почти родственные отношения, называлось *tirocinium militiae* «подготовкой к военной службе».

О лучшем руководителе, чем Цезарь, Октавию не приходилось и мечтать, и, если он в итоге не поехал вместе с ним, значит, действительно еще не оправился после болезни. Однако всего несколько дней спустя после отъезда Цезаря он пустился ему вслед. С немногими спутниками он «пробирался по угрожаемым неприятелем дорогам, не отступив даже после кораблекрушения» (Светоний, VIII, 3). Очевидно, решение последовать за Цезарем он принял самостоятельно, так же как без его ведома подобрал себе в компанию троих друзей. Судя по всему, он полностью добился того эффекта, на который рассчитывал, потому что Цезарь, одобряя его выбор друзей и похвалив за отвагу, проявленную в пути, весьма благосклонно оценил его способности и по возвращении из Испании переписал завещание в его

пользу. 17 марта 45 года Цезарь в битве при Мунде разбил сыновей Помпея, один из которых, Гней, пал в бою, а второй, Секст, сумел избежать гибели и в дальнейшем стал одним из самых опасных противников Октавия.

Цезарь двинулся обратно в Рим и по дороге, в Нарбонне, встретился с Антонием, выехавшим ему навстречу. Взаимный холодок в отношениях, наметившийся на протяжении последних месяцев, казалось, был забыт, и Антоний провел весь остаток пути в повозке Цезаря. Октавию пришлось следовать за ними в одиночестве. Антонию, который родился в 83 году, в ту пору исполнилось 38 лет. Он уже давно входил в ближайшее окружение Цезаря, воевал вместе с ним в Галлии, участвовал в сражении при Алезии. Но больше всего он отличился при Фарсале, своими умелыми действиями в немалой степени обеспечив Цезарю победу. Кроме того, он дважды, когда Цезарь отбывал в дальний военный поход, оставался править Римом. Таким образом, Марк Антоний мог похвастать и талантом военного стратега, и опытом политического руководителя, и не случайно в 47–46 годах именно его диктатор назначил начальником конницы, то есть сделал своей правой рукой.

Вместе с тем он обладал и серьезными недостатками, довольно широко распространенными в ту бурную эпоху, и не только не стыдился выставлять их напоказ, но, казалось, теша свои пороки, вовсе не знал удержу. Он любил женщин, пиры, банкеты с обильными возлияниями. После Фарсалы, когда Цезарь продолжал войну в Египте, он остался править Римом и пустился здесь во все тяжкие. В конце концов диктатору надоело его распутство, и, едва истек срок полномочий начальника конницы, он заменил Антония Лепидом.

Но в Нарбонне Цезарь явно простил соратнику все его былые прегрешения, что совсем не понравилось

присутствовавшему здесь же Октавию. До сей поры они с Антонием практически не знали друг друга и по-настоящему познакомились лишь на обратном пути в Рим. Октавия больно задело то предпочтительное внимание, каким дарил своего боевого товарища Цезарь, но еще больше он расстроился, когда в январе 44 года должность начальника конницы вновь досталась Лепиду. Его собственные мечты разбились в прах. Плиний Старший указывает, что это назначение стало первым в списке неудач будущего Августа, хотя на самом деле ни о какой неудаче не могло идти и речи, ведь Цезарь уже приготовил для Октавия другую должность.

Он планировал поход против парфян и с этой целью разместил в Аполлонии^[32] штаб армии, которую намеревался возглавить лично. Сюда он и направил Октавию, поручив проследить, как ведутся приготовления к предстоящей кампании. С законами Цезарь обращался как хотел и в феврале 44 года, получив пожизненные диктаторские полномочия, решил, что ему мало одного начальника конницы. Лепиду предстояло выступать в этом качестве на Западе, а Октавию доставался Восток. Возможно, Цезарь стремился заранее обеспечить своего наследника войском, чтобы в случае, если с ним самим произойдет несчастье, тот располагал серьезными силами и сумел отстоять свое политическое наследство. Не исключено, конечно, что диктатор вынашивал и еще более смелые планы, например, намеревался произвести раздел империи, оставив западную часть своему римскому сыну Октавию, а восточную — сыну Клеопатры Цезариону.

В декабре Октавий, не имея ни малейшего представления о содержании написанного Цезарем завещания, отбыл в Аполлонию. Он еще не подозревал, что его политическая карьера вступила в решающую фазу.

Его сопровождали друзья — те самые, выбор которых одобрил Цезарь, — Марк Випсаний Агриппа, Квинт Сальвидиен Руф и Аполлодор Дамасский. Последнему в ту пору стукнуло 60 лет, и его взяли в компанию, чтобы ученой беседой он помогал остальным коротать часы досуга. Но вот двое первых как раз и составили ядро того, что впоследствии будет названо партией Цезаря Октавиана. О том, при каких обстоятельствах произошло знакомство этой пары с Октавием и что легло в основу их дружбы, нам не известно ничего. Не больше знаем мы и о происхождении обоих — кроме того, что и для современников оно оставалось загадкой.

Правда, сохранилась одна легенда, сама по себе довольно туманная, связанная с именем Сальвидиена. Однажды, когда он пас овец на склоне холма в отчем краю, из головы у него вдруг вырвался сноп пламени^[33]. Легенда умалчивает, пас ли он собственных овец или трудился пастухом на хозяина, но в любом случае очевидно, что речь идет о человеке скромного происхождения. Что касается самого чуда, то такое же точно произошло с римским царем Сервием Туллием, правившим между Тарквинием Старшим и Тарквинием Гордым. Царица Танаquil тогда истолковала это знамение как обещание царского предназначения^[34]. Значит ли это, что и овечьему сторожу предстояло в один прекрасный день вслед за Августом стать царем? Что ни говори, а история действительно таинственная^[35]. По своему духу она больше всего напоминает этрусские сказания, хотя имя Сальвидиен, скорее всего, сабинское. Как бы там ни было, в 40 году Сальвидиена обвинили не то в подготовке переворота, не то в намерении перебраться к Антонию, и сенат по просьбе Цезаря Октавиана вынес ему смертный приговор. Возможно, именно тогда и возникла эта легенда, запущенная в оборот самим Сальвидиеном,

который сочинил ее, взяв за образец одно из множества пророчеств, имевших широкое хождение среди сторонников различных партий. Вместе с тем нет никаких доказательств, что обвинение против Сальвидиена имело под собой реальную основу. Не исключено, что оно входило составной частью в хитроумный план Антония, который, выдав Сальвидиена, лишил Цезаря Октавиана одного из самых надежных помощников.

Действительно, Сальвидиен не раз и не два проявил свой недюжинный военный талант, в частности, в битве при Перузии. Очевидно, он служил в армии и прежде, скорее всего, под началом Цезаря. О значительности его заслуг говорит тот факт, что он, до того не занимавший ни одного официального поста, должен был стать консулом 39 года — действительно выдающееся достижение для безродного выскочки. Однако воспользоваться им он так и не успел, казненный по обвинению в государственной измене. На его примере мы можем догадаться, что собой представляла партия Цезаря Октавиана и какая острая внутренняя борьба в ней кипела.

Совершенно иначе сложилась судьба Агриппы, на протяжении долгих лет неотступно следовавшего за Цезарем Октавианом, а затем Августом и ставшего его зятем и ближайшим соратником. Но и он, подобно Сальвидиену, был провинциалом и человеком темного происхождения. Риторы превратили этот факт в общее место и охотно пользовались им в своих построениях. Однажды Латрон, выступая перед Августом и Агриппой с речью об усыновлении и зная о намерении Августа усыновить детей Агриппы, позволил себе обратиться за живым примером. «Вот тот, кто благодаря усыновлению из самого низкого звания возносится в нобилитет», — указывая на Агриппу, провозгласил он и далее продолжал в том же духе. При этих словах Меценат

засвистел и сказал Латрону, что принцепс спешит, а потому пора заканчивать декламацию. Кое-кто углядел в этом злокозненность Мецената, который своим свистом не только не помешал Цезарю расслышать сказанное, но, напротив, привлек к речам ратора внимание принцепса. Однако при божественном Августе люди пользовались такой свободой, что, несмотря на тогдашнее всемогущество Агриппы, находилось немало таких, кто смел укорять его низким рождением»^[36].

Даже если согласиться, что правление Августа действительно отличалось главным образом свободой, приведенный анекдот никак не способен служить тому доказательством. Напомнить Агриппе его незавидное происхождение и нынешнее высокое положение значило польстить Августу, благодаря которому он и возвысился. И Агриппа никогда об этом не забывал — в отличие от Сальвидиена, примерно наказанного для острастки остальным членам партии, той самой партии, что сформировалась вокруг провинциального всадника, в одночасье превращенного в патриция божественного происхождения, партии, первоначальное ядро которой составили два безродных провинциала. Эта партия стала своего рода наброском великих социальных перемен, которые начались в годы правления Августа. Вскоре к ней примкнул и Меценат.

Нетрудно догадаться, с каким воодушевлением Октавий и оба его товарища восприняли величайшую милость, благодаря которой им, несмотря на молодость, удалось стать участниками истории с большой буквы. Но сдержит ли будущее обещания, столь щедро расточаемые настоящим? Снедаемые любопытством, Октавий и Агриппа в один прекрасный день поднялись в обсерваторию к астрологу по имени Фиаген. Они хотели знать, что их ждет. Октавий волновался гораздо больше своего товарища, а потому уступил ему первую очередь. Выслушав от Агриппы все касательно его рождения,

астролог после недолгого размышления предрек ему огромную, почти невероятную удачу. Испугавшись унижения получить менее благоприятное предсказание, Октавий долго отказывался сообщить дату своего рождения, но после упорных уговоров Агриппы и звездочета все же уступил. Вместо ответа астролог стремительно вскочил с места и безмолвно простерся перед Октавием, словно признавая, что перед ним будущий властелин мира. Эта история, входящая в золотую легенду Августа, представляется нам эскизом к достаточно правдоподобию портрету молодого Августа: гордый, но еще ни в чем не уверенный, он жаждал проникнуть в тайну своего будущего, но оставался во власти сомнений и демонстрировал готовность поверить чему угодно.

Пока Октавий с товарищами следили за военными приготовлениями и старательно поддерживали в войсках популярность Цезаря, упражнялись в красноречии и мечтали о будущей славе, история готовила им изрядный сюрприз. Как-то под вечер, в час трапезы, 16 или 17 марта 44 года к Октавию явился вольноотпущенник Атий, вручивший ему запечатанный пакет. Вскрыв его, ошеломленный юноша прочитал, что в мартовские иды Цезарь был убит. Рим приветствовал его убийц, называя их «тираноборцами» и «освободителями».

Республиканская партия сформировалась вокруг Марка Брута. Он вел (или верил, что ведет) свое происхождение от того Брута, который изгнал последнего римского царя Тарквиния Гордого. До членов группировки дошли слухи, что Цезарь, узнав от предсказателей, что победу над парфянами сумеет одержать только царь, намерен накануне похода обратиться в сенат с предложением венчать его царской короной. Это были всего лишь слухи, и даже если они соответствовали действительности, не исключено, что

Цезарь собирался носить царский титул исключительно в восточной части империи, однако их оказалось достаточно, чтобы подвигнуть защитников республики к решительным действиям. Они прекрасно знали, что сенат практически полностью покорен воле Цезаря. В начале года сенаторы уже удостоили диктатора звания «божественного», и если бы Цезарь в самом деле мечтал о царском титуле, в мартовские иды он бы его получил. Для заговорщиков, таким образом, дело шло о восстановлении республики, и путь к ней лежал через убийство человека, вознамерившегося вернуть ненавистный монархический строй. Они расправились с Цезарем, нанеся ему 23 кинжальных удара. В числе убийц особенно выделялись трое — Марк Брут, его родственник Децим Брут и Кассий. Все трое считались друзьями Цезаря и пользовались его расположением.

Новость о смерти Цезаря достигла Аполлонии под вечер, когда город безмятежно готовился к отдыху. Видные горожане, прервав трапезу, поспешили к Октавию с соболезнованиями и заверениями в верности покойному диктатору и нашли юношу в состоянии глубокой подавленности. Все его планы рухнули в одночасье, и будущее заволкло туманом неизвестности. Племянник свергнутого тирана смертельно перепугался. Это предположение не кажется нам чересчур смелым, ведь и годы спустя, уже став Августом, он продолжал помнить о пережитом страхе, исцелению от которого отнюдь не способствовали многочисленные покушения на его жизнь. Своей гибелью Цезарь преподавал Октавию последний, но самый важный политический урок, а уж он сделал из него необходимые выводы. Свидетельством тому — и его собственное долголетие, и успех его предприятия. Вместе с тем корни многих из совершенных им в дальнейшем ошибок, особенно связанных с тем, как он распорядился своим

наследством, следует искать там же — в потрясении, каким стало для него убийство Цезаря.

Он понял, что должен вести себя с величайшей осторожностью. Между тем из Рима пришли свежие вести, внешне успокоительные, но для него удручающие — они не оставляли от его надежд и камня на камне. Консул Марк Антоний спас положение и не допустил гражданской войны: одобряя все, предпринятое Цезарем, он в то же время воздержался от преследования его убийц. Именно он, взяв на себя роль политического наследника Цезаря, заправлял теперь в Риме. Новости поступали едва ли не каждый день, но общей картины они не проясняли; судить отсюда, из далекой Аполлонии, о том, что происходит в Риме, было слишком трудно. Друзья горячо советовали Октавию встать во главе легионов и под их защитой двинуться на Рим, чтобы отомстить убийцам Цезаря. Военские командиры твердили ему о том же и предлагали свою помощь. Но Октавий колебался. И колебался он не зря. Он понимал, что для римлян он — никто, особенно в сравнении с Антонием, консулом года. Пожелай он сейчас вырваться из политического небытия, его появление сразу напомнило бы городу, едва избавившемуся от власти диктатора, что у покойного остался в живых кое-кто из родни... Наверное, действительно разумнее было потихоньку перебраться в Италию и подождать, как будут развиваться события.

Наследник Цезаря

В небольшом городке Калабрии Октавий повстречал недавно вернувшихся из Рима путешественников, которые лично присутствовали на погребении Цезаря, состоявшемся 20 марта^[37]. Они рассказали, что среди римского плебса, которому Цезарь завещал свои сады и по 300 сестерциев на человека, уже раздаются голоса, твердящие о святотатстве, лишившем их благодетеля. Демонстрируя непостоянство, примерами которого так богата мировая история, народ шумно приветствовал Антония, посвятившего свое выступление исключительным добродетелям Цезаря. Всю тонкость этой мастерски выстроенной речи превосходно воссоздал Шекспир («Юлий Цезарь», III, 2, 76–86):

Ведь Брут
Сказал, что Цезарь был честолюбив.
Коль это правда — это злой порок
И за него ответил Цезарь зло.
Здесь с позволенья Брута и других
(А Брут вполне достойный человек,
Как все они, достойные все люди),
Пришел я речь над Цезарем сказать.
Он был мне друг, был справедлив и верен,
Но Брут сказал, он был честолюбив,
А Брут вполне достойный человек^[38].

К концу речи Антония толпа начала склоняться к мысли, что те, кого еще вчера она славилась как тираноубийц и освободителей, на самом деле — отцеубийцы. Сам же Антоний, окрыленный успехом своего выступления, уже не скрывал, что горит

желанием взять в свои руки бразды правления Римом, — якобы в полном соответствии с волей умершего.

Октавий внимал рассказам очевидцев затаив дыхание. 18 марта, продолжали те, по требованию Антония произвели вскрытие завещания Цезаря. Документ носил частный характер, и из его содержания следовало, что первым наследником своего имущества завещатель назначает Октавия, одновременно объявляя его своим приемным сыном. Трудно сказать, для кого известие о последней воле Цезаря стало большим сюрпризом — для Антония, с сенаторами или для самого Октавия. Но если Антония — наследника лишь второй очереди — оно повергло в глубокое разочарование, лишив его политические притязания всякой легитимности, то для Октавия стало источником новых осложнений. Ситуация явно требовала всестороннего осмысления.

Казалось бы, чего проще — он наследует власть Цезаря, и по естественному праву, как официально признанный сын, и по завещанию. Но мог ли он быть уверен, что на шахматной доске большой политики предусмотрено место для приемного сына диктатора, в котором одни по-прежнему видели тирана, к счастью, свергнутого, а другие — щедрого благодетеля и почти бога? Прекрасно понимая, что вопрос стоит именно так, Октавий удерживался от поспешных шагов. Он решил не торопясь пересечь Италию, внимательно следя за развитием событий и действуя в зависимости от обстоятельств. Сегодня, когда известен весь ход дальнейшей истории, уже нетрудно восстановить ее исток и продолжение. Итак, Октавий, судя по всему, уже в эти мартовские дни сделал ставку на имя Цезаря, отныне ставшее и его именем, на войска, сохранившие верность памяти покойного диктатора, и на ту партию, ядро которой составили его товарищи по Аполлонии. В нем уже начали проявляться черты, которым

впоследствии он будет обязан своими успехами: осторожность; упорство; особое чутье, подсказывавшее ему, когда событиям следует предоставлять идти своим чередом, а когда их нужно форсировать; умение прислушиваться к советам, не впадая ни в высокомерие, ни в зависимость от советчика; наконец, талант подбирать друзей и поручать им задачи, соответствующие их компетенции — качество, может быть, особенно ценное для вождя. Благодаря завещанию Цезаря к этим природным задаткам добавились громкое имя, особенно ласкающее слух ветеранов, значительная финансовая мощь и обширная клиентура.

В апреле 44 года Октавий, сопровождаемый друзьями, добрался до Кампании. Первым делом он навестил родных. Мать Атия и отчим Марций Филипп советовали ему отказаться от наследства. Друзья, напротив, убеждали начинать набирать войско из ветеранов, населяющих основанные Цезарем колонии, чтобы, опираясь на него, требовать удовлетворения своих прав. Какого мнения придерживалась на этот счет его сестра Октавия, в дальнейшем принимавшая активное участие в политической карьере брата? Этого мы не знаем. Как бы там ни было, всем советам он противопоставил точно выверенный сплав собственного честолюбия, осторожности и, вполне вероятно, преданности памяти двоюродного деда.

В самом деле, если друзьям он без устали повторял, что, прежде чем предпринимать те или иные шаги, ему необходимо попасть в Рим и на месте убедиться, насколько обоснованы его надежды, то отчиму он горделиво заявил: никто не имеет права считать его недостойным имени Цезаря, если сам Цезарь счел, что он его достоин^[39]. Матери, которая уговаривала его проявить осмотрительность, он ответил стихом из «Илиады» (XVIII, 98–99): «Рад умереть я сейчас же, когда от опасности смертной Друга не мог защитить я!» (Пер.

В. В. Вересаева). Он напомнил ей, что именно эти слова произнес Ахилл, удрученный гибелью Патрокла. Из чего мы можем сделать вывод, что мотив мести, вскоре прозвучавший в его речи, имел для него действительно большое значение. Иначе говоря, мы вовсе не убеждены, что с его стороны это был лишь ловкий ход в политической игре. Все-таки это первые из дошедших до нас слов Августа, и отместить с порога искренность человека, их произнесшего, значило бы проявить к нему несправедливость. Тот факт, что для выражения владевших им чувств он обратился к греческой цитате, вполне логично вписывается в рамки культуры того времени и того социального слоя, к которому он принадлежал. Использование литературного образа позволяло ему возвысить личные переживания до общечеловеческого звучания, без чего они теряли всякий смысл. Таким же нормальным было и его обращение к греческому языку. Ведь и Цезарь, признав среди убийц Брута, произнес по-гречески: «И ты, дитя мое»^[40]. Однако никому и в голову не приходит заподозрить его в позерстве.

Кроме того, известно, что на протяжении всей своей жизни Цезарь Октавиан демонстрировал неизменную верность друзьям, а Цезарь значил для него гораздо больше, чем просто друг. Вот почему весной 44 года, когда он появился в Кампании — благословенном краю, мирно цветущем под сенью такой привычной и такой, казалось, безобидной громады Везувия, на него смотрели как на юного мстителя, жаждущего отплатить виновным за предательство друга. Многие римляне владели здесь виллами — просторными, как дворцы. В парадных залах, окнами выходящих на самый красивый в Италии залив, в пышных садах, благоухающих ароматом цветов, аристократы до хрипоты спорили о будущем республики, которая со смертью Цезаря вступила в очередную фазу потрясений. Цицерон,

живший на вилле в Кумах, пытался осмыслить происходящее с точки зрения политика и философа. Многочисленные посетители не мешали ему продолжать работу над трактатами «О предвидении» и «О судьбе». Он и не догадывался, что в тот день, когда Марций Филипп привел к нему совсем молодого гостя, робкого на вид юношу по имени Гай Октавий, представившегося наследником Цезаря, предопределилась его собственная судьба. Разговор, естественно, вертелся вокруг Антония. Завладев архивом Цезаря, тот приступил к обнародованию еще не принятых законов, словно заставив звучать голос умершего. Какого политического курса он будет придерживаться? Он успел заручиться поддержкой Лепида, отдав тому должность верховного понтифика^[41], а теперь старался расположить к себе сенат и ветеранов. Для последних он основал в Кампании несколько новых колоний, а в конце апреля намеревался прибыть сюда лично.

Но встретиться с молодым Цезарем ему не довелось — в начале мая тот уже въезжал в Рим. В день его прибытия на небосводе, хотя солнце еще не зашло, высыпали звезды — верный знак того, что небеса заинтересовались молодым человеком. Дождавшись возвращения Антония, в конце месяца он обратился к нему с просьбой о встрече с глазу на глаз. И хотя его усыновление еще не получило официального подтверждения, он повсюду представлялся как Гай Юлий Цезарь Октавиан^[42]. Под этим именем он и явился к Антонию — действующему консулу, родовитому аристократу, политику, сумевшему удержать Рим на самой грани катастрофы и переломить казавшуюся безнадежной ситуацию, наконец, 40-летнему жизнелюбу. Кого же увидел перед собой Антоний? 19-летнего мальчишку, не доросшего даже до первой магистратуры, провинциала не слишком завидного происхождения, лицо которого, несмотря на молодость,

несло отпечаток сурового аскетизма. И этот юнец, ничего не смыслящий в политике, явился к нему требовать казну Цезаря, да еще удивлялся, что не ему досталась должность верховного понтифика — ведь Цезарь в 45 году заставил сенат принять закон, согласно которому она должна передаваться по наследству! И в довершение всего холодно интересовался, почему до сих пор не наказаны убийцы его отца! Ни дать ни взять трагедийный герой, Орест и Антигона в одном лице, добивающийся справедливости любой ценой, нимало не заботясь, что этой ценой должно стать спасение государства! Наверное, похожие чувства испытывала героиня Корнелия Эмилия, когда восклицала:

Желанье пылкое великого отмщенья,
Что с дней, как пал отец, ведет свое рожденье,
Столь гневное дитя пережитых обид,
Чью боль душа моя ослепшая таит^[43].

Впрочем, сам Октавий не считал, что слишком легко позволил душе отдаться во власть горьких сожалений, и для полноты картины с того дня, когда узнал о смерти Цезаря, перестал бриться. Именно таким — с редкой бороденкой, не столько закрывающей, сколько марающей его худые щеки, — запечатлел его автор скульптуры, ныне хранящейся в музее Арля. Не бриться в знак траура требовал древний римский обычай, у греков же сбривание первой бороды знаменовало переход от юноши к зрелому мужу. Цезарь Октавиан умело обыграл оба этих символа: спустя еще долгое время после разгрома убийц Цезаря он продолжал носить бороду, и, когда 23 сентября 39 года наконец сбрил ее, это означало не только конец траура, но и начало нового этапа его жизни. В его судьбе в это время появилась Ливия, и не исключено, что именно это

событие он решил символически отметить своим жестом. Но вернемся к встрече с Антонием. Едва увидев юношу, тот инстинктивно почувствовал к нему сильнейшую неприязнь; впрочем, неприязнь была взаимная. И первый их разговор положил начало 13-летней полосе лицемерного союзничества и искренней ненависти.

В данную минуту молодой Цезарь грозил разрушить то хрупкое согласие, пусть искусственное и недолговечное, которого удалось добиться Антонию, заботившемуся не только о поддержании равновесия в городе, но и о собственной карьере. Прикрываясь именем другого, настоящего Цезаря и спекулируя на его памяти, этот молокосос собрался раздуть тлеющий огонь гражданской войны. Антоний наотрез отказался выдать ему казну Цезаря и постарался воспрепятствовать тому, чтобы завещание вступило в законную силу. Со своей стороны, Цезарь Октавиан уже прикидывал, какими ресурсами он располагает и на кого из друзей может опереться. И без наследства, завещанного приемным отцом, после смерти родного отца он владел приличным состоянием и знал, что кроме собственных друзей его поддержат прежние сторонники Цезаря, готовые предоставить ему средства, необходимые для сколачивания партии и вербовки войска.

В июле 44 года он взял на себя расходы по организации игр, устраиваемых в честь Победы Цезаря. Проходили они с 20 по 30 июля. Идея игр принадлежала Цезарю, который посвятил их своей легендарной родоначальнице Венере Прародительнице и впервые устроил их в 46 году, накануне сражения при Фарсале. Во время игр 44 года в римском небе появилась комета, что чрезвычайно обрадовало Цезаря Октавиана, заявившего по этому поводу:

«Когда праздновались мои Игры, в северной части неба на протяжении семи дней висела комета. Она делалась заметной начиная с одиннадцатого часа^[44]; сияла очень ярко и была видна из всех частей земли. По общему мнению, это означало, что душа Цезаря принята в сонм бессмертных божеств, вот почему, когда некоторое время спустя мы воздвигли на Форуме посвященную ему статую, к изваянию добавили и комету».

Этот отрывок, по всей видимости, заимствованный Плинием Старшим из «Мемуаров» Августа, являет собой, как, впрочем, и «Комментарии» Юлия Цезаря, яркий пример умения говорить, умалчивая, вернее, говорить именно так, чтобы умолчать о главном. В самом деле, сообщая точные данные о времени и продолжительности явления кометы, Цезарь Октавиан не упоминает ни о том, что украсить статую кометой приказал именно он, ни о том, что и освящал статую тоже он. Что касается «общего мнения», то представляется весьма вероятным, что оно подверглось умелой обработке со стороны его приверженцев. И если вслух он заявлял, что, воздвигая статую в честь своего божественного отца, идет навстречу «всеобщим чаяниям», то в глубине души не сомневался, что возвеличивает в ней прежде всего себя самого^[45].

Этим смелым шагом он решительно пресек все споры, разгоревшиеся вокруг появления кометы. Ведь если одни верили, что это душа Цезаря, другие утверждали, что кометы — в отличие от звезд — служат предвестницами несчастий, а вовсе не знаком обожествления. Цезарь Октавиан положил конец этим разговорам. После того как в храме Венеры Прародительницы появилась бронзовая статуя, о которой он сообщает в своих мемуарах, ни у кого не осталось сомнений относительно истинного значения кометы.

Политический агитатор

Летом события ускорили свой ход, и многое прояснилось. Убийцам Цезаря стало ясно, что в Италии их затея потерпела полный провал, и в августе Брут отплыл в Грецию. В октябре к нему присоединился и Кассий. 1 августа Антоний объявил обоим войну, так что они активно готовились к схватке. Между тем сам Антоний вел себя все более вызывающе и вскоре потребовал себе в управление Цизальпинскую Галлию — провинцию, которую Цезарь отдал Дециму Бруту. Это был типичный *casus belli* — формальный предлог к войне. Сенат продемонстрировал свое отношение к происходящему 2 сентября, когда Цицерон выступил с первой из своих «Филиппик».

Чтобы занять свое место среди участников начавшего формироваться сложного политического процесса, Цезарю Октавиану потребовалась вся его ловкость. Сенаторы уже восстали против тирании Антония, который продолжал — или верил, что продолжает, — политику Цезаря и стремился привлечь на свою сторону как можно большее число легионов. В этой ситуации у Цезаря Октавиана, наследника того самого Цезаря, чьи деяния из-за поведения Антония перед многими представляли в нежелательном свете, оставался единственный выход — попытаться снискать к себе расположение сенаторов, одновременно наращивая собственную военную мощь. Ради последнего он и отправился в Кампанию, где вербовал ветеранов и, не жалея средств, старался переманить к себе верные Антонию легионы. Как только он почувствовал за собой достаточную силу, он немедленно перешел к выполнению второго пункта своей программы, что потребовало от него и изворотливости, и жесткости.

10 ноября во главе вооруженного отряда он занял римский Форум^[46]. Он надеялся, что сенат, собравшись на заседание, выразит ему поддержку. Однако никто из сенаторов здесь так и не появился. Тогда он выступил перед народным собранием с горячей речью, которую завершил торжественной клятвой отстоять политическое наследство своего отца^[47]. О том, каким его увидела толпа изумленных сограждан, дает представление статуя в Прима Порта. Стройный мускулистый юноша, приподнявшийся на носки, чтобы казаться выше, с высоко поднятым лицом, с воздетой кверху правой рукой, — он был прекрасен, как, должно быть, были прекрасны сами боги. В то же время его бледность и худоба, неряшливый вид его небритых щек, мрачный взгляд, прикованный к звезде, венчающей голову изваяния, воспринимались как символ мести. Нет, он не ломал перед окружающими комедию; он выступил в трагической роли сына убитого отца.

Чем обернулась для него эта дерзкая выходка — полупобедой или полупоражением? Не поторопился ли он? Или все-таки Цезарь Октавиан, понимая, что дольше выжидать нельзя, рассчитал все точно? Как бы там ни было, он сумел привлечь к себе внимание. Ясность его позиции и торжественная серьезность намерений не могли не заинтриговать тех, кто его слушал — ветеранов и плебеев. Вряд ли он полагал, что этот смелый шаг немедленно принесет свои плоды, однако ему удалось главное — так обставить свой выход на сцену, что дальнейшее развитие пьесы стало без него невозможным. В тот день состоялось его рождение как политика, и отныне представителям разных партий пришлось задумываться, что лучше — использовать его в своих интересах или нейтрализовать.

С точки зрения осуществления его плана, разработанного еще до возвращения в Рим и состоявшего в том, чтобы заинтересовать, если не

соблазнить своей фигурой как можно большее число сенаторов, его поступок имел неоченимые последствия. В его решимости действовать сразу в двух параллельных направлениях, опираясь, с одной стороны, на силу оружия, а с другой — на дипломатию, по всей видимости, отразился состав сколачиваемой им партии. Не случайно первое упоминание имени Мецената относится как раз к этому времени и встречается в списке узкого круга друзей, сопровождавших его в Кампании^[48].

Этот человек, разительно не похожий ни на Сальвидиена, ни на Агриппу, ни на самого Октавия, стал одной из ключевых фигур в бурной истории его восхождения, равно как и в истории успешного правления Августа. Сын богатого этрусского аристократа, по матери он принадлежал к древнему царскому роду из Арреция. Сделав в начавшейся игре ставку на Цезаря Октавиана, он тем самым существенно поднял его шансы. Станный это был человек. В нем одном, казалось, воплотились все пороки, которые римляне привычно приписывали этрускам. Он и сам умело играл на этой своей непохожести на других, демонстрируя презрительное равнодушие к должностям и званиям, за которые отчаянно бились прочие честолюбцы. Он отверг их все — во-первых, потому, что любой пост считал недостойным своей царской крови, а во-вторых, потому, что, исповедуя эпикуреизм, не дорожил вещами, которые считал несущественными^[49]. Существенным же, на его взгляд, было лишь одно: признание того, что все вокруг — ничтожество и пустяки. Раскованный, беспечный, то зябко кутающийся в плащ с капюшоном, то разодетый в шелка и сверкающий драгоценностями, он выступал таким «декадентствующим денди», и, как знать, быть может, это было лучшее, что оставалось отпрыску этрусской знати, давным-давно пережившей свои звездные

времена. Сенека, ненавидевший даже память об этом человеке, посмертно обвинял его в пристрастии к слишком просторным одеждам, столь любимым золотой римской молодежью, но главным образом в откровенном нежелании скрывать свои пороки. При этом его отличали блестящий ум, широкая культура, литературный талант, приветливость в обращении и искренняя привязанность к друзьям. Одним его чудачества внушали восхищение, другим — резкую неприязнь, но они никого не оставляли равнодушным. Он любил и умел спорить, владел искусством добиваться своего, действуя поочередно то посулами, то угрозой, обладал поистине кошачьим терпением, достойным Мазарини, и не раз выручал Цезаря Октавиана из самых тяжелых положений.

Располагая таким советчиком, действительно можно было начинать вербовать союзников среди сенаторов. И первой в поле зрения Цезаря Октавиана попала фигура Цицерона. Стареющий консуляр, которого смерть Цезаря заставила вздохнуть с облегчением, для всех не согласных с режимом все еще символизировал авторитет сенаторской республики, которая осталась жить в его прекрасных речах. 1 ноября 44 года Цицерон получил от Цезаря Октавиана письмо, из которого узнал, что тот на свои средства собирает войско для борьбы с армией Антония. В городах Кампании под его знамена уже встали живущие здесь ветераны, и, где бы он ни появлялся, его встречали приветственными криками. Ему хотелось бы, чтобы Цицерон занял его сторону. Но Цицерон колебался. Он помнил, что накануне отъезда из Италии Брут советовал ему не доверять молодому Цезарю. Однако тот проявлял настойчивость, и его поддерживали Марций Филипп, его отчим, и Клавдий Марцелл, муж его сестры Октавии.

Понемногу Цицерон, возмущенный тем, как вел себя Антоний, начал склоняться к мысли, что, возможно,

Цезарь Октавиан — это орудие, ниспосланное судьбой ради избавления республики от ее злейшего врага. Сегодня, когда вся тщета его усилий по спасению республики нам хорошо известна, легко рассуждать об очевидности развития событий. Но сам Цицерон, и не он один, все еще верил в возможность ее восстановления. Не исключено, что у него, не имевшего ни малейших оснований довериться сыну тирана, созрел макиавеллиевский план: вначале с помощью Цезаря Октавиана убрать с дороги Антония, а затем с помощью сторонников республики — и самого Цезаря Октавиана. В силу целого ряда обстоятельств, и в первую очередь из-за отсутствия у республиканцев четкой программы действий, этот план с треском провалился, погубив и твердо верившего в его успех Цицерона. Во всяком случае, политическая подоплека его союза с Цезарем Октавианом выглядит гораздо убедительнее того странного сна, который он якобы видел и пересказывал другим. Итак, Цицерону как будто бы приснилось, что Юпитер созвал на Капитолий всех сыновей сенаторов, чтобы указать того из них, кому суждено возглавить город. Молодые люди медленно двигались перед статуей бога, когда она вдруг ожила и простерла указующий перст в сторону совсем молодого юноши, почти мальчика. И все услышали, что конец гражданским войнам наступит в тот день, когда этот мальчик станет властелином Рима. Буквально несколько дней спустя Цицерон повстречал приснившегося ему юношу на Марсовом поле и узнал, что зовут его Гай Октавий.

В этой истории, входящей в цикл чудесных пророчеств, возвестивших появление гения Августа, нет и тени правдоподобия, прежде всего потому, что Цицерон меньше всего на свете мечтал, чтобы кто бы то ни было стал «властелином Рима». Он вовсе не нуждался в изобретении «предчувствий», оправдывающих тот

факт, что ему пришлось примкнуть к делу, которое он считал всего лишь наименьшим злом. Видимо, тот, кто сочинил эту сказку, в избытке обладал или нахальством, или чувством юмора, или цинизмом, коли уж додумался возвестить приход нового режима через пророческий сон человека, который в своем трактате «О республике» предлагал вверить судьбу государства принцепсу — то есть «первому из равных». И действительно, Август впоследствии взял себе звание принцепса, вот только содержание его роли оказалось диаметрально противоположным тому, о чем писал Цицерон.

В середине ноября 44 года Антоний издал эдикт, в котором в оскорбительных выражениях отзывался о Цезаре Октавиане, старательно метя в его «больные» места — происхождение и юный возраст, а заодно обвинял в противоестественных наклонностях. Хуже всего было то, что он обращался к нему как к «мальчишке» и приписывал ему малодостойных предков: с отцовской стороны, прадеда-вольноотпущенника, фурийского канатчика, и деда-менялу, а с материнской — прадеда-африканца, торговца благовониями, позже ставшего булочником в Ариции. Кое-кто из аристократов присоединился к этим оскорблениям, говоря, что «мальчишку» следует усыпать цветами и вознести до небес. Нет, они вовсе не намекали на его обожествление; просто латинский глагол «tollere», который они использовали, служил для изящной игры слов, ибо означал и «поднимать», и «губить». В ответ Цезарь Октавиан, выступая перед неофициальным, но многолюдным собранием, обвинил Антония в посягательстве на свободу граждан. Свою речь он отослал Цицерону, который одобрил ее главную идею, тем самым сделав в предстоящей схватке окончательный выбор.

20 декабря Цицерон произнес третью Филиппику, за которой последовали 11 других. Высказываясь в защиту

Цезаря Октавиана, он подчеркивал, что его молодость — лучшее доказательство божественности его избрания, которое станет спасением для государства. Он явно старался польстить молодому человеку, которого так бесили нападки на его юный возраст, что после победы при Мутине он официально запретил употреблять по отношению к себе слово «puer» — ребенок. Сторонники Антония то и дело прерывали речь Цицерона выкриками с мест, но вопреки их стараниям сенат постановил воздвигнуть статую в честь Цезаря Октавиана и возместить ему расходы на выплату жалованья солдатам, кстати сказать, считавшимся уволенными из регулярной армии. Впрочем, гораздо более важным — как для будущего Цезаря Октавиана, так и для будущего государства — оказалось другое решение: ему, ни дня не работавшему в должности квестора, позволили наряду с бывшими квесторами принимать участие в заседаниях сената. Кроме того, он получил официальное разрешение занимать важные государственные посты на 10 лет раньше, чем достигнет предусмотренного законом возраста^[50]. Учитывая царившую тогда обстановку крайней сумятицы, представляется маловероятным, чтобы у Цезаря Октавиана успел к тому времени сложиться до мелочей продуманный план завоевания власти, хотя вполне возможно, что в общих чертах такой план у него существовал. О его «тональности» говорит тот факт, что он согласился принять новые права и обязанности — с одной стороны, вроде бы законные и поддержанные сенатом, но с другой, совершенно не соответствующие существовавшим нормам и противоречившие всем правилам. Примечательно, что 16 годами позже, когда режим Августа уже прочно стоял на ногах, он во многом держался благодаря тому же причудливому сочетанию законности и беззакония, которым в 43 году характеризовалось начало взлета Цезаря Октавиана. В

это же время Антоний обвинил Октавиана в попытке подстроить его убийство. Никаких доказательств справедливости этого обвинения у нас нет, если не считать слов Светония, однако свидетельства этого автора, как в данном случае, так и во многих других, не должны вызывать у нас слепой веры. Сомневаться в том, что покушение имело место, заставляет в первую очередь его провал, предполагающий плохую подготовку. Между тем, что бы ни предпринимал Октавиан, он всегда проявлял поразительную трезвость в оценке реальных возможностей и редкую для его возраста сноровку. Он виртуозно вел игру, понимая, что все карты в колоде — крапленые. Простой народ, наблюдавший за этой партией со стороны, также сознавал, что, кто бы ни вышел из нее победителем, действовать будет в своих, а не в его интересах. Наконец, и сенаторы, прекрасно осведомленные о величине ставок, строили свои комбинации, стараясь если не переломить ход игры, то хотя бы отсрочить ее финал. За внешней случайностью событий стояла умело сплетенная сеть интриг и лицемерия.

Цицерон в этой грязной игре не отставал от прочих, в частности, от сенаторов, приказавших Антонию оставить Галлию и идти в Македонию. Антоний отказался повиноваться, и тогда сенат объявил ему войну, поручив ее ведение консулам и Цезарю Октавиану, назначенному ради такого случая пропретором. Сенаторы рассчитывали использовать его до определенного момента, а затем просто убрать с дороги. На первый взгляд, ситуация складывалась абсурдная: сенат доверил наследнику Цезаря миссию разбить Антония — ярого цезариста, державшего в осаде Мутину, где укрывался один из убийц Цезаря Децим Брут. Со своей стороны, Антоний, не желавший терять Галльскую провинцию, преследовал Децима Брута именно за его участие в убийстве Цезаря. Так кто

же из них нагляднее доказал свою верность долгу сыновней почтительности — он или Цезарь Октавиан, который поклялся отомстить за гибель отца, но в данный момент объективно защищал Децима Брута?

Разумеется, Антонию приходилось воевать тем же оружием, что использовал и его соперник. Последний, впрочем, не был оригинален в своем стремлении прикрыть самые жестокие из своих поступков ореолом добродетельной верности долгу. Брат Антония Луций, дабы подчеркнуть свою преданность ему, добавил к своему имени прозвище Pietas (благочестие)^[51]. Секст Помпей к прозвищу Magnus (Великий), унаследованному от отца, присоединил еще одно — Pius (Благочестивый). Все они, готовясь к братоубийственной войне, объявляли себя защитниками одной из главных добродетелей традиционной римской морали — pietas, понятие которой включало в себя верность высокому долгу по отношению к богам, предкам, семье, городу. Брат поднимался на брата во имя добродетели, провозглашавшей священный характер родственных отношений.

Перед лицом столь явного извращения ключевых ценностей морали сами небеса не сдержали возмущения. Совершая накануне похода обряд жертвоприношения, Цезарь Октавиан обнаружил у всех 24 жертвенных животных парные внутренности. Боги яснее ясного дали понять: государству угрожает раскол. Впрочем, ничего нового это «сообщение» не несло. Впрочем, может быть, значение имело не содержание «послания», а его адресат? Действительно, отмеченный вниманием небес Цезарь Октавиан оказался в лагере победителей: консулы Гай Панса и Авл Гирций нанесли Антонию два поражения подряд. Его собственное участие в сражении выглядело более чем скромным, но даже и в таком виде сопровождалось самыми противоречивыми комментариями. Так, Антоний

рассказывал, что с поля первой битвы он попросту бежал и появился лишь через два дня, когда шло уже второе сражение, причем у него не было ни коня, ни плаща полководца. Другие, напротив, утверждали, что он выхватил из рук раненого воина знамя легиона и доблестно исполнил свой долг военачальника и солдата. Именно последняя версия получила официальное признание, а Цезарь Октавиан наряду с обоими консулами удостоился в результате звания «императора». Впрочем, из трех победителей в живых остался только он, потому что консулы — и тот и другой — скончались от полученных в бою ран, — случай настолько редкий, что молва объявила Цезаря Октавиана виновником их убийства.

Какой бы нелепостью ни звучало это обвинение, оно свидетельствовало о весомости и тональности такой вещи, как *fama* — понятия, у древних римлян обозначавшего одновременно и «слухи», и «общественное мнение». Возможно, возникновение этих слухов объяснялось неудержимостью, с какой Цезарь Октавиан рвался к консульству. Но он натолкнулся на противодействие сенаторов, которые приняли свои меры к защите законных институтов и присудили триумф Дециму Бруту и вознаграждение его солдатам. Сексту Помпею они доверили флот, Марку Бруту отдали в управление Македонию, а Кассию — Сирию. Что касается Цезаря Октавиана, то он получил всего лишь право наряду с консулярами принимать участие в голосовании. Вожде ленного консульства ему так и не досталось, — еще бы, ведь он был юнец, мальчишка!

Первое, что он после этого предпринял, — постарался войти в сговор со своим вчерашним врагом Антонием, со своей стороны, искавшим союза с Лепидом. Народ, для которого эти шаги остались глубокой тайной, тем временем возложил на Цезаря Октавиана обязанность возглавить армию и повести ее на Антония

и Лепида. Цезарь Октавиан принял командование войском в надежде, что это принесет ему долгожданное консульство, и даже предложил Цицерону баллотироваться в качестве своего коллеги.

Вот это уж точно отдавало комедией. На самом деле он успел разработать собственный грандиозный план. Прежде всего с помощью умелых манипуляций он создал в войсках нужные ему настроения, и солдаты, искренне убежденные, что выражают собственную волю, отказались выступить против бывших воинов Цезаря. Как только эти настроения достаточно оформились, он отправил отряд в четыре сотни человек поставить в известность о них сенат. Разумеется, это был лишь предлог. Явившись без оружия перед высоким собранием, солдаты немедленно начали требовать консульского звания для своего командира и обещанных денег для себя. Услышав отказ, один из воинов покинул зал, но тут же вернулся, уже с мечом в руках, и, потрясая оружием, заявил: «Если вы не дадите Цезарю консульство, этим придется заняться вот ему!» На что Цицерон, признавая полную несостоятельность республиканского закона, им же сформулированного в одной из нравоучительных поэм («Пусть склонится оружие перед тогой!»), отвечал: «Раз ты так об этом просишь, он его, конечно, получит!»^[52] Цезарь Октавиан, который не присутствовал при этой сцене, но, конечно, «дирижировал оркестром» на расстоянии, не только не осудил выходку воина, с предельной ясностью выразившего желание своего командира, но еще сетовал, что его людей вынудили разоружиться и смели пытаться вопросом, кто их послал: легионы или сам Цезарь. Вскоре после этого эпизода он снова связался с Антонием и Лепидом, а затем, делая вид, что не в состоянии сдерживать нетерпение солдат, двинулся на Рим. Город притих в опасливом ожидании, однако, стоило Цезарю приблизиться к предместьям, многие из

тех, кто еще накануне клял его на чем свет стоит, теперь бросились его встречать, и впереди всех — Цицерон, которого дерзкий юнец приветствовал весьма двусмысленным восклицанием: «А вот и последний из моих друзей!» Он не стал вступать в черту города, дабы не разрушать иллюзию, что выборы проходят в свободной атмосфере. 19 августа 43 года он был избран консулом. В тот день он увидел шесть парящих в небе ястребов, а назавтра, когда занимался гаданием о будущем, еще 12. Это предзнаменование, напомнившее о божественном избрании Ромула, невероятно подняло престиж нового консула, совершенно задвинув в тень его коллегу Квинта Педия, мать которого приходилась сестрой Юлию Цезарю. Наконец, Цезарь Октавиан публично поблагодарил сенат и народ, словно свой выбор они сделали добровольно, и щедро вознаградил своих солдат, причем за счет государственной казны, хотя вслух объявил, что платит из собственных средств.

Теперь он мог без опаски подвергнуть факт своего усыновления Цезарем старинной юридической процедуре, требовавшей голосования куриатного собрания, и на вполне законном основании носить полное имя — Гай Юлий Цезарь Октавиан. Тем, кто успел забыть, это имя напоминало, что он — сын Цезаря и его долг — отмстить за смерть отца. Его коллега и родственник дал свое имя вновь принятому закону. Итак, Педиев закон приговаривал убийц Цезаря к «запрету на воду и огонь». Это значило, что отныне любой человек не только имел право, но и был обязан — под страхом разделить наказание — предать их смерти. Объявленные врагами народа, они лишались всего имущества, которое должно было достаться либо тому, кто казнит преступника, либо тому, кто его выследит. Таким образом, Педиев закон стал прелюдией к грядущим проскрипциям.

Рассчитывать на большее Цезарь Октавиан в ближайшем будущем не мог. Пусть Антоний потерпел военное и политическое поражение, но он сумел воссоединиться в Галлии с Лепидом и заключить с ним союз. Вдвоем они располагали 23 легионами. Столько же было и у республиканцев на Востоке. Явную, хотя пока не поддающуюся точной оценке угрозу представлял и Секст Помпей. Наконец, и сенат, и римский народ достаточно наглядно продемонстрировали, что их уважение к Цезарю Октавиану носит весьма условный характер. Он только производил впечатление сильного. Он и сам прекрасно сознавал это, и тот факт, что ему удалось вырвать себе звание консула, ничего не менял. В переговоры с Антонием и Лепидом он вступил сразу после битвы при Мутине. В свою очередь, эти двое тоже лишь казались проигравшими, ведь у них в руках оставалась вся Галлия. Но пока им приходилось сотрудничать с «юнцом», ибо тот представлял законную власть.

Образование триумvirата

В октябре состоялась встреча этой троицы в окрестностях Бононии, на реке Ренон, закончившаяся договором на ближайшие пять лет поровну поделить власть. Для легализации соглашения участники встречи направились в Рим. Казалось бы, для чего им понадобились эти хлопоты, если всем троим небеса достаточно ясно указали, что ждет каждого? Так, Лепид видел змею, обвившуюся вокруг меча одного из центурионов, а однажды, когда он обедал, возле его палатки появился волк, едва не опрокинувший стол, за которым он сидел. Это означало: он добьется власти, но ему грозит опасность. Антонию привиделись молочные реки, струившиеся в канавах, а как-то ночью он услышал странное, ни на что не похожее пение — знаки того, что обладание властью принесет ему столько же радостей, сколько и горестей. И тому и другому предзнаменования явились в ту пору, когда они находились в Галлии. Что касается Цезаря Октавиана, то и он получил знак свыше: едва завершились переговоры, как на его палатку спустился орел, а за ним два ворона. Вороны попытались напасть на орла и рвали у него перья, но орел их убил. Это было предвестие победы^[53].

Между тем Тициев закон, принятый 27 ноября для придания легитимности триумvirату, свидетельствовал, что Цезарю Октавиану отнюдь не приходилось рассчитывать на главенствующее в нем положение. По этому закону, сохранившему целостность Рима и Италии, Нарбоннская Галлия и иберийские провинции отходили Лепиду, получившему три легиона; Косматую^[54] и Цизальпинскую Галлию плюс двадцать легионов взял себе Антоний, а Цезарю Октавиану оставались Африка, Сицилия, Сардиния и еще двадцать легионов. При

дележе Цезарю Октавиану досталась наихудшая доля: обстановка в Африке внушала большую тревогу, а в сицилийских водах хозяйничал флот Секста Помпея. И Цезарю Октавиану пришлось, как отмечает Плиний Старший, молча смириться с превосходящей силой Антония, который со своими двадцатью легионами и неисчерпаемыми галльскими богатствами оставил далеко позади и Лепида.

Разумеется, внутри триумvirата Цезарь занял самое скромное положение, однако, оглядывая путь, проделанный с мая 44 года, когда он, никому не известный юноша, явился в Рим, до ноября 43-го, когда он стал одним из трех правителей империи, он наверняка понимал, что для недовольства собой у него нет оснований. Ему только что исполнилось 20 лет, и всего за полтора года он сумел сделаться политическим деятелем в полном смысле этого слова.

Но, даже не занимая центра этой триады, даже не будучи высотой этого треугольника, он выгодно отличался от Лепида, за счет которого триумvirату вскоре предстояло обратиться дуумvirатом. И уж в этом-то союзе, надеялся Октавиан, он по меньшей мере сравняется с Антонием. Новое имя и взятая им на себя роль мстителя требовали, чтобы он вместе с Антонием выступил против Брута и Кассия. Конечно, он крупно рисковал, зато в случае успеха... Лепиду же надеяться было не на что: в качестве консула он оставался править Римом.

За всем, что успел совершить Цезарь Октавиан на протяжении этих месяцев, вырисовывается образ честолюбивого карьериста, безжалостного человека и отпетого циника, наделенного бешеной энергией. И хотя над созданием этого образа немало потрудились его противники, в особенности Антоний, в общих чертах он, скорее всего, соответствует оригиналу, поскольку совершенно очевидно, что Цезарь Октавиан просто не

мог себе позволить быть иным. Едва включившись в борьбу, он обрек себя на необходимость пользоваться тем же оружием, к какому прибегали его враги. С нашей стороны было бы в равной мере ошибочным как продолжать верить, что он вел себя как порядочный человек, так и приписывать ему коварство еще более изощренное, нежели то, что демонстрировали его противники.

Это общее свойство политики, войн и любви — будить в людях неистовство, которое заставляет выставлять наружу самые дурные стороны человеческой природы — так морская волна поднимает из кипящих глубин и швыряет на прибрежные скалы черный от ила песок. И ни один из актеров, игравших в этой пьесе, не уберется от взбаламученной бурей грязи.

Можно обратиться и к другому образу и представить себе древнеримский мир в виде лабиринта, в глубине которого прячется жуткое чудовище под стать мифическому Минотавру. Пробраться этим лабиринтом, не запятнав свою совесть, не удавалось никому.

Впрочем, поскольку партию выиграл Цезарь Октавиан, неудивительно, что историки сосредоточили взгляд именно на его фигуре. Но ведь играл он не один. Чтобы не заблудиться в лабиринте, ему понадобились опытные провожатые, снабжавшие его не только советами, но и средствами, необходимыми для столь опасной вылазки. С первых дней борьбы за власть он возглавил собственную партию. И хотя мы почти ничего не знаем о тех, из кого она состояла, логично предположить, что ее отличала крайняя пестрота. В нее наверняка входили не только бывшие друзья и клиенты Цезаря и ветераны его войска, но и наемники, которым приходилось платить звонкой монетой и которых собирали с бору по сосенке, не требуя взамен никаких нравственных гарантий. Скорее всего, это было сборище честолюбцев, многие из которых не имели за душой ни

гроша, а другие успели навсегда потерять репутацию порядочных людей, но все как один мечтали о почестях и богатстве. О государственных интересах они думали в последнюю очередь, зато были готовы на все — любой переворот, любое предательство.

Но и с противной стороны дело обстояло ничуть не лучше. Защитники старой республики самым позорным образом тянули время, бежали от ответственности и зачастую вели себя как последние трусы. Каждый из них думал лишь о себе. Что касается Антония, занимавшего в римском обществе гораздо более устойчивое положение, чем Цезарь Октавиан, то и он действовал теми же методами и не гнушался вербовать себе сторонников среди отъявленных негодяев. Они оба способствовали тому, что на поверхность римского общества всплыла тина, что таилась глубоко на дне каждой души, в том числе их собственной.

Часть вторая

БОРЬБА ЗА ГЛАВНУЮ РОЛЬ

(43-29)

«Когда мне было 18 лет, я по личной инициативе и за собственный счет снарядил войско, с помощью которого вернул государству свободу, попираемую узким кругом лиц. В благодарность сенат оказал мне честь, приняв меня в свои ряды, а в консульство Гая Пансы и Авла Гирция я получил право выступать наравне с консулярами. Кроме того, меня удостоили империя. Сенат поручил мне вместе с консулами печься об общественном спасении и возвел меня в ранг пропретора. В тот же год, когда оба консула погибли, народ избрал меня консулом и триумвиром, возложив на меня заботу о государственном устройстве»^[55].

Нелегко за этим беглым перечислением событий и фактов угадать путь, который в действительности привел Цезаря Октавиана к участию в триумвирате. В целом «Деяния» отличают те же ясность и благородная простота изложения, которыми дышат приведенные выше строки, открывающие текст. Август не мог позволить себе обойти полным молчанием начальный этап своей карьеры, о котором он всегда вспоминал с отвращением, однако и вдаваться в подробности всех его перипетий вовсе не входило в его намерения. Так, все высокие звания, которых его удостоили, он представляет как добровольный жест со стороны сената и римского народа, ни словом не упоминая о сопровождавших его нарушениях республиканских законов, а выстраивая повествование исключительно вокруг своего «я», сознательно задвигает в глубокую тень и превращает в политическую абстракцию фигуру

Антония — лидера того самого «круга лиц», который попирает свободу государства.

Так же скупы на эмоции следующие строки:

«Я изгнал убийц моего отца, объявив их преступниками через законный суд, когда же позже они вступили в войну с государством, я разбил их в двух сражениях, которые провел сомкнутыми боевыми порядками».

Далее автор переходит к обобщениям, в которых деталям уже не находится места:

«Я часто воевал, и на суше, и на море, я участвовал и в гражданских, и в иноземных войнах по всему миру, но, одержав победу, я всегда щадил граждан, которые просили меня о милости...» Затем следует длинный список почестей и титулов, которых удостоился Август, перечисление понесенных им расходов, всего, что он сделал для городского благоустройства и в религиозной сфере. Венчает картину рассказ о двух последних войнах, положивших конец республике:

«Я очистил море от пиратов. В этой войне я захватил более 30 тысяч рабов, которые бежали от своих хозяев, чтобы поднять оружие против республики. Я возвратил их хозяевам, дабы они сами свершили над ними казнь. Вся Италия в едином порыве принесла мне клятву верности и обратилась ко мне с просьбой возглавить войну, из которой я вышел победителем в Акциуме...»

Август смело расправляется с хронологией, лишь бы не заострять внимание читателя на той волне террора, что прокатилась по стране в период с 43 по 31 год, то есть с момента образования триумvirата до победы при Акциуме и последовавших за ней событий. Древним римлянам, в отличие от нас сегодняшних, казнь 30 тысяч рабов вовсе не казалась чем-то ужасным. Скорее наоборот, со страхом вспоминая о восстании Спартака, они верили, что Август отвел от них опасную угрозу. Он сознательно представил эту резню подвигом, лишь бы

обойти молчанием другие казни, жертвой которых были уже не рабы, а римские граждане, — казни, предшествовавшие наступлению правления милосердия.

Боль и ярость

Эти годы проходили под двойным знаком боли и ярости — по-латыни *dolor* и *furor* — двух чувств, составлявших неотъемлемую часть психологической характеристики героев римской трагедии. Боль — это состояние души, возникающее в ответ на грубую жестокость, память о которой причиняет страдания и порождает острую жажду мести. Цезарь Октавиан, никогда не скрывавший своей одержимости этим сложным чувством гневной скорби, открыто провозгласил его движущей силой всех своих поступков, в то же самое время пытаясь оправдать их императивом *pietas*. Объявив беспощадную войну убийцам Цезаря, приверженность которых республиканским идеям мешала осуществлению его честолюбивых замыслов, он умело маскировал свои политические притязания чисто личным побуждением исполнить свой нравственный долг и отомстить за гибель Цезаря. Вполне возможно, что он и сам не сумел бы распутать тот тугой клубок, в какой сплелись в его душе жажда власти и искреннее чувство сыновней преданности.

В свою очередь, ярость, неразрывно связанная с жаждой мщения, меняет самую сущность человека, вызывая помрачение рассудка. Именно находясь во власти ярости, герои трагедий совершают некое чудовищное убийство, определяющее всю их судьбу. Особенно мощные вспышки ярости будят гражданские войны, потому что в такие времена, как, впрочем, всегда, когда шатаются основы государства, на волю вырываются самые необузданные страсти.

Еще до того как триумвиры прибыли в Рим, начали происходить всякие странные явления, свидетельствующие, что мировой порядок бесповоротно

нарушен. Часами выли собаки, и им вторили вдруг появившиеся в городе волки; быки замычали человеческими голосами, а в один из дней родился ребенок, умеющий говорить. Каменные статуи заплакали и покрылись каплями пота — даже их привел в ужас обрушившийся на город дождь из камней. Солнце изменило свой ход, а вспыхивавшие в небе молнии били точно в крыши храмов. На улицах время от времени слышались глухие мужские голоса, бряцанье оружия и конский топот, хотя никаких всадников не было видно. Сенат обратился за помощью к гаруспикам — этрусским жрецам, владевшим искусством толковать чудесные знамения. Самый старый из них изрек, что царские порядки древних времен возвратятся вновь. «Все вы будете рабами!» — громко крикнул он. Затем произнес: «Только не я!» И после этих слов плотно сжал губы и перестал дышать. Спустя минуты он умер^[56].

Посреди начавшейся смуты Цезарь Октавиан не остался безучастным, однако разные авторы расходятся во мнениях относительно лично им проявленной жестокости. Если верить Диону Кассию, особенно свирепствовали Лепид и Антоний, которые за долгие годы политической деятельности успели обзавестись множеством врагов. Иное дело Цезарь. Новичок в политике, он мало с кем имел личные счеты и если нес ответственность за проскрипции, то главным образом в качестве одного из триумвиров. В подтверждение своей оценки историк приводит тот факт, что в дальнейшем, когда Цезарь добился единоличной власти, он не выказал склонности к жестокости. Примером его терпимости может служить история с Танузией. Муж этой женщины прятался в сундуке, в доме одного из своих отпущенников по имени Филопемен. Через сестру Цезаря Октавию Танузия добилась личной встречи с триумвиром и призналась ему, где скрывается ее муж. По закону и мужу, и жене, и вольноотпущеннику грозила

смертная казнь. Но Цезарь пощадил их, а Филопемена даже возвел в сословие всадников^[57].

Представляется вероятным, что Цезарь Октавиан участвовал в проскрипциях, вдохновляемый больше желанием продемонстрировать свою власть, нежели природной жестокостью. Впрочем, Светоний излагает другую точку зрения, согласно которой Цезарь, поначалу довольно долго противившийся проскрипциям, затем повел себя с еще большей, чем его коллеги, беспощадностью. Когда волна массовых казней пошла на спад, Лепид объявил уцелевшим сенаторам, что отныне воцарится милосердие. Но Цезарь Октавиан высказался совсем в ином духе (Светоний, XXVII, 3):

«Я прекращаю проскрипции, но в будущем оставляю за собой полную свободу действий».

О свободе каких действий шла речь? Очевидно, о свободе вновь устроить массовую бойню, если это покажется ему необходимым. Эти слова, так же как ряд поступков, в которых его обвиняли, окажись они правдой, служили бы доказательством того, что временами его одолевали приступы бесчеловечной жестокости. Впрочем, не исключено, что все эти обвинения не более чем продукт ненависти и клеветы, свойственных эпохе. Возможно, в них не больше истины, чем в приписываемом Цезарю Октавиану изречении, выбитом на одной из его статуй и с циничным лаконизмом гласившем (Светоний, LXX):

«Отец мой ростовщик, а сам я вазовщик».

То, что Цезарь Октавиан никогда не зарился на чужие коринфские вазы или чужую драгоценную мебель, не вызывает ни тени сомнения — подобные вещи его не интересовали. Но то, что он позволил разгулу жестокости, отметившему начальный этап деятельности триумвиров, увлечь себя и, глядя на рекой текущую кровь, почувствовал ее вкус, — это вполне возможно. В насилии труден только первый шаг;

осознание же первого совершенного убийства толкает человека на второе, третье и так далее. Во всяком случае, в античности люди именно так представляли себе падение преступной души в бездну зла.

По роковой случайности, примерами которой так богата древнеримская история, провозвестницей наступления новых времен стала длинная цепь кровавых преступлений, творимых под именем проскрипций. Триумвиры составили список своих врагов и занесли их имена на таблички, вывешенные в общественных местах. Здесь же указывалось, что этим людям объявлен «запрет на огонь и воду», что означало: в течение 24 часов они под страхом смерти должны покинуть город. Смертная кара ждала каждого, кто посмеет оказать помощь объявленному вне закона; тому же, кто укажет его местонахождение, а еще лучше — лично казнит, полагалась награда. В качестве доказательства, и в самом деле неоспоримого, требовалось предъявить отрубленную голову жертвы.

Проскрипционный эдикт начинался словами, которыми триумвиры пытались объяснить мотивы своего решения:

«Если бы на свете не существовало предателей, которые, вымолив себе милость, становятся врагами своего благодетеля и злоумышляют против него, Цезарь не пал бы от руки тех, кого он пленил, когда они подняли против него оружие, а затем милосердно простил, допустил в круг своих друзей и осыпал должностями, почестями и дарами, а нам не пришлось бы с такой широтой принимать суровые меры против тех, кто нанес нам оскорбление и объявил нас врагами народа»^[58].

Таким образом, триумвиры избрали для себя роль жертв неблагодарности — явление, в политике не новое и знакомое каждому. Наученные примером Цезаря, они решили опередить противника.

Римляне, еще не успевшие забыть проскрипции Суллы, с остервенением предали чудовищной вакханалии предательств, насилия и убийств. Как позже Августин скажет о проскрипциях Суллы, «это было уже не исступление войны, а исступление мира»^[59]. О мерзости этой бойни напоминает своим соратникам и «Цинна» Корнелия, когда склоняет их к участию в заговоре:

Я красок не щадил и не смягчал названий
При пересказе всем известных злодеяний.
В стремленье убивать никто их не был злей,
Потоплен был весь Рим в крови своих детей.
Кто был убит в толпе, на площади шумящей,
Кого среди семьи настиг удар разящий.
Убийца поощрен был высшею ценой.
Задушен муж бывал в ночи своей женой,
Сын умертвить отца решался без пощады,
За голову его прося себе награды^[60].

Эти страшные картины запечатлел Антонио Карон на своем полотне «Резня триумвирата», написанном по просьбе Екатерины Медичи в качестве иллюстрации того, каким ужасом оборачиваются гражданские войны. Художнику вполне хватило античных документов, авторы которых подробно описали улицы и площади с лежащими на земле обезглавленными телами и ростры с отрубленными головами. Очередному убийце, спешащему с доказательством в руках за обещанной мздой, приходилось дожидаться своей очереди — слишком много было таких, как он...

Улицы то и дело оглашались криками палачей, стоном жертв, женским и детским плачем. От застывших кровавых луж поднимался в воздух тошнотворный сладковатый запах. Воды Тибра несли к морю

изуродованные тела, и на реке расплывались красные пятна...

В охваченном ужасом городе трусость и героизм соперничали между собой. Трусы спешили воспользоваться моментом и бежали доносить на родственников и друзей или пускались на любую низость, лишь бы самим избежать смерти. Герои умирали с гордо поднятой головой или помогали близким бежать. Не каждый сын стал убийцей отца. Один римлянин уложил своего родителя на погребальные носилки и вынес из дома — якобы на кладбище. Не каждая жена перерезала горло мужу. Одна римлянка с такой отвагой и преданностью укрывала своего суженого от преследователей, что спасенный супруг и 40 лет спустя хранил ей благодарность, восславив умершую к тому времени жену в погребальной речи^[61].

В этой атмосфере и хорошее, и дурное принимало крайние формы. Но если добрые дела творились в тайне, что лишь подчеркивало их величие, то преступления, напротив, совершались на виду. В первом списке, включавшем имена 17 человек, от которых их противники стремились избавиться прежде всего, оказалось имя Цицерона. Антоний так и не простил ему Филиппик. 17 декабря 43 года в формиях он пал от руки подосланного центуриона. Чтобы убийство оратора, который до последних дней олицетворял республиканскую законность, обрело особый символический смысл, его отрубленные голову и руку выставили на всеобщее обозрение на ростральной трибуне. Говорили, что до этого супруга Антония Фульвия иголкой проткнула ему язык.

Цезарь Октавиан, таким образом, отдал во власть злопамятному Антонию человека, которого еще недавно почтительно называл отцом. О дальнейшем ходе событий ясно и недвусмысленно повествует Августин:

«Затем все могущество Цезаря перешло в руки существа испорченного и оскверненного всеми пороками — Антония. Цицерон решительно противостоял ему, защищая воображаемую «свободу» родины. Тогда-то и появился другой Цезарь — чрезвычайно одаренный юноша, приемный сын Гая Цезаря; именно он впоследствии стал известен под именем Августа. Цицерон покровительствовал этому юному Цезарю, рассчитывая с его помощью одолеть Антония. Он надеялся, что, избавившись от Антония и лишив его власти, сумеет восстановить республиканскую свободу. Слепец, он и не подозревал, что юноша, чье честолюбие и силу он поддерживал, выдаст его Антонию, превратив в заложника примирения, и единолично завладеет той самой республиканской свободой, за которую так упорно ратовал Цицерон»^[62].

Несколько лет спустя, в 30 году, Цезарь Октавиан добился того, что консулом на несколько месяцев был избран сын Цицерона. Еще позже, в самые последние годы языческой эры, имел место такой случай. Однажды он зашел — по своему обыкновению, без предупреждения — в комнату к одному из внуков. Мальчик читал какую-то книгу, которую и попытался спрятать от деда, однако тот оказался проворнее. Завладев свитком, он, не присаживаясь, погрузился в чтение и читал довольно долго, после чего вернул ребенку книгу со словами: «Это был ученый человек, сынок, и он очень сильно любил свою родину». Сочинение принадлежало перу Цицерона^[63].

Означает ли это, что Август пытался заставить окружающих забыть о том, что когда-то он совершил предательство по отношению к человеку, которого называл отцом, то есть стал соучастником отцеубийства? С годами он постиг, что в основе любого великого начинания лежит убийство. Разве не такой ценой было оплачено основание Рима? Разве не

пришлось первому Бруту, основателю республики, казнить своих сыновей? Разве далекий потомок этого Брута ради спасения той же республики не поднял руку на Цезаря, олицетворявшего отцовскую власть? И Цезарь Октавиан, став Августом, старался придать этим убийствам характер ритуальной жертвы, хотя на самом деле они служили не созиданию, а уничтожению старой республики. Но из собственной памяти ему так и не удалось изгнать страшных воспоминаний о кровавом крещении, оставившем на его руках несмываемые пятна, а в душе — неизгладимый запах смерти.

А крови было пролито немало. К 17 первым жертвам — заклтым врагам каждого из триумвиров — вскоре добавились другие, число которых с трудом поддается подсчету. По одним данным, погибло 300 человек — 150 сенаторов и столько же всадников, по другим — 300 сенаторов и две тысячи всадников. В любом случае, жертв было слишком много и слишком дорогой оказалась цена хрупкого согласия, заключенного между собой троицей временных правителей.

Пока продолжалась кровавая бойня, Цезарю Октавиану приходилось прислушиваться к пожеланиям своих солдат, а те хотели, чтобы достигнутые соглашения скрепил брачный союз. И он взял в жены Клавдию — дочь тогдашней супруги Антония Фульвии от ее предыдущего брака с Клодием Пульхром, в 50-е годы прославившимся своей непримиримой враждой с Цицероном.

Но этот заключенный по расчету брак не мог заставить жителей Рима забыть о трагических событиях, сопровождавших приход к власти триумвирата. Обескровленное тело города лишилось значительной части senatorской аристократии и самых видных всадников и, подобно чудовищу загробного мира, увенчалось сразу тремя главами, словно обратившись в символ Апокалипсиса. 1 января 42 года уцелевшие после

массовой расправы сенаторы приняли сенатус-консультум, провозгласивший Цезаря божеством, а Цезаря Октавиана — сыном бога. На земле шло истребление людей, зато в сонме небожителей появилось новое божество, именем которого творилась нынешняя бойня и предстояло твориться последующим. Но первым делом следовало расправиться с убийцами Цезаря, в ожидании неминуемой схватки укrywшимися в Македонии.

Битва при Филиппах. Республиканцы сходят со сцены

Из Рима Антоний и Цезарь Октавиан, твердо решившие окончательно покончить с тираноубийцами, отправились вместе, но в Диррахии Цезарю пришлось задержаться из-за болезни. Такое уже случилось с ним в 46 году, когда он не смог вместе с Цезарем отправиться в Испанию, и снова случится несколькими годами позже, когда его будут ждать в Навлохе. Упорство, с каким он стремился нагнать Цезаря в Испании, и тот факт, что в Навлох он все-таки прибыл, заставляют искать причину его задержек в пути не в трусости, а в том, что он действительно страдал от какого-то заболевания, обострившегося в определенное время года. Неудивительно, что в решающие моменты жизни под влиянием нервного напряжения симптомы болезни усиливались. Сырая македонская осень и обилие болот в местности, где предстояло разыгаться сражению, окончательно свалили его с ног, хотя он всей душой рвался в бой. Ни для кого не оставалось секретом, что именно поставлено на карту. Что восторжествует, свобода или монархия? Если бы победили республиканцы, его ждала неминуемая смерть. Он понимал это так же хорошо, как и то, что ему не миновать гибели, если Антоний одержит над врагами победу без его участия. Возможно, в один из этих дней и состоялся его разговор с неким фессалийцем, который поведал ему, что встретил на глухой тропе призрак Цезаря и этот призрак предсказал разгром республиканцев.

И пока разум его пребывал в смятении, а тело страдало от боли, в природном миропорядке все, казалось, пришло в полный разлад. Ходили слухи, что

недавно родился ребенок с десятью пальцами на каждой руке. В небе над Римом проносились метеоры, а солнце, по утрам не спешившее вставать, появлялось к вечеру, а потом светило до поздней ночи. В пустующих садах Цезаря и Антония то и дело слышались звуки боевых труб и бряцанье оружия. Но и здесь, в Македонии, творились странные вещи. Над лагерем Кассия и Брута стаями кружили ястребы, то ли предвещающая удачу (как когда-то Ромулу, а потом и Цезарю), то ли предвкусная скорый пир, который сулила им готовая разразиться братоубийственная бойня, подобная той, что столкнула Ромула и Рема и завершилась основанием Рима.

Шестью годами раньше, в Фессалии, в битве при Фарсале сошлись войска Цезаря и Помпея. И хотя Фарсалу и Филиппы разделяло немалое расстояние, жителям Рима оба эти места казались расположенными едва ли не по соседству. Для поэтов и вовсе оба названия сплелись в единый страшный образ. Земля в окрестностях Филипп, и так напитанная римской кровью, снова готовилась принять обильную дань.

В конце концов Цезарь Октавиан нагнал Антония, но болезнь помешала ему принять участие в первой битве, которая состоялась в начале октября и завершилась разгромом армии Кассия и самоубийством полководца. Перед сражением, прислушавшись к совету врача, которому приснился вещий сон, он покинул свою палатку. И враги, убежденные, что найдут его в этом убежище, остались ни с чем. Следующие три дня он отсиживался в болотах. Его сподвижники Меценат и Агриппа, спеша смыть с командира подозрения в трусости, утверждали в своих мемуарах, ныне утраченных, что он перенес жестокий приступ водянки.

Решающую победу над Брутом 23 октября 42 года одержал снова Антоний. Брут, как и его друг Кассий, покончил с собой. Прежде чем проткнуть себе сердце

мечом, он процитировал стих из трагедии Еврипида, произносимый Гераклом:

Доблесть жалкая, ты была только словом
пустым,
Я же славил тебя, словно сущее нечто.
Но сегодня мне ясно: была ты для нас лишь
рабыней Фортуны.

Это была надгробная речь над республиканскими ценностями. В те же дни другой молодой человек бросил свой щит, который мешал ему бежать, чтобы позже написать:

Ты был со мною в день замешательства,
Когда я бросил щит под Филиппами,
И, в прах зарыв покорно лица,
Войско сложило свое оружие [\[64\]](#).

Этого воина, который посмертной славе предпочел жизнь, звали Квинт Гораций Флакк, а нам он известен под более коротким именем Горация. Ему было тогда 23 года, и он, как и многие другие, совершил ошибку, выбрав не тот лагерь, — ведь в Истории прав всегда тот, кто побеждает. Тот факт, что под одним и тем же знаменем сражались такие разные люди, как Брут и Гораций, служит ярким свидетельством царившей тогда моральной смуты. Истинный стоик Брут, словно явившийся из прошлого — того прошлого, что окончательно умерло в день его собственной гибели, являл собой полную противоположность Горацию — человеку, которому вскоре предстояло стать певцом эпикуреизма и дилетантства, типичного «нового римлянина», чье рождение состоялось в разгар кровавой

битвы, навсегда определив его отвращение к насилию и любовь к спокойной жизни^[65].

Отрубленную голову Брута отправили в Рим — молва утверждала, что это было сделано по приказу Цезаря Октавиана. Антоний в это время, воздав последние почести поверженному врагу, отослал прах Брута его матери. Говорили также, что корабль, на котором везли страшный трофей, попал в шторм и затонул, причем мертвая голова еще долго продолжала петь, будя в памяти образ Орфея. Вот только тосковал погибший Брут не об утраченной супруге, а о поруганной свободе.

И действительно, свобода, столь страстно воспеваемая в прошлом, умерла навсегда — если, конечно, достоверен рассказ Светония (XIII) о жестокостях, достойных тирана из трагедии, которым предался Цезарь Октавиан:

«После победы он не выказал никакой мягкости: голову Брута он отправил в Рим, чтобы бросить ее к ногам статуи Цезаря, а вымещая свою ярость на самых знатных пленниках, он еще и осыпал их бранью. Так, когда кто-то униженно просил не лишать его тело погребения, он, говорят, ответил: «Об этом позаботятся птицы!» Двум другим, отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием или игрою на пальцах^[66], кому остаться в живых, и потом смотрел, как оба они погибли — отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого сам покончил с собой. Поэтому иные, и среди них Марк Фавоний, известный подражатель Катона, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовали Антония почетным именем императора, Октавию же бросали в лицо самые жестокие оскорбления».

Чтобы побольнее уязвить его, не признавая в нем императора, им хватало самой малости: просто напомнить, как он бежал с поля битвы и прятался, пока в кровавой мясорубке гибли тысячи римских граждан.

После победы, одержанной помимо участия Лепида, Антоний и Цезарь Октавиан поспешили пересмотреть соглашение о разделе полномочий. В итоге Лепиду оставили одну Африку. Испания перешла под управление Цезаря Октавиана, а Антоний завладел всей Галлией. Затем победители разделились. Антоний отправился на Восток, а Цезарь Октавиан двинулся в Рим.

Перузийская война

Он все еще не оправился после болезни, последствия которой давали себя знать на всем обратном пути. В январе 41 года он добрался до Рима, где на его счет ходили распространяемые его недругами самые противоречивые слухи. Одни утверждали, что он умер, другие, напротив, говорили, что он чувствует себя прекрасно как никогда и готовится развернуть новую кампанию устрашения. За этими слухами стояли приспешники тогдашних хозяев Рима — консула Луция Антония и Фульвии, то есть брата и жены Антония. Фульвия к тому же на протяжении вот уже целого года приходилась Цезарю Октавиану тещей. И тот и другая потирали руки в предвкушении трудностей, которые его ожидали со стороны ветеранов, алчущих компенсации за свои труды в виде земель и денег. Чувствуя враждебное отношение Фульвии, Цезарь Октавиан немедленно отослал ей назад свою супругу, юную Клавдию, клятвенно заверив мать, что ее дочь по-прежнему остается девственницей. Тот факт, что на протяжении многих месяцев этот женолюб так и не притронулся к своей жене, по сути ребенку, хотя нравы тогдашнего времени вполне допускали, чтобы муж вкусил все прелести супружества в браке с девочкой, едва перешагнувшей за порог детства, выдает не столько его уважение к юности своей избранницы, сколько тонкий расчет: он с самого начала не сомневался во временном характере своей женитьбы и сохранил за собой возможность при первом удобном случае отделаться от ненужной жены. Посреди разгула насилия эта юная особа физически нисколько не пострадала, что, впрочем, ни в коей мере не облегчило груза смертельной обиды, которую ей пришлось пережить вместе с матерью.

После такого оскорбления Фульвия вместе со своим деверем с особенным злорадством наблюдали за волнами недовольства, все шире поднимавшимися и в Риме, и по всей Италии. Действительно, перед Цезарем Октавианом встала почти неразрешимая задача. С одной стороны, он имел дело с солдатами, которым любые награды казались недостаточными; с другой, против него все громче роптали итальянские собственники, за чей счет и выплачивалось вознаграждение воинам. К этим трудностям вскоре добавилась и нависшая над Римом угроза голода, исходившая от Секста Помпея, который по-прежнему единовластно распоряжался в Сицилии. Столкновение между Цезарем Октавианом и Луцием Антонием делалось неизбежным. Луций Антоний предпринял попытку пробраться в Галлию, где стояли верные его брату легионы, но войско Цезаря Октавиана преградило ему путь, вынудив укрыться в Перузии.

Этот древний город, прежде населенный этрусками, располагался на неприступном горном отроге. И сын Цезаря сделал именно то, что всегда делал в подобных случаях его приемный отец: осадил город и терпеливо ждал, пока голод не вынудит жителей к сдаче. «Голодающая Перузия» с той поры вошла в римские анналы как один из ярких примеров бедствий гражданской войны.

Были и другие примеры. В области Сабинов Цезарь Октавиан обложил жителей Нурсии^[67], которые не только посмели оказать ему сопротивление, но и воздвигли памятник в честь борцов за свободу, такой данью, что им пришлось бросить родные места и бежать куда глаза глядят. В умбрский город Сентим, не пожелавший распахнуть перед ним ворота, он отправил Квинта Сальвидиена Руфа, который предал его огню. Но все эти кары меркли в сравнении с теми, что обрушились на Перузию. В мартовские иды 40 года на алтаре, посвященном Юлию Цезарю, Цезарь Октавиан приказал

казнить 300 всадников и сенаторов. Время и место были выбраны с таким расчетом, чтобы придать массовым убийствам вид искупительной жертвы, якобы посвященной манам Цезаря. Именно в таком духе трактуют это событие сохранившиеся тексты, в которых нашли отзвук слухи, распространявшиеся сторонниками Антония. Скорее всего, их авторы, стремясь подчеркнуть дикий характер ритуала, несколько сгустили краски ^[68]. Противники Октавиана старательно раздували тему мести, действительно присутствовавшую в произносимых им речах, пытаясь выставить его носителем пережитков варварского прошлого, который мечтает возродить человеческие жертвоприношения, подобные тем, что совершались в честь ман Ахилла. Древние карфагеняне и этруски, говорили они, тоже приносили в жертву неприятельских воинов, захваченных в плен. Что ж, в Перузии намеки на этрусскую историю звучали и в самом деле актуально.

Очевидно, и Цезарь Октавиан помнил об этрусском происхождении города, когда после одного события, случившегося вслед за падением Перузии, обратился за советом к гаруспикам. Совершая как-то обряд жертвоприношения, он остался недоволен неблагоприятным предсказанием и приказал привести вдвое больше жертвенных животных. Но местные жители повели себя странно: они унесли прочь не только все приспособления для жертвоприношения, но и внутренности жертвенных животных. Гаруспики, узнав об этом, заявили, что отныне все неприятности, обещанные предсказанием, лягут на плечи врагов Октавиана. Дальнейший ход войны показал, что они не ошиблись.

На сцене появляется Вергилий

Примерно в это же время Цезарь Октавиан, торопясь удовлетворить ожидания ветеранов, устроил для некоторых из них поселения на территории Мантуи, которая до тех пор оставалась свободной от поборов. Именно на этой земле родился Вергилий, и появление новых колонистов сыграло в его личной и поэтической судьбе решающую роль, превратив его в одну из знаковых фигур эпохи Августа.

В то время он сочинял стихи в стиле сицилийского поэта Феокрита. В этих идиллических творениях, названных «Буколиками», пастухи воспевали радости любви. Автор поместил своих героев в вымышленную страну — такую же жаркую, как Сицилия, и где природа, населенная, как и на берегах Минция, его родной реки, целым сонмом сельских божеств, пребывала в постоянном трепетном движении. Этой провинцией управлял в то время Азиний Поллион — личный друг Антония. Он и сам писал стихи и в те жестокие годы уже пытался заниматься тем, что впоследствии стало называться меценатством. Как ни трудно нам в это поверить, но люди той эпохи, вынужденные жить на вулкане римской политической жизни, относились к музам с восторженным почтением. И Азиний Поллион всячески помогал Вергилию, в котором угадал настоящего большого поэта.

Очень скоро Вергилию открылось, что и благословенная Аркадия не может служить достаточно надежным прибежищем против исторических потрясений. Мы не знаем, стал ли он лично жертвой конфискаций, сопровождавших водворение новых колонистов, но, как бы там ни было, именно он взял на себя роль рупора мелких собственников, изгнанных из

родного дома бесцеремонными солдатами. Каждый из них подписался бы под словами его Мериса:

Вот чего мы, Ликид, дождались: пришлец,
завладевший
Нашей землицей, — чего никогда я досель не
боялся, —
«Это мое, — нам сказал, — уходите, бывшие
владельцы!»

Пастуху Титиру повезло больше. Сумевший сохранить свое добро, он воспекает божественные благодеяния:

Нам бог спокойствие это доставил —
Ибо он бог для меня, и навек, — алтарь его часто
Кровью будет поить ягненок из наших
овчарен [\[69\]](#).

Нет сомнения, что под этим богом подразумевался Цезарь Октавиан, и хвалы, расточаемые ему Вергилием, означают, что поэт наверняка ездил в Рим отстаивать либо собственное имущество, либо имущество кого-то из знакомых и в этой поездке познакомился с кем-то, кто рассказал ему о Цезаре. Этот «кто-то» оказался достаточно красноречивым, чтобы убедить поэта покинуть своего прежнего благодетеля, обладавшего поэтическим дарованием ровно в такой степени, какая позволила ему увидеть в Вергилии истинного гения, и перетянуть его на сторону Цезаря. И звали этого нового знакомого Меценат. Меценат прекрасно понимал, сколь весомым в надвигающейся борьбе может оказаться поэтическое слово, поскольку знал, что собой представляют люди, творящие политику, — все они, как

правило, отличались тонким литературным вкусом. Что изменилось бы, если бы Вергилий остался в лагере Антония? Наверное, ничего. Вергилий не входил в число людей, определявших ход истории. Вряд ли связанные с Востоком далеко идущие планы Антония заинтересовали бы мелкого итальянского землевладельца.

Любовь и политика

Между тем юному богу, которого он прославлял, явно не хватало хороших манер. Впрочем, его недруги выглядели не лучше. После падения Перузии Фульвия, прихватив с собой обоих сыновей, родившихся в браке с Антонием, покинула Италию. Цезарь Октавиан отметил ее отъезд эпитаграммой, которая обошла весь Рим и наверняка достигла слуха Антония. Ее форма и особенно ее концовка так понравились жившему на сто лет позже признанному виртуозу этого жанра Марциалу, что он воспроизвел эпитаграмму в качестве примера «римской откровенности»:

«Поскольку Антоний целовал Глафиру, Фульвия повелела мне целоваться с ней. Чтобы я целовался с Фульвией? А если Маний попросит меня переспать с ним, мне что, тоже соглашаться? Ну уж дудки, я не сумасшедший. «Поцелуй меня, — говорит она, — а не то враги до гроба!» Хо-хо! Да мне моя палка дороже самой жизни! Горнист! Труби в атаку!»^[70]

Действительно, откровеннее не скажешь, особенно, если за словами не кроется никаких реальных фактов. Нет абсолютно никаких доказательств ни того, что Фульвия предпринимала попытки соблазнить Цезаря Октавиана, ни того, что она возмущалась связью своего мужа с царицей Глафирой, «доставшейся ему по «праву первой ночи», каким широко пользовался еще Цезарь в отношениях с царицами вассальных государств»^[71].

Эту же эпитаграмму цитирует и Монтень, обличая легковесность причин, приводящих к войнам. Вот что он об этом пишет («Опыты», II, 12):

«Послушаем, что говорят на этот счет те, кто сами являются главными зачинщиками и поджигателями их; выслушаем самого крупного, самого могущественного и

самого победоносного из всех живших на земле императоров, который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась на карту жизнь полумиллиона человек, связанных с его судьбой, и ради предприятий которого расточались силы и средства обеих частей света».

Справедливости ради отметим, что тон эпитафии и в самом деле выглядит чрезвычайно легкомысленным, особенно по контрасту с серьезностью ситуации. Очевидно, на данном временном промежутке Цезарь Октавиан в отличие от Антония чувствовал удовлетворение тем, как развивались события. Прибыв в Афины к Антонию, Фульвия нашла мужа в ярости. Она вызвалась играть роль, которой ей никто не поручал, и в результате провалила все дело. Во время разыгравшейся между ними бурной ссоры Антоний осыпал жену упреками, утверждая, что именно она поставила его в нынешнее невыгодное положение.

Из всех легионов, хранивших верность Антонию, два перешли на сторону Агриппы, но остальные спешно покинули Италию и двигались к своему командиру. Таким образом, Цезарь Октавиан становился единовластным хозяином Италии, но Италии истощенной и со всех сторон окруженной опасностями. Тогда и возникла идея обратиться за помощью к Сексту Помпею, для встречи с которым в Сицилию выехал Меценат. В подтверждение своих добрых намерений Октавиан женился на Скрибонии, приходившейся Сексту теткой со стороны жены. Старше его годами, она успела дважды побывать замужем и в одном из браков познала радость материнства.

Договор в Брундиции. Выход на сцену Октавии

И на этот раз Антоний нашел выход из трудного положения. Чтобы освободить портовый Брундиций, по приказу Цезаря Октавиана запертый в кольцо блокады, он также обратился за помощью к Сексту Помпею. Узнав об этом, Цезарь Октавиан спешно двинул свои войска к Брундицию, однако не только не сумел пробиться к городу, но и с неудовольствием обнаружил, что его легионеры братаются с воинами Антония. Солдаты устали от гражданской войны и настоятельно требовали мира. Пока Агриппа сражался с войском Секста Помпея, Цезарь Октавиан, переживший еще одно военное поражение, попытался вступить с Антонием в переговоры. Их проведение он поручил Меценату; от лица Антония выступил Азиний Поллион. Договор, заключенный осенью 40 года в Брундиции, еще раз подтвердил разделение полномочий внутри триумvirата: Запад империи отходил Цезарю, Восток — Антонию, неделимая Италия — им обоим, а Лепиду оставалась Африка.

В начале 40 года умер зять Цезаря Октавиана Гай Клавдий Марцелл, оставив вдовой 29-летнюю Октавию, которая ждала ребенка. У нее уже было двое детей — сын Марцелл, о несчастливой судьбе которого мы еще узнаем, и дочь Марцелла (Старшая). Родившуюся после смерти отца девочку нарекли Марцеллой Младшей. Никаких упоминаний об Октавии в тексте сохранившихся документов мы не находим вплоть до 40 года, когда она вступила на политическую сцену. В этой пьесе ей предстояло сыграть примерно ту же роль, что и Ливии, с которой мы вскоре познакомимся. Красивое, как у брата, лицо, пожалуй, скорее строгое, чем милое; губы,

едва тронутые улыбкой; стянутые в тугий узел волосы с валиком на лбу, заметно портящим общее впечатление — так, если судить по дошедшим до нас изображениям, выглядела Октавия. Она успешно справлялась с выпавшей на ее долю миссией представлять идеал римской женщины — верной супруги и примерной матери. Как и требовали приличия, она ограничивала свои амбиции ролью хозяйки дома, а если и вмешивалась в политику, то делала это тактично и всегда в интересах мужской половины семьи — брата и мужа. Одним словом, Октавия являла собой полную противоположность жены Антония Фульвии — дерзкой амазонке, всегда озабоченной исключительно собственными честолюбивыми планами.

Пока обсуждались детали соглашения в Брундизий, в Рим пришла весть о кончине Фульвии. Антоний стал вдовцом, следовательно, мог думать о новой женитьбе. Счастлирое совпадение, одновременно освободившее и Антония и Октавию, конечно, не ускользнуло от внимания Цезаря Октавиана. Если бы удалось выдать сестру замуж за Антония, это скрепило бы достигнутые между ними договоренности. Опутанный новыми семейными узами, Антоний наверняка отказался бы от личных далеко идущих замыслов. Необходимость укрепить союз с Антонием казалась ему тем более настоятельной, что совсем недавно он — через того же Антония — узнал о предательстве Сальвидиена Руфа и осознал, насколько ненадежна его собственная партия.

В Риме все прекрасно знали, что после битвы при Филиппах Антоний познакомился с царицей Клеопатрой и провел с ней несколько бурных месяцев. Говорили также, что Клеопатра ждет от него ребенка. За этим событием, только внешне похожим на обычную любовную авантюру, крылась серьезная политическая подоплека, однако Цезарь старательно делал вид, что не подозревает о ней. В действительности он уже тогда

рассчитал, как использовать этот козырь против Антония. Сознательно — до поры до времени — закрыв глаза на похождения Антония, он сосредоточился на решении другой проблемы: устройстве нужного ему брака, который, с точки зрения закона, представлялся совершенно невозможным. В самом деле, юридически Октавия не имела права вступать в новый брак до истечения срока траура, который составлял десять месяцев. Но ждать так долго, учитывая сложность обстановки и зная непостоянный характер Антония, он не мог. Под его давлением сенат принял сенатус-консультум, позволявший Октавии новое замужество. И в конце 40 года в Риме с помпой отпраздновали свадьбу новоиспеченного вдовца с молодой вдовой. Времена были такие, что вчерашние враги становились родственниками — чтобы завтра снова начать враждовать. В царившей вокруг атмосфере неустойчивости никто из участников событий, давая лицемерные обещания вечной верности и в глубине души готовый отказаться от них при первом удобном случае, и не догадывался, что предпринимаемые шаги окажутся чреватые самыми продолжительными последствиями. Соглашаясь оставить за собой Восток, Антоний действовал вопреки собственным интересам, что и определило в дальнейшем его трагическую судьбу. Что касается брака с Октавией, то дети, родившиеся в этом браке, впоследствии сыграли роль ловушки для семьи будущего императора и в конечном итоге определили ее гибель.

Впрочем, так далеко в будущее никто заглянуть, даже если бы хотел, не мог. Люди жили настоящим, в котором, казалось, впервые за долгие годы мрака забрезжил просвет. Робкий луч надежды согрел и сердце Вергилия, который поспешил донести этот свет до современников. Привыкшие жить с ощущением того, что в любую минуту земля может уйти у них из-под ног,

римляне внимали рассказу поэта о рождении необыкновенного ребенка. Его рост и взросление, пророчествовал Вергилий, будут знаменовать исчезновение последних следов железного века и наступление века золотого. Измученные войной, уставшие от вида крови люди слушали его, и им казалось, что перед ними открывается дверь в волшебный сад — сад надежды:

Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана
вовсе,
Лучших первин принесет, с плющом
блуждающий баккар
Перемешав и цветы колокассий с аканфом
веселым [\[72\]](#).

Поэт ласкал их слух, истерзанный стоном раненых и предсмертным криком убитых, тихой песней материнства:

Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться,
—
Десять месяцев ей принесли страданий немало.
Мальчик, того, кто не знал родительской нежной
улыбки,
Трапезой бог не почтит, не допустит на ложе
богиня [\[73\]](#).

В это время ожидалось появление на свет сразу нескольких младенцев — разрешиться от бремени готовились Скрибония, Октавия, Клеопатра и жена Азиния Поллиона. Но вряд ли Вергилий имел в виду еще не рожденное дитя одной из этих женщин. Образ новорожденного ребенка понадобился ему как символ

наступления новых времен, а мессианский тон поэмы, которую нередко сравнивают с иудейскими пророчествами, выражал страстное желание всего римского мира дождаться конца выпавших на его долю испытаний.

Мизенское перемирие

Убаюканный надеждой, римский Народ проголосовал за овацию^[74] в честь Цезаря и Антония. До триумфа эта церемония не дотягивала, но все-таки означала, что в город оба героя въедут верхом и в одеждах триумфаторов. Таким образом римские граждане спешили отметить миротворческую деятельность триумвиров. Между тем ни о каком прочном мире говорить пока не приходилось, поскольку Секст по-прежнему удерживал Сицилию и блокировал путь снабжения Рима хлебом. Сын Помпея Великого продолжал пользоваться в народных массах искренней симпатией, и вынашиваемый Цезарем и Антонием план военной кампании против Секста не мог встретить широкой поддержки.

На протяжении последнего года массовые беспорядки стали в Риме обычным явлением. Агриппа, занимавший должность претора, пытался бороться с ними, организуя продовольственное снабжение и устраивая всевозможные развлечения. Во время игр в честь Аполлона, проходивших с 6 по 13 июля, он за свой собственный счет и на средства Цезаря предложил толпе великое множество зрелищ, из которых самый шумный успех пришелся на долю звериной травли, проходившей в цирке. Не меньший восторг вызвали и конные состязания под названием Троянские игры, в которых приняли участие юноши и мальчики из лучших семейств. Однако стоило играм закончиться, город снова окунулся в атмосферу беспокойного недовольства.

Самый тревожный инцидент произошел в ноябре или декабре, когда в самом центре Форума Цезарь подвергся нападению со стороны разъяренной толпы. По словам Диона Кассия, «несмотря на полученные раны

Цезарь разорвал на себе одежды и принялся упрашивать нападавших о милости; Антоний же повел себя по отношению к ним гораздо грубее»^[75]. В данном случае историк явно придерживается традиции обелять Цезаря и чернить Антония: если первый демонстрирует уважение к народному мнению, то второй, как всегда, дает выход своей природной жестокости. Но на самом деле унижительное, на наш взгляд, поведение Цезаря вовсе не обязательно означает, что он выставил себя трусом. Разрывая одежды и становясь на колени, он принимал позу молящегося — именно так поступает человек, обращаясь с просьбой к богам или людям, чье превосходство над собой он безоговорочно признает. Тем самым он вручает свою судьбу в руки того, кого умоляет, и обретает неприкосновенность, поскольку любое насилие по отношению к нему обращается в святотатство. Но даже и трактуемый с этой точки зрения, поступок Цезаря остается двусмысленным. Дион Кассий видит в нем признание превосходства над собой народа, но с тем же успехом его можно интерпретировать как ловкую попытку избежать над собой насилия, вынудив нападающих под страхом святотатства взять на себя роль его защитников.

И эта ловкость, и это знание старинных религиозных обрядов, и эта театральность жеста весьма характерны для Цезаря. Интересно, что Аппиан, который придерживался другой, гораздо менее благосклонной к Цезарю традиции, ни словом не упоминает о его заискивании перед толпой. Вообще, в его изложении вся история звучит совершенно иначе. В сопровождении нескольких друзей Цезарь явился на Форум, чтобы призвать к порядку разбушевавшихся горожан, которые в ответ принялись кидать в него камни. Он терпеливо сносил удары и даже, казалось, нарочно подставлял под них тело, хотя несколько метких попаданий ранили его до крови. В это время сверху, со стороны Священной

дороги, к месту стычки подошел предупрежденный о беспорядках Антоний. Смутьяны, зная о его благосклонном отношении к заключению соглашения с Секстом Помпеем, не тронули его и пальцем, а просто вежливо попросили удалиться. Но Антоний, не привыкший прислушиваться к диктату толпы, быстро привел легионеров из казармы возле Римских ворот. Они и разогнали беснующуюся толпу. Когда площадь Форума опустела, на земле остались лежать трупы убитых в стычке горожан. Чтобы они не смущали своим видом других граждан, солдаты поспешно побросали их в Тибр, не побрезговав перед тем снять с мертвых одежду. Вместе с ними в мародерстве принял участие и кое-кто из обывателей. Антоний этого не видел, так как сразу увел Цезаря — целого и невредимого — к себе домой.

Эта версия, как видим, не ставит под сомнение храбрость Цезаря, даже напротив, в ней подчеркивается его хладнокровие перед лицом смертельной опасности. Но самое главное, ее автор акцентирует наше внимание на решительности, проявленной Антонием, и его полной лояльности. Как бы там ни было, задавить народное негодование так и не удалось, и Цезарь с Антонием решились начать переговоры с Секстом Помпеем. В течение лета 39 года они встретились в одном из мест, расположенных между Путеолами и Мизенами. Встреча проходила в море, на плотках, но недалеко от берега. В непосредственной близости от участников переговоров кружил флот Секста Помпея, а на побережье выстроились войска Цезаря и Антония. Весьма показательная деталь, свидетельствующая как о степени взаимного доверия сторон, так и об искренности их намерений. Подписание соглашения состоялось на флагманском корабле Секста Помпея. По условиям договора Цезарь и Антоний удостоили Секста ряда почетных званий, выплатили ему некоторое финансовое вознаграждение, но главное, признали его главенство в

Сицилии, Сардинии, Корсике и Пелопоннесе. Взамен они получили заверение в отказе от ведения военных действий на море и снятии блокады с путей продовольственного снабжения Рима^[76]. И воинам, и гражданскому населению эта весть принесла бурную радость: «Все вместе они принялись кричать так громко, что задрожали горы, испугав их до ужаса. Многие умерли прямо на месте, а многих других задавили или растоптали в толпе»^[77].

Глупая смерть, что и говорить. Впрочем, может быть, погибшим еще повезло. Кто знает, что хуже — умереть от радости или в самом ближайшем будущем убедиться, что все, чему ты радовался, было дешевой комедией. Ни Цезарь, правитель Запада, оставшийся в Италии, тогда как Антоний снова уехал на Восток, ни Секст Помпей ни в малейшей степени не намеревались соблюдать условия договора, заключенного под давлением общественного мнения. Каждый из них терпеливо выжидал, пока соперник допустит первый же неверный шаг, чтобы немедленно ринуться в бой, свалив на других ответственность за развязывание новой войны. Случившееся вскоре романтическое приключение, вполне достойное именоваться авантюрой, одним из героев которой стал Цезарь Октавиан, пролило яркий свет на его истинное отношение к союзу с Секстом Помпеем.

Выход на сцену Ливии

В конце 29 года Цезарь Октавиан обратился в коллегия понтификов, членом которой он состоял, за разъяснением, имеет ли право беременная женщина развестись и снова выйти замуж до рождения ребенка. Довольно странный вопрос, за которым, разумеется, стояло не просто праздное любопытство. Молодой триумвир, женатый на Скрибонии, которая в это время ждала от него ребенка, познакомился с другой женщиной, также ожидавшей ребенка от собственного мужа, и загорелся желанием на ней жениться. Коллегия понтификов, к которой принадлежали муж упомянутой женщины, оробев перед авторитетом ходатая, вынесла решение: если факт беременности не подлежит сомнению, новый брак возможен. Беременность насчитывала шесть месяцев, о каких сомнениях могла идти речь! Значит, никаких препятствий к женитьбе не стояло. И дело завертелось. В декабре, едва Скрибония разрешилась от бремени девочкой, муж дал ей развод под предлогом «усталости от ее дурного нрава» (Светоний, LXII, 3). Разумеется, она, и прежде не раз удивлявшаяся, как такому развратнику удалось добиться такой огромной власти, имела все основания упрекать его в лицемерии. Действительно, стремительность, с какой он жаждал от нее избавиться, объяснялась не только тем, что с той поры, когда он твердо решил порвать соглашение с Секстом Помпеем, жена потеряла в его глазах всякую ценность, но и тем, что перед ним замаячила возможность нового союза.

Его избранницу звали Ливия Друзилла. Она родилась 30 января 58 года, ей было 19 лет, и она происходила из знатнейшего рода Клавдиев, хотя и носила другое имя. Ее отец родился в семье Клавдиев, но затем был

усыновлен Ливием Друзом и принял его имя, которое затем передал и дочери. Ее выдали замуж за Тиберия Клавдия Нерона, также принадлежавшего к роду Клавдиев, следовательно, приходившегося ей родственником. Он пользовался протекцией со стороны Цезаря, который принял его в коллегию понтификов, а затем поручил ему основание колоний в Нарбонне и Арле. После мартовских ид он примкнул к убийцам Цезаря. О том, что он действовал из искренних убеждений, говорит его женитьба на Ливии — дочери негибавшего республиканца.

В 43 году Ливий Друз попал в проскрипционный список, а еще через год, после битвы при Филиппах, покончил жизнь самоубийством. Вряд ли Ливия успела забыть о пережитом семейной горю, ответственность за которое лежала на плечах триумвиров. 16 ноября 42 года у нее родился сын Тиберий. Вскоре, напуганная разгулом насилия, инициированным Цезарем Октавианом, она с грудным младенцем на руках бежала из Рима в Неаполь, где скрывался ее муж, скомпрометировавший себя участием в Перузийской войне. Уже втроем они кочевали то по Сицилии, то по Греции, пока летом 39 года, поверив миролюбивым обещаниям триумвиров, не вернулись в Рим. Ливия ждала второго ребенка.

Тогда-то Цезарь Октавиан и увидел ее впервые, в результате чего у него возник странный план новой женитьбы. Ливия и Тиберий, едва вернувшись из ссылки и чувствовавшие за собой вину, не стали спорить. Он согласился уступить Цезарю свою беременную жену, она приняла предложение выйти за него замуж. Отца, который бы дал за ней приданое и устроил помолвку, у нее больше не было, и эту роль взял на себя Тиберий. Пир состоялся в его доме. Кушанья гостям подавали на посуде, входившей в приданое невесты. Затем Цезарь увез новобрачную в свой дом, где

14 января она родила мальчика, которого нарекла Друзом в честь своего отца — неистового защитника республики, погубленного ее нынешним мужем и его коллегами. Через три дня, 17 января, отпраздновали свадьбу^[78].

Разумеется, Рим не отказал себе в удовольствии позлословить по поводу столь умело состряпанного дельца. Из уст в уста передавались анекдоты и соленые шутки. Рассказывали, что во время брачного пира молодой раб, не разобравшись, что к чему, указал Ливии, что она ошиблась местом, потому что муж ее, Тиберий, сидит на другом конце стола. Горожане охотно распевали куплет из всем известной греческой комедии: «Везучие родят на третьем месяце»^[79]. Кое-кто вопреки здравому смыслу (не подлежало сомнению, что Друз был зачат в ссылке) утверждал, что настоящий отец ребенка — Цезарь Октавиан.

Эта женитьба дала лишний повод для критики, которой осыпал Цезаря Октавиана Антоний. По его мнению, в ней проявились такие черты натуры Цезаря, как невоздержанность и неумение противостоять страстям. И все-таки не стоит преувеличивать ее скандальный характер в контексте эпохи, когда браки с легкостью заключались и расторгались в зависимости от образования и разрушения политических альянсов. Яркий пример подобного рода мы находим в жизни оратора Гортензия и мудреца Катона. Гортензий, убежденный, что плодовитые женщины должны поочередно принадлежать множеству мужей, просил у Катона руки его замужней дочери. Катон ответил отказом, но взамен предложил уступить ему свою жену Марцию, в то время беременную. Сразу после рождения ребенка Марция действительно вышла замуж за Гортензия, который, к несчастью, умер прежде, чем этот брак принес свои плоды. Унаследовав после смерти

Гортензия все его состояние, Марция спокойно вернулась к Катону, вновь взявшему ее в жены^[80].

Мы говорим о Катоне Утическом, человеке, который на долгие годы оставался для древних римлян образцом стоической мудрости. Таким образом, Цезарь Октавиан не сделал ничего, что шло бы в разрез с общепринятыми нравами. Зная его жизнь, трудно поверить, что в данном конкретном случае он действовал под влиянием сердечного порыва. Разумеется, его не оставили равнодушным ни строгая красота Ливии, ни ее молодость и свежесть, но по существу этот брак ничем не отличался от двух предыдущих — каждый из них преследовал главным образом политические цели. Женитьба на патрицианке^[81] самого тонкого разбора открывала Цезарю Октавиану, который ни на минуту не забывал о скромности своего происхождения, доступ в замкнутую касту правящей аристократии, пользующейся в народе огромным, освященным славой предков, авторитетом.

Чтобы все узнали, до какой степени ему желанна Ливия, он распространил слух о чудесном добром предзнаменовании, полученном ею. Сразу вскоре после помолвки она сидела в саду своей виллы в окрестностях Рима. Вдруг ей на колени откуда-то сверху упала белая курица, сжимавшая в клюве лавровую веточку, украшенную ягодками. Разумеется, она поскорее подняла вверх голову, чтобы посмотреть, откуда взялась курица, и увидела, что над ней кружит орел, очевидно, только что упустивший свою добычу. Такое невероятное событие требовало разъяснений гаруспиков. Обратившись к ним за советом, она услышала, что курицу следует оставить у себя и ухаживать за всем ее потомством, а веточку лавра посадить в землю. Ветку посадили, и вскоре на этом месте уже зеленела чудесная роща. Именно отсюда брали впоследствии ветви для триумфальных венков Цезаря Октавиана. И

эти ветви затем сажали в землю, так что постепенно лавровых рощ стало уже несколько. Наследники Цезаря продолжили эту традицию, а затем обнаружилась странная вещь: когда кто-то из них умирал, гибла и роща, посаженная его руками. Что касается курицы, то она дала многочисленное потомство, за которым старательно ухаживали жрецы. В последний год правления Нерона все куры внезапно передохли, а лавровая роща, превратившаяся к тому времени в небольшой лесок, засохла на корню. Тогда-то и прояснился смысл предзнаменования, полученного Ливией: ей предстояло стать родоначальницей династии^[82].

Когда и кто сложил эту волшебную сказку, не известно. Скорее всего, она появилась одновременно с помолвкой Цезаря и Ливии, возможно, при их авторстве, во всяком случае, не без их участия. Нам же эта история дает лишнюю возможность убедиться в изобретательности Цезаря и людей из его окружения, которые строили свой расчет на легковёрности одних и понятливости других. Последние, полагал Цезарь, сумеют постичь скрытый смысл придуманной им сказки. Он сделал своей избранницей Ливию, во-первых, потому, что она ему нравилась, а во-вторых, потому, что на ней лежал знак божественного покровительства. Даже то обстоятельство, что она была беременна, говорило в ее пользу, ибо свидетельствовало о плодовитости и вселяло надежду на многочисленное совместное потомство.

Труднее объяснить, почему так легко сдался Тиберий и почему сама Ливия, презрев свое высокое рождение и республиканское воспитание, согласилась связать жизнь с выскочкой, бредившим абсолютной властью. Ведь положение, которое Цезарь Октавиан занимал тогда на политическом небосклоне, далеко не было таким надежным, чтобы делать на него ставку, не рискуя

ошибиться. Вместе с тем его сестра недавно вышла замуж за Антония — бесспорно, самого крупного государственного деятеля той поры. С другой стороны, времена стояли такие, что человеческие судьбы менялись с калейдоскопической быстротой, и никому бы и в голову не пришло, что супружеский союз может оказаться продолжительным.

Если верить свидетельству Веллея Патеркула, многие годы спустя ставшего доверенным лицом Тиберия, инициатором этого брака выступил не кто иной, как... сам Тиберий Клавдий^[83]. Может быть, устраивая союз между своей женой и Цезарем, этот 40-летний человек, имевший репутацию политически неблагонадежного, надеялся обезопасить себя от преследований? Или он, принадлежа к одному из самых видных и знающих себе цену родов, не мог допустить, чтобы великая историческая перемена, творившаяся в обществе, происходила помимо его участия? Если так, то его расчет с блеском оправдался, ведь наследником Августа стал его сын Тиберий и в жилах всех представителей династии, именованной родом Юлиев-Клавдиев, текла кровь Клавдиев. Впрочем, сам Тиберий так никогда и не узнал о великом будущем своей благородной фамилии, поскольку умер в конце 33 года, через шесть лет после того, как выдал замуж собственную жену.

Возможно, похожим образом рассуждала и Ливия, прикидывая свою будущую судьбу. На одной чаше весов лежало прозябание с 40-летним неудачником, утратившим всякую надежду на политическую карьеру и снедаемым горькими разочарованиями, на другой — жизнь с молодым, привлекательным и честолюбивым триумвиром, который к 25 годам успел подчинить себе немалую часть мира. Да и что хорошего могла она ожидать от супруга, оказавшегося способным — неважно, с охотой или скрепя сердце — «уступить» ее

другому? Своему новому мужу она благодаря семейным связям принесла престиж, а благодаря благородству своего происхождения — ту безупречность в поведении, которая никогда и никому не дала ни малейшего повода заподозрить ее в легкомыслии или неверности. Именно к ней, умирая, обратился Август с последними словами. Они прожили в супружестве больше 50 лет, и хотя их взаимоотношения не всегда оставались безоблачными, их прочно объединяло сознание того, что они делают общее дело, и такое дело, которое порой требовало от них нечеловеческих усилий.

Как бы там ни было, знакомство Цезаря Октавиана с Ливией оставило глубокий след в древнеримской, а значит, и в мировой истории. Начавшись, как веселая комедия, их союз пережил затем не одну трагедию, связанную с династическими притязаниями, и первые зерна этих трагедий были брошены в почву уже тогда, в конце 39-го и начале 38 года. Расставшись с мужем и сыном, Ливия нашла в доме Цезаря крохотную девочку, оставленную здесь Скрибонией. Малютке едва минуло два месяца, ее звали Юлией, и Ливии приходилось больше думать о ней, чем о собственном сыне Друзе, которого сразу после рождения она вручила его отцу. В своих «Мемуарах» Цезарь прокомментировал это событие сухо и лаконично: «Цезарь вернул ребенка, рожденного его супругой Ливией, его родному отцу Нерону»^[84]. Но еще более серьезные последствия имел тот факт, что после случившегося вскоре выкидыша Ливия так и не осчастливила нового супруга потомством, что повлекло за собой немало драматических событий, связанных с соперничеством между представителями рода Юлиев, к которым принадлежал Цезарь Октавиан, и рода Клавдиев, из которого происходила Ливия.

Примечательно, что несмотря на бесплодность их союза (хотя к моменту женитьбы и Цезарь Октавиан успел побывать в роли отца, и Ливия дважды познала

радость материнства) вопрос о разводе между ними даже не возникал. Это говорит о том, что Ливия имела на руках и другие козыри, заставлявшие нового мужа дорожить ею, и эти козыри, бесспорно, лежали в сфере политики. В самом деле, ничто в политической карьере Цезаря Октавиана не дает оснований предполагать, что он в случае крайней необходимости не принес бы Ливию в жертву высшим интересам, даже если согласиться, что он продолжал безумно любить ее. Впрочем, его многочисленные любовные похождения делают последнее допущение маловероятным.

Цезарь Октавиан жил в доме, купленном у Гортензии — дочери оратора Гортензия. Именно этот дом до самой смерти оставался его римской резиденцией. Он располагался неподалеку от старинной хижины, которая считалась жилищем Ромула и служила объектом благоговейной заботы римлян. Возможно, уже тогда, предвосхищая будущее, Октавиан начал задумываться о пользе аналогии между собой и легендарным основателем Рима. Но даже если это так, тщеславные претензии несколько не мешали ему вести предельно скромный образ жизни, о котором повествует Светоний (LXXII):

«Жил он сначала близ римского форума, над Колечниковой лестницей, в доме, принадлежавшем когда-то оратору Гортензию; дом этот не был примечателен ни размером, ни убранством, — даже портики были короткие, с колоннами альбанского камня^[85], а в комнатах не было ни мрамора, ни штучных полов. Спал он больше сорока лет в одной и той же спальне зимой и летом^[86] и зиму всегда проводил в Риме, хотя мог убедиться, что зимой город вреден для его здоровья. Если он хотел заниматься тайно или без помехи, для этого у него была особая верхняя комнатка, которую он называл своими Сиракузами и «мастеровушкой»; тогда он перебирался или сюда или к

кому-нибудь из вольноотпущенников на загородную виллу, а когда был болен, ложился в доме Мецената».

В это скромное жилище и перебралась Ливия, покинув расположенный по соседству дом первого мужа; здесь же она произвела на свет сына Друза. Но долго наслаждаться блаженством нового супружества Цезарю Октавиану не приходилось: ненадежность соглашения с Секстом Помпеем, с каждым днем приобретающая все более очевидный характер, требовала от него решительных действий. Он обратился за помощью к коллегам-триумвирам, но получил отказ. Опасную военную кампанию ему предстояло проводить одному.

Сицилийские войны

Из Рима он отбыл в сопровождении Гая Кальвизия Сабина и Луция Корнифиция — помощников, чья верность зиждилась на скромности происхождения, заставлявшей их все свои надежды связывать с успехом его дела. Первое морское сражение, разыгравшееся неподалеку от Кум, завершилось не в его пользу; второе обернулось катастрофой. Разрозненные остатки его флота, наголову разбитого Помпеем возле утеса Сциллы, попали в жестокий шторм, внезапно разразившийся душной летней ночью. Когда весть о разгроме докатилась до Рима, город пришел в волнение. Сторонники Антония подливали масла в огонь, распространяя о молодом триумвире слухи, способные навсегда сгубить его репутацию.

Болтали, что он бежал на последнем оставшемся невредимым судне, а высадившись на берег, едва не попал в руки солдат Секста Помпея и спасся от плена, скрывшись самой глухой тропой. Говорили также, что во время своего позорного бегства он чуть не погиб от руки раба, хозяин которого пал жертвой проскрипций. По Риму ходила эпиграмма такого содержания (Светоний, LXX):

Разбитый в море дважды, потеряв суда,
Он мечет кости, чтоб хоть в этом выиграть.

Такой удар против Цезаря бил прямо в цель, потому что все знали его как заядлого игрока. Азартные игры в Риме находились под запретом, который снимали лишь на время Сатурналий, и уличить высокопоставленного политика в нарушении закона значило серьезно скомпрометировать его в глазах народа. Между тем

Цезарь, даже став Августом, не отказался от игры. Игра превратилась у него в потребность, давая не только возможность щекотать себе нервы, вечно искушая судьбу, что выдавало глубинный инфантилизм его личности, но и тешить свое самолюбие, попирая законы — в том числе и те, что он издавал сам, что, возможно, свидетельствует все о той же духовной незрелости. Впоследствии, оставаясь верным своей врожденной страсти, он использовал игру как инструмент влияния на окружающих.

Но если азарт в игре его развлекал и всегда дарил надежду на выигрыш, то в суровой реальности свою битву он проиграл. Казалось, боги отвернулись от сына Цезаря, и он, неспособный обуздать Фортуны, с новым жаром окунулся в игру, словно ждал, чтобы кости довершили дело его гибели. Он забросил их так далеко, что потерял из виду, не в состоянии заглянуть на дно зловещей пропасти, куда вместе с ними рухнули и все его надежды.

Он вел себя вызывающе. Чего стоили одни его заявления, что он одержит победу над Секстом Помпеем даже вопреки воле его покровителя Нептуна! И уж вовсе неслыханной дерзостью прозвучал его приказ убрать статую Нептуна из торжественной процессии, которой открывались Римские игры, проходившие в сентябре, после его возвращения в город ^[87].

Испытание, выпавшее на долю Цезаря Октавиана, не только прояснило его характер, но и закалило его. Понесенное им поражение, пусть в нем и не было его личной вины, наносило заметный урон харизме сына Цезаря, вся политическая карьера которого до сих пор строилась на счастье (*felicitas*), понимаемой как сочетание личных заслуг и божественного покровительства. Особенно неприглядно его военная бездарность выглядела на фоне побед, одержанных сторонником Антония над парфянами — побед, которые

Антоний немедленно использовал как доказательство собственной *felicitas*. Почувствовав, что его положение пошатнулось, Цезарь Октавиан реагировал с болезненным нетерпением, пытаясь выставить себя жертвой высшей несправедливости, а свой провал — мезью враждебного божества, недовольного его высоким предназначением.

Впрочем, скоро лихорадочное возбуждение уступило в его душе место взвешенной трезвости, позволяющей из самой невыгодной ситуации извлечь максимум пользы. Вовремя вспомнив о своей роли лидера партии, он постарался обратить свое поражение в средство сплотить вокруг себя сторонников, а заодно проверить их способность к энергичным действиям. От каждого из них он потребовал внести свой вклад в восстановление погубленного флота, необходимого для продолжения борьбы. Главные свои надежды он связывал с двумя самыми верными соратниками — Меценатом, которому он поручил уговорить Антония совместно выступить против Секста Помпея, и особенно Агриппой, недавно одержавшим в Галлии несколько блестящих побед, свидетельствовавших, что боги не навсегда отвернулись от его группировки. В начале 37 года он вызвал к себе Агриппу, добившись от сената разрешения встретить его как триумфатора. Но Агриппа отказался от высокой чести, рассудив, что с его стороны было бы бестактностью привлекать всеобщее внимание к своим подвигам, когда его другу так не повезло. Продемонстрировав свою верность главе партии, он тем самым доказал, что в ее рядах есть люди, бескорыстно преданные общему делу, следовательно, у партии есть будущее. Не приходится сомневаться, что благородный жест Агриппы явился результатом тщательно спланированной акции, рассчитанной на определенный эффект. Не случайно именно в это время была отчеканена новая монета, на одной стороне которой

красовался профиль Агриппы, а на другой — изображение Цезаря Октавиана, сына божественного Юлия.

Цезарь Октавиан призвал Агриппу в надежде, что он укрепит его позиции, иными словами, что он покончит с Секстом Помпеем. К решению стоявшей перед ним задачи он подошел как истинный профессионал: подвел итог последних неудач и сделал из анализа их причин единственно верный вывод, который заключался в необходимости создания нового флота, более прочного и менее подверженного капризам стихии и управляемого умелой командой. Затем он занялся поиском подходящего места для порта, где могли бы готовиться матросы, и нашел его на побережье Кампании, меж ПUTEОЛАМИ и Байями, неподалеку от Кум. Это место пользовалось легендарной славой. Именно здесь впервые ступил на италийскую землю Эней, приплывший к берегам полуострова морем. Вот как об этом повествует Вергилий:

А благочестный Эней к высотам, где вышний
Аполлон
Властвует, и далеко к тайникам ужасной
Сибиллы,
К страшному гроту идет: ей дух и великие мысли
Делий внушает вещун и грядущее ей
открывает^[88].

На пути от Кум к морскому побережью лежало озеро Аверн, близ которого скрывался вход в царство теней, и Лукринское озеро. Еще и сегодня можно видеть следы туннелей, по приказу Агриппы прорытых в нескольких метрах от пещеры Сивиллы. По этим туннелям шло сообщение между строительными площадками и новым портом, названным Юлиевым — в честь Гая Юлия Цезаря

Октавиана, который благодаря своему приемному отцу стал считать себя потомком Энея. Выбор места, продиктованный в первую очередь стратегическими соображениями, имел и важное символическое значение, и даже не одно: именно здесь высадился основатель рода, и теперь его далекий наследник намеревался отсюда двинуться на решительный бой с врагом. Кроме того, наследник, ведомый стремлением подтолкнуть Историю вперед, показал, что нисколько не боится изменить облик местности, насквозь пропитанной древними легендами самого зловещего толка. Итак, весь 37-й и первые месяцы 36 года прошли в заботах о сооружении нового флота и подготовке корабельных команд.

Между тем отношения между Цезарем и Антонием снова испортились, и вина за это ложилась на Цезаря. После поражения, нанесенного ему Секстом Помпеем, он через Мецената обратился к Антонию за помощью, однако, когда Антоний в сопровождении Октавии прибыл для назначенной встречи в Брундизий, оказалось, что порт закрыт. Цезарь, в котором кипучая деятельность Агриппы, развернутая в Кампании, возродила былые надежды, счел, что поддержка зятя отныне принесет ему больше неудобств, чем пользы. Вот почему, забыв о том, что он сам вызвал Антония, Цезарь решил устроить перед ним демонстрацию собственной мощи. Тогда в дело вмешалась Октавия, сумевшая умирить гнев мужа и образумить брата. Весной 37 года они все-таки встретились. Встреча проходила с глазу на глаз, посреди небольшой речушки близ Тарента, куда каждый из участников приплыл на собственном челноке. Результатом переговоров стало заключение новых соглашений, пока устраивавших обоих. Они условились, что в будущем дочь Цезаря Юлия выйдет замуж за Антиллу — одного из сыновей Антония, но самое главное, продлили еще на пять лет срок действия

договора о триумвирате, поскольку предыдущее соглашение, заключенное также на пять лет в конце ноября 43 года, истекло уже несколько месяцев назад. Тот факт, что они и не помышляли советоваться ни с сенатом, ни даже с Лепидом, красноречиво свидетельствует о том, насколько изменились времена. Республика умерла окончательно и бесповоротно, а открытое столкновение между обоими лидерами, которого пока удалось избежать благодаря вмешательству Октавии, очевидно, оставалось вопросом времени.

Антоний снова отбыл на Восток, а Октавия, ожидавшая ребенка, отправилась в Рим. С ней находились ее двухлетняя дочь Антония и дети Антония — дочь от первого брака, тоже Антония, и сыновья Фульвии Юл и Антилл. Легко предположить, что прощание было бурным, но кто знает, каким оно стало бы, если бы хоть кто-нибудь из них догадывался, что увидеться им больше не придется. Действительно, только Антиллу, которого злая судьба впоследствии привела в Александрию, довелось еще раз увидеть отца. Цезарь провожал зятя в путь, старательно скрывая удовлетворение. Он радовался, глядя, как торопится Антоний в свою восточную ловушку, где его ждали жаркие объятия Клеопатры. Их следующая встреча произойдет лишь спустя шесть лет и при самых драматических обстоятельствах.

Между тем Цезарь, пережив после поражения в сицилийской войне период острого страха за свою карьеру, готовился к новой схватке с Секстом Помпеем. Агриппа не покладая рук трудился на судостроительных верфях и натаскивал матросов. Новый флот обещал быть мощным и быстрым.

Наконец, все было готово, и 1 июля 36 года корабли покинули порт Байи и вышли в море. Вместе с ними летели по волнам и надежды Цезаря Октавиана,

который понимал, что еще одного поражения ему как политику не простят. Но во время первого же боя разразился сильный шторм, чуть было не заставивший его перенести осуществление своих замыслов на будущий год. Впрочем, он скоро одумался и, следуя первоначальному плану, нацеленному на то, чтобы раздробить силы Секста Помпея, разделился с Агриппой и возглавил «второй фронт». Что касается Агриппы, то он прекрасно справился с возложенной на него задачей и одержал блистательную победу близ Мил, тогда как Цезарь Октавиан потерпел сокрушительное поражение у Тавромения. Его корабли погибли, а самому ему с трудом удалось достичь суши. Казалось, вернулись все кошмары 38 года. Очевидно, именно к этим дням относится описанный Плинием Старшим охвативший его приступ отчаяния, когда он мечтал скорее умереть, чем смириться с крушением своих честолюбивых помыслов.

Тем не менее он преодолел искушение покончить с собой и вновь присоединился к Агриппе, который готовился нанести Сексту Помпею последний решительный удар. Он даже пустил слух о новом знамении. Однажды, когда он гулял по берегу моря, из воды вдруг выскочила рыба и упала прямо к его ногам. Разумеется, прорицатели немедленно выдали толкование происшествия, которое заключалось в том, что вскоре он увидит у своих ног того, кто на протяжении последнего времени мнил себя владыкой морей^[89].

Между тем Агриппа не спешил воспользоваться плодами своей победы у берегов Мил. Неизвестно, тянул ли он время из соображений высшей стратегии или сознательно отказывался от легкой славы, памятуя, что в первую очередь обязан блюсти интересы Цезаря Октавиана. Самым близким из своих друзей он якобы признавался, что хорошо понимает: честолюбивые люди редко соглашаются терпеть в своем окружении того, кто

их хоть в чем-то превосходит. Себе они, как правило, оставляют самые пустяковые дела, а что потруднее поручают помощникам и, требуя безупречного исполнения, в то же самое время завидуют славе, которая, возмись они за дело сами, выпала бы на их долю^[90]. Если подобные высказывания действительно имели место, их можно считать свидетельством настроений, владевших не только Агриппой, но и другими приближенными Цезаря Октавиана. Очевидно, все они в душе разрывались между стремлением к личной славе и необходимостью сохранять лояльность по отношению к главе партии, одно имя которого гарантировало ей политическую легитимность. Этим внутренним напряжением легко объяснить многие поступки Агриппы, а позже Тиберия. Справедливости ради следует отметить, что правители почти всегда относятся к военным успехам своих полководцев с боязливой ревностью, и Цезарю Октавиану с его полным отсутствием военного таланта наверняка приходилось испытывать это чувство еще чаще, чем другим.

3 сентября 36 года Агриппа одержал решающую победу в битве близ Навлоха. Цезарь Октавиан в этом сражении не только не блеснул, но, напротив, повел себя более чем странно. Перед началом схватки, когда воины ожидали, что он даст сигнал к бою, он вдруг... провалился в глубокий сон. Впоследствии Антоний всласть поиздевался над ним, утверждая, что он «валялся как бревно, брюхом вверх, глядя в небо, и только тогда встал и вышел к войскам, когда Марк Агриппа обратил уже в бегство вражеские корабли» (Светоний, XVI, 3).

Однако в Риме вести о победе над Помпеем, соответствующим образом подготовленные, вызвали волну восхищения Цезарем. Рассказывали, что какой-то солдат, охваченный провидческим вдохновением, в самый день битвы предсказал ее исход и тут же

отправился возложить к ногам статуи Юпитера Капитолийского свой меч, ставший отныне ненужным. В едином порыве, умело организованном агентурой Мецената, Народ проголосовал за оказание победителю всевозможных почестей, в числе которых было и вознесение молитв, и сооружение статуй и арки, украшенной трофеями, и право въехать в город верхом и постоянно носить лавровый венок, и устройство в храме Юпитера Капитолийского пира в его честь, на котором присутствовали бы его жена и дети, и многое другое. День сражения отныне считался праздничным, и к нему приурочивали объявление решений о помиловании. Отметим попутно, что в сферу благодати, окружавшую Цезаря Октавиана, попали также Ливия, ее дети и Юлия, что формировало в народном сознании образ священного семейства.

Битва при Навлохе сыграла в судьбе Цезаря Октавиана решающую роль — после нее с шахматной доски политики исчезла не только фигура Секста Помпея, но и фигура Лепида. Последний чувствовал себя оскорбленным поведением Цезаря, который явно старался оттеснить его от принятия важных решений. В конце концов Лепид не выдержал и вступил в тайные переговоры с Секстом Помпеем. Это предательство, отягощенное поддержкой Помпея во время войны, стоило Лепиду власти. Остаток своих дней он провел под строгим надзором, лишенный права покидать место жительства. Триумвират таким образом свелся к дуумвирату, и ни у кого не оставалось сомнений, что столкновение между двумя сохранившими влияние участниками старого пакта неизбежно.

На сцене появляется Аполлон — deus ex machina^[91]

Успокоив недовольство внутри армии, распустив часть войска по домам, предварительно наградив солдат землями и деньгами, в ноябре Цезарь Октавиан смог наконец вернуться в Рим, где его ждал восторженный прием и новые почести. От должности верховного понтифика он отказался сразу, оставив ее Лепиду, но вот к предложениям, касающимся его новой резиденции, отнесся более благосклонно. Еще раньше он приобрел на Палатине земельный участок, непосредственно примыкавший к его дому, который предполагал использовать для расширения своего жилья, действительно слишком тесного. Но летом 36 года, когда он находился на Сицилии, в участок ударила молния. Цезарь Октавиан, никогда не упускавший ни малейшего повода еще раз напомнить окружающим о своем божественном избрании, решил отдать участок, отмеченный небесным знаком, в общинное пользование, соорудив здесь храм в честь Аполлона. Отдавая предпочтение Аполлону перед громовержцем Юпитером, он тем самым приоткрывал завесу над политическим курсом, которого намеревался придерживаться в ближайшие годы. Подоплека этого курса была не так проста, как может показаться на первый взгляд: Август избрал своим покровителем божество, являвшее собой антитезу Дионису, восторженным почитателем которого все активнее выступал находившийся в Египте Антоний.

Между тем Народ, по достоинству оценив религиозное рвение Цезаря Октавиана, одобрил покупку за счет казны нескольких домов, в которых свежее испеченный триумфатор мог бы устроить себе

резиденцию. Недавние раскопки дают нам хотя бы частичное представление о том, как выглядело это жилище. Закрытое со всех сторон, как и все частные дома, обиталище Цезаря служило ему укромным приютом, где домашняя жизнь государственного деятеля протекала вдали от любопытных взоров, в патриархальной простоте обыкновенного обывателя. Даже после Акциума, когда он стал Августом и владыкой империи, его жилище, внешне украшенное всеми атрибутами высшей власти, по существу продолжало оставаться закрытым прибежищем частного лица. До конца своих дней он жил в доме, в полном соответствии с натурой хозяина снаружи выставленном на всеобщее обозрение, но строго хранившем свои внутренние тайны. Вместе с тем этот дом, выстроенный по образу и подобию самого Августа, свидетельствует и еще об одной важной особенности его владельца. В отличие от эллинистических царей с их роскошными дворцами ему вполне хватало этого скромного жилища. Что касается его наследников, то они тоже предпочтут перебраться во дворцы.

Немало интересного о характере Цезаря Октавиана рассказывают нам и остатки кое-где сохранившихся фресок. Особенно любопытна одна стена, расписанная с применением приемов оптического обмана, благодаря чему создается впечатление, что стены нет вовсе. Стена, возле которой стоял грубо выполненный жертвенник, стараниями художника как бы уводит взгляд вглубь, где он теряется в далекой перспективе. Боковые стены украшены изображением театральных масок. Воображение подсказывает, что именно в этой комнате Цезарь Октавиан проводил долгие часы, размышляя об огромном театре, каким ему виделся мир, а маски, еще шире распахивая свои нарисованные рты, наверное, подсказывали ему, что он совершенно прав.

Какие мысли бродили в голове этого человека, со всех сторон окруженного почитанием, но не утратившего способности страдать? Думал ли он об освященной веками неприкосновенности плебейских трибунов, которой теперь удостоился и он? Понимал ли он, что эта неприкосновенность не только защищает ее носителя, но и отторгает его от человеческого рода? Или его больше заботило, что в некоторых провинциях ему уже теперь, при жизни, пытаются воздавать божественные почести?^[92] Сын бога, повторял ли он про себя изречение, знакомое нам по трагедии Сенеки, но вполне вероятно, заимствованное у более древних авторов: «Родиться богом любому обходится слишком дорого»^[93]. Ему это обошлось еще дороже, чем многим, ведь он в отличие от Геркулеса не родился богом, а стал им в 42 году, в возрасте 21 года.

Мы убеждены, что мистиком Цезарь Октавиан не был. Священный ореол, окружавший его личность, достался ему в наследство от республиканских институтов, а почести, которые он оказывал Аполлону, объяснялись исключительно политическими причинами. Судя по всему, Антоний нисколько не обманывался на этот счет, когда в одном из писем подверг суровому осуждению некий обед, вскоре названный Римом «пиром двенадцати богов». Приглашенные явились на обед в обличье богов Олимпа, а возглавил пир Цезарь, одетый Аполлоном. Слухи об этой затее могли действительно повредить Цезарю только в том случае, если к этому времени стали известны его притязания на роль божества. Рим, в котором тогда свирепствовал страшный голод, отозвался на событие целым рядом злых эпиграмм, как обычно, большей частью анонимных. Одну из них цитирует Светоний (LXX):

Только лишь те господа подыскали для пира хорага^[94],

Шесть богов, шесть богинь Маллия вдруг увидал.
И между тем, как в обличье обманщика-Феба
безбожный
Цезарь являл на пиру прелюбодеяния богов,
Все от земли отвратили свой лик небесные силы,
И, позолоченный трон бросив, Юпитер бежал.

Столь впечатляющее бегство богов явно не согласуется с тем, о чем писал Вергилий в четвертой эклоге своих «Буколик».

Таким образом, мнения поэта и «человека с улицы» решительно разошлись. Мало того, народ наградил Цезаря прозвищем Аполлон-палач — именно ему поклонялись в одном из римских кварталов. И еще люди говорили, что, наверное, это боги съели весь хлеб.

Аполлон против Диониса (36-31)

Сицилийские победы заставили умолкнуть подобные разговоры. Горожане, наконец-то поверившие, что постоянная угроза голода отступила, встретили Цезаря шумной овацией. Гордый этим именем, которое он теперь носил, он принимал почести как должное, хотя славил его за победы, одержанные совсем другими. Разумеется, Агриппа получил свою долю заслуженных наград. Ему вручили золотой венок, который он имел право надевать на любой военный парад, а его портреты отныне изображались с атрибутами Нептуна, ибо после поражения Секста Помпея покровительство морского бога перешло к нему. О наградах другого рода, заметно укрепивших его материальное положение за счет конфискаций, произведенных в Сицилии, вслух предпочитали не говорить. Конечно, Агриппа вполне мог потребовать публичного признания за одержанные победы, которые в равной мере продемонстрировали как его военный талант, так и полководческую бездарность Цезаря. Однако он этого не сделал и предпочел сохранить верность человеку, одного имени которого казалось достаточно, чтобы обеспечить ему головокружительную карьеру.

Цезарь остро нуждался в преданных соратниках, ибо понимал: близится время решающей схватки с Антонием. Пока этот час не наступил, он сам и его приближенные, не жалея сил трудились над созданием в массовом сознании «образа врага», порой доводя его до карикатуры. Их очевидная предвзятость не помешала целым поколениям историков в поисках если не полной истины, то хотя бы некоторой достоверности поверить, что за явно искаженным представлением об этом человеке крылись реальные события романтически-

драматической окраски. Действительно, история Антония и Клеопатры привычно рисует в воображении любовные, а то и откровенно эротические сцены, одновременно толкая разум к лежащим на поверхности сентенциям из разряда общих мест: о слабости человеческой плоти, о легкости, с какой мужчины не первой молодости поддаются чарам прожженных авантюристок, о поистине дьявольской притягательной силе томных восточных красавиц... Однако, как ни жаль нам разочаровывать любителей дешевой романтики, превращать Антония в жертву египетской искусительницы, заставившей его в угаре всепожирающей страсти напрочь забыть о своем долге римлянина, значит совершать грубую ошибку.

Надо признать, что со стороны поведение Антония, который и на самом деле любил Восток, выглядело далеко не безупречным, и Цезарь умело использовал это обстоятельство для суровой критики противника. Разумеется, называя Клеопатру египтянкой, он грешил против истины: она происходила из рода, начало которому положил один из полководцев Александра Македонского, следовательно, в ее жилах текла греческая кровь^[95]. Вместе с тем ее династия правила Египтом на протяжении почти трех столетий, и если даже все это время ее представителям удавалось хранить чистоту крови, они полностью восприняли египетскую теократическую систему правления, и до Антония кружившую голову не одному честолюбивому императору. Сам Юлий Цезарь пережил роман с Клеопатрой, которая к тому же упорно распространяла слух, что в результате этой связи у нее родился сын — юный Цезарион. От союза с Антонием у Клеопатры также родились дети. И, как прежде молва твердила, что Юлий Цезарь не устоял перед колдовскими чарами чужестранки, искусенной в искусстве покорять мужчин, теперь то же самое говорили уже об Антонии.

Расставшись с Цезарем после битвы при Филиппах, он направился в Эфес, где его бурно встречали как нового Диониса. Это вовсе не означает, что жители города старались оказать Антонию весьма двусмысленную честь, приветствуя в его лице известного любителя возлияний, — они радовались, видя в нем божество, несущее людям свободу, удовольствия и счастье. В странах Востока считалось нормальным отождествлять победоносных полководцев с богами, и, к слову сказать, далеко не последней причиной «болезни», сгубившей Римскую республику, стали честолюбивые помыслы ее императоров, вкусивших поклонения своих восточных подданных. Римляне допускали сравнение триумфатора с Юпитером, но только в день триумфа, что же касается обожествления полководцев, то эта идея представлялась абсолютно несовместимой с республиканским духом. Даже недавнее обожествление Юлия Цезаря, хоть и посмертное, с точки зрения традиционной морали несло на себе заметный отпечаток скандальности. Таким образом, в Эфесе Антоний столкнулся с опасным искушением еще при жизни почувствовать себя богом.

Впрочем, это не помешало ему твердо помнить о причинах, которые привели его на Восток. Прежде всего ему, как и Цезарю, нужны были деньги для расплаты с ветеранами и снаряжения нового похода против парфян, отложенного после убийства Юлия Цезаря. Египет благодаря своим богатствам и выгодному географическому положению представлял для него двойной интерес. Совершив продолжительную инспекционную поездку по восточным провинциям империи, он остановился в киликийском городе Тарсе, откуда направил Клеопатре суровое послание с требованием оправдаться в симпатиях, якобы проявленных по отношению к убийцам Цезаря. Каким бы

беспочвенным ни было это обвинение, оно сыграло свою роль, вынудив царицу к ответным шагам.

Она лично прибыла в Тарс. Антоний встречался с ней и раньше, при жизни Юлия Цезаря, но почти наверняка никогда не видел ее такой, какой она явилась в Тарс. 29-летняя царица, достигшая пика своей красоты; «красота этой женщины была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимою прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был словно многострунный инструмент»^[96].

Эта сладкоголосая сирена приплыла на богато убранном корабле и предстала взорам встречающих в наряде Венеры (иначе говоря, вовсе без наряда) и в окружении амуров и граций. Новый Дионис, незадолго перед тем оставивший царицу Глафиру в одиночестве дожидаться совместного потомства, не стал сопротивляться выставленным напоказ прелестям Клеопатры. Вскоре после того он вернулся в Рим, чтобы, как мы помним, заключив в Таренте перемирие с Цезарем, жениться на Октавии, которую не покидал до осени 37 года. Но в конце 37 года он снова встретился с Клеопатрой, на сей раз в Антиохии, и здесь в первый раз увидел близнецов, родившихся у обольстительницы три года назад.

Возможно, именно в это время (или чуть позже) под влиянием нахлынувших на него чувств он заключил с царицей брак, по египетским меркам абсолютно законный, но не имевший ни малейших шансов на признание с точки зрения римского права. Действительно, это казалось просто невысказанным — римский полководец в роли соправителя Египта! Повторяя ошибку, сгубившую Юлию Цезаря, Антоний,

готовивший поход против парфян, решил подтвердить правоту оракула, предсказавшего, что победить их сможет только царь. Именно Клеопатра принесла ему вожделенный царский титул. Мы думаем, что это наиболее правдоподобное объяснение его союза с египетской царицей, сводящее всякие рассказы о безграничной власти, какой Клеопатра подчинила искушенного в любовных делах Антония, к злословию памфлетистов. В то же время нельзя сказать, что, придавая такое значение предсказанию оракула, Антоний демонстрировал какую-то особенную склонность к суеверию. Вслед за Юлием Цезарем он пытался использовать то обстоятельство, что простонародье охотно верило в басни подобного рода. Особенно этим отличались восточные народы, в частности, сами парфяне, но в немалой мере это касалось и римлян.

Но еще более грандиозно выглядели его замыслы по преобразованию всего Востока. План его заключался в том, чтобы, оставив под властью Рима Вифинию и Сирию, остальные провинции передать зависимым от него царям, которыми он управлял бы из Египта, предварительно расширив его территорию за счет присоединения соседних земель. Таким образом, Египет становился одновременно ключевым звеном в проведении миротворческой политики на Востоке и плацдармом для будущих походов против парфян, а в перспективе — и против более отдаленных стран Востока.

Зиму 37/36 года Антоний посвятил подготовке военной кампании, задуманной много лет назад. Этот поход закончился для него поражением, сравнимым с разгромом Красса, — с той лишь разницей, что полководцу удалось остаться в живых. Сразу после этого к нему с предложением своих услуг обратился Секст Помпей, разбитый при Навлохе. Антоний

предложения не принял, но вот руководствовался ли он при этом «лояльностью по отношению к зятю», как считает исследователь Поль М. Мартен? Не логичнее ли предположить, что он просто не хотел связывать себе руки соглашением с крайне неудобным союзником, который своим поражением принес Цезарю столь громкую славу? Не случайно Антоний, ни в чем не желавший отставать от зятя, отпраздновал в Александрии триумф.

В 35 году разногласия между ними еще немного усилились. Антоний на протяжении многих месяцев просил у Цезаря подкреплений. После долгих проволочек тот наконец решил направить ему запас военного снаряжения и две тысячи воинов — хорошо обученных и умелых солдат, единственный недостаток которых заключался в том, что их было слишком мало. В марте Октавия, которая везла «подарки», села на корабль, отправлявшийся в Афины. Отсюда она отправила к мужу, находившемуся в Сирии, гонца с сообщением о своем прибытии. Вскоре от Антония пришло письмо, в котором он велел ей возвращаться в Рим. Октавия повиновалась.

Мы не знаем, от кого именно — Цезаря или Октавии — исходила инициатива отправки военной помощи и непосредственного участия в этой акции самой Октавии. Но в Риме отказ Антония принять жену прозвучал как оскорбление, и Цезарь не преминул этим воспользоваться. Он приказал сестре немедленно покинуть дом Антония и перебраться к нему. Однако Октавия вовсе не считала себя брошенной женой и осталась жить в доме мужа. Достоинство, с которым она себя вела, помимо ее собственной воли выставляло Антония в еще более невыгодном свете, и Цезарю ничего не стоило сыграть на противопоставлении почтенной римской супруги, от которой муж отвернулся, и его восточной жены, захватившей над ним

безграничную власть. Моральный урон, нанесенный Антонию, настолько отвечал интересам Цезаря, что невольно возникает вопрос, а не приложил ли он лично руку ко всей этой истории, умело эксплуатируя чувства, которые Октавия продолжала питать к неверному мужу.

И хотя в том, что касалось супружества, сам Цезарь отнюдь не мог похвастать безупречным поведением, не это было главным в его соперничестве с Антонием. Антоний пользовался неоспоримой репутацией способного полководца, тогда как на военном счету Цезаря до сих пор копились лишь поражения. Он сознавал, что ему необходимо предъявить доказательство своих военных талантов, а для этого требовалось срочно организовать какую-нибудь кампанию. Помимо прочего, новый военный поход послужил бы благовидным предлогом не делиться с Антонием войсками и оружием. Цезарь находился в Сицилии, откуда намеревался отплыть в Африку, когда стало известно, что против Рима неожиданно поднялись племена, населявшие земли к северу от Италии и побережье Далматии. Он немедленно пересмотрел свои планы и двинулся на защиту северных границ. Новое направление удара давало ему возможность показать, что легионы нужны не только для участия в гражданских войнах, но и для обороны Италии от внешнего врага. По сравнению с далекими и не слишком убедительными победами Антония на Востоке это, конечно, выглядело выигрышно.

О своем участии в этой войне Цезарь рассказал в «Мемуарах», постаравшись предстать перед читателем талантливым и отважным полководцем. Во время одной из стычек он получил ранение при попытке перебраться с деревянной башни на крепостную стену осажденного города. Этот подвиг, вовсе не обязательный для главнокомандующего армией, должен был убедить

готовых поверить ему сограждан в его отчаянной храбрости.

После ряда успешных сражений он на несколько месяцев вернулся в Рим, где по его приказу были возведены статуи в честь Октавии и Ливии. Он также добился для обеих женщин права распоряжаться своим имуществом без надзора опекунов и права на неприкосновенность, какой пользовались плебейские трибуны и весталки. Подобных почестей не знала ни одна римская женщина со времен матери Гракхов Корнелии^[97]. Таким образом, Октавия, покинутая и преданная мужем, превращалась в глазах римского народа в фигуру почти священную. Оскорбить Октавию — а никто не сомневался, что рано или поздно Антоний дойдет до прямых оскорблений — отныне значило совершить святотатство. Что касается Ливии, которой достались не меньшие почести и которая вряд ли согласилась бы их лишиться, то она составила с Цезарем также священный брачный союз, своим римским достоинством возвышавшийся над незаконным и погрязшим в восточном разврате союзом Антония и Клеопатры. В тщательности, с какой Цезарь создавал идеальный образ себя и своих близких, еще раз проявилось его поразительное умение не упускать из виду ни одной мелочи. Священный ореол, которым он покрыл себя и обеих женщин, превращал их в членов своего рода земной и светской триады, сопоставимой с царившей в Капитолийском храме небесной триадой, состоящей из Юпитера, Юноны и Минервы.

Уладив это важное дело, он вернулся к иллирийской кампании. Поначалу он выступил в Галлию, намереваясь заняться покорением Бретани, которое не довершил Юлий Цезарь, однако не проделал и половины пути, когда стало известно о новом восстании в Далматии. Ему пришлось повернуть назад. Победы, одержанные в этой войне его помощниками, в частности, Агриппой,

укрепили его личную славу и помогли уравновесить сомнительные успехи, достигнутые Антонием.

Психологическая война между ними вспыхнула с новой силой в 33 году, когда истек срок действия триумvirата. Ни Цезарь, ни Антоний больше и слышать не желали о компромиссах. У Антония действительно скопилось немало серьезных претензий к зятю, который всячески чернил его в глазах римских граждан, представляя отъявленным распутником. Шекспир, почерпнувший эти сведения у Плутарха, вкладывает в уста Цезаря такой монолог:

О нем
Вот что мне пишут из Александрии:
Рыбачит, пьет, пирует по ночам;
В нем столько ж свойств мужских, как в
Клеопатре,
Подобно как и женственности в ней
Не больше, чем в Антонии.

И далее:

Допустим, что не грех
Покоиться на ложе Птолемея,
За миг веселья царством заплатить,
С рабами пить, или средь бела дня
По улицам шататься в пьяном виде,
Иль драться на кулачки выходить
Со сволочью, воняющею потом».
[...]
«Но для своих безумств позорных он
Уже ни в чем не сыщет оправданья,
Когда его пустой и легкий нрав
На нас тяжелым бременем ложится^[98].

На что Антоний отвечал письмами, выдержанными в не менее резком тоне:

«С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, — да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» (Светоний, LXIX).

Мы уже говорили о любвеобильности Цезаря Октавиана. В Древнем Риме это качество вовсе не считалось порочным, при условии, разумеется, что в адюльтер не оказалась замешана замужняя женщина. Между тем Цезарь не отказывал себе и в таких удовольствиях, и Ливии (которая у Светония называется Друзиллой) приходилось мириться со многими соперницами — женой Мецената Теренцией (Терентиллой) и женами некоторых других друзей ее мужа. Сторонники Цезаря, понимая, что замолчать его любовные похождения невозможно, пытались хотя бы приуменьшить их негативное значение и заявляли, что Цезарь волочится за женщинами не ради прихоти, а из политических соображений, добывая через любовниц сведения о подлинных умонастроениях своих друзей.

Опровергая подобные оправдания, без сомнения, вымышленные, Антоний охотно пересказывал историю о том, как однажды во время званого обеда Цезарь увел из-за стола жену сидевшего здесь же консуляра и удалился с ней в другую комнату, а вскоре снова вывел к гостям — растрепанную и с пылающими ушами. Тот же Антоний утверждал, что по просьбе Цезаря друзья подыскивали ему любовниц и, оценивая претенденток, заставляли их, будь то юная девушка или мать семейства, раздеваться донага, словно на невольничьем рынке. Сегодня невозможно установить, что в этих

обвинениях правда, а что ложь. Война памфлетов диктует свои законы, и первый из них гласит: «Клеветы, не стесняясь, авось что-нибудь да прилипнет!» Действительно, клеветы тем и отличается, что порой способна вызвать дым без огня. Между тем Цезарю, провозгласившему себя защитником старинных моральных ценностей, одно лишь подозрение в двойном прелюбодеянии могло нанести сильнейший вред.

Он старательно лепил в массовом сознании образ своего семейства, исключавший всякий намек на распутство. Свою дочь он воспитывал в самом суровом традиционном духе и даже заставлял ее сидеть за прялкой, гордясь тем, что все его тоги изготовлены из тканей домашней пряжи. Как и во всех именитых семействах, в доме Цезаря было принято вести специальный дневник, в который заносились все, даже самые незначительные события повседневной жизни. Но он умудрился превратить этот семейный документ в настоящее оружие инквизиции. От детей и даже от взрослых членов семьи он требовал подробнейшего отчета в каждом слове и поступке. Подолгу не бывая дома, он хотел иметь возможность по возвращении в Рим досконально проследить, как в его отсутствие протекала и видимая, и внутренняя жизнь его домочадцев.

В отношениях с Юлией он показал себя настоящим тираном и держал дочь взаперти, запрещая видеться со сверстниками противоположного пола. Однажды, когда Юлия находилась в Кампании, ее навестил Луций Виниций, считавшийся близким другом дома и впоследствии сделавший с помощью Цезаря блестящую карьеру. Узнав об этом, Цезарь отчитал его в сухой и короткой записке: «Ты повел себя крайне нескромно, явившись приветствовать мою дочь в Байях» (Светоний, LXIV). Столь непроницаемый для окружающих, от других он требовал предельной открытости. Его отношение к

женщинам, очевидно, сформировалось еще в раннем детстве и несло на себе заметный отпечаток провинциализма. Но римские нравы успели измениться, и застывший образ древних добродетелей, отличавших римлянок от этрусских женщин, давным-давно вышел из моды.

Его поведение объяснялось целым рядом факторов, зачастую тесно связанных с глубинными особенностями его характера. Так, по отношению к дочери он демонстрировал неуклюжесть, свойственную человеку, выросшему без отца и никогда не имевшему перед глазами реального примера для подражания. Тот факт, что ему пришлось заниматься воспитанием девочки, то есть взять на себя роль, традиционно принадлежавшую матери, только усложнял дело. Действительно, Скрибонию он, судя по всему, полностью отстранил от общения с Юлией, что же касается Ливии, то она, вероятно, не испытывала к дочери мужа ни малейшей привязанности. Постепенно он все глубже увязал в собственных ошибках, которые впоследствии, когда он стал воспитывать и внуков, ему пришлось искупать дорогой ценой.

Наконец, он просто не имел возможности принимать во внимание все тонкости взаимоотношений с близкими. Перед ним стояла вполне определенная цель — противопоставить пресловутой безнравственности Антония образ собственного семейства, хранящего верность италийским традициям, и достижению этой цели он не колеблясь принес в жертву всякие душевные переживания.

Злые памфлеты, которыми они обменивались с Антонием, доказывают, что их взаимная неприязнь продолжала расти. Стремясь укрепить кредит доверия со стороны римского плебса. Цезарь в очередной раз обратился за помощью к своему другу Агриппе. В 33 году, четыре года спустя после своего консульства,

Агриппа согласился занять должность эдила — руководителя городской администрации, что с точки зрения развития политической карьеры означало добровольный шаг назад. Хотя каждый эдил имел в своем распоряжении определенные государственные фонды, этих средств никогда не хватало, и всегда приходилось вкладывать собственные деньги. Агриппа к этому времени успел сколотить значительное состояние и теперь сделал широкий жест, оплатив из своего кармана работы по снабжению города водой. «Он обустроил семьсот водохранилищ, установил пятьсот фонтанов с питьевой водой и выстроил сто тридцать водонапорных башен, и многие из этих сооружений были отделаны с неслыханной роскошью. Их украшали триста бронзовых и мраморных статуй и четыреста мраморных колонн. И все это он сделал всего лишь за год»^[99].

Венцом пребывания Агриппы на должности эдила стали игры, продлившиеся 59 дней, и решение о бесплатном доступе в общественные бани сроком на 170 дней. Он также ввел множество послаблений, благодаря чему римский плебс надолго запомнил год, когда городом управлял Агриппа^[100].

Воспользовавшись полученной властью, Агриппа удалил из Рима всех магов и астрологов. Занятия магией уже довольно давно стали характерной приметой деревенской жизни, в городе же если кто и обращался к магам, то в основном представители низов. В последний период существования республики, главным образом под влиянием мыслителей неопифагорейского направления, магия, равно как и астрология, стала расцениваться как наука, основанная на общности природы Вселенной. Но кровавые события гражданских войн привели к тому, что люди, принадлежащие к самым разным социальным кругам, начали задумываться о влиянии на свою жизнь этой загадочной Вселенной, которая, казалось, совершенно обезумела. Тогда же

произошло множество странных, из ряда вон выходящих явлений, которые всякий объяснял на свой лад. Не исключено, что среди толкователей нашлось немало магов и звездочетов, распространявших предсказания о том, что скоро Восток отомстит Городу, в образе которого многие из них уже видели олицетворение апокалипсического Зверя. От них и решил очистить Рим Агриппа.

Итак, Цезарь Октавиан избавлялся от возмутителей спокойствия, но в то же самое время охотно пользовался созданной ими беспокойной обстановкой для распространения совсем других слухов, например, о том, что египетская царица задумала возвести себе дворец на месте храма Юпитера Капитолийского. К страху перед Цезарем, известным своей жестокостью, добавились смутные угрозы, исходящие с Востока, и люди окончательно терялись в оценке происходящего. Клеопатра постаралась внести разлад в войска, расквартированные по всей Италии, приказав своим подручным пригоршнями разбрасывать среди солдат золото. Цезарю Октавиану не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру, только с гораздо большим размахом, для чего пришлось изрядно обобрать гражданское население. В результате вспыхнули мятежи.

Консулами 32 года — поворотного в личной судьбе обоих политиков и в истории Рима и империи — стали Гней Домиций Агенобарб и Гай Созий, оба друзья Антония. Антоний поручил им зачитать в сенате его отчет по работе, проделанной на Востоке, и добиться от сенаторов его одобрения. Однако консулы, тонко чувствуя, сколь неблагоприятна конъюнктура, воздержались от этого шага. Тогда Антоний направил сенаторам послание, в котором выразил готовность сложить с себя всякие полномочия, старательно игнорируя тот факт, что никакими законными

полномочиями он больше не обладал, ибо срок действия триумвирата уже истек.

1 февраля 32 года консул Созий произнес хвалебную речь в честь Антония и потребовал принятия жестких мер против Цезаря. Цезарь немедленно покинул город. Ему требовалось время, чтобы обдумать достойный ответ на полученный вызов и прикинуть, какими силами он располагает. Несколькими днями позже он вернулся в город и созвал заседание сената, на которое явился в окружении солдат и друзей, предусмотрительно обнаживших клинки. Заняв место между обоими консулами, он выступил с речью, поразившей присутствующих своей умеренностью. Она сводилась к защите его политики и критике политики, проводимой Антонием. Во время этой речи консулы не произнесли ни слова, но, едва закончилось заседание, спешно бежали из Рима. За ними последовали примерно триста сенаторов. Цезарь потирал руки, а вслух повторял, что каждый волен покинуть его и присоединиться к Антонию, ничем не рискуя.

Возможно, уже тогда он рассчитал, по какому руслу потекут события. Кое-кому из перебежчиков решительно не понравилось, что Клеопатра занимала слишком большое место в жизни Антония, и они увеличили собой ряды тех римлян, что давно находились в ближайшем окружении Антония и категорически не одобряли причудливой роскоши, в которой, словно напоказ, купалась эта парочка. Одни из них размышляли о целесообразности войны с Цезарем, другие, допуская ее неизбежность, ни в коем случае не хотели, чтобы в ней приняла участие царица. Живя в Риме, они, разумеется, слышали все, что праздные языки болтали о нравах царственной четы, но теперь, наблюдая за поведением Антония, невольно приходили к выводу, что в этих слухах, возможно, содержалось гораздо больше правды, чем они подозревали.

В мае или июне 32 года Антоний дал наконец ясный ответ тем, кто особенно громко возмущался его демонстративной привязанностью к Клеопатре. Он отправил Октавии, все еще считавшейся его законной женой, письмо с приказанием покинуть супружеский дом. Это значило, что он официально разводится с ней ради восточной царицы! Это значило также, что близится время измен и предательства. Первым, кто отвернулся от Антония, стал Луций Мунатий Планк, один из самых давних его соратников. Он не только бежал из его лагеря, но и донес Цезарю, что у весталок хранится составленное Антонием завещание.

Цезарь взломал тайное хранилище священного храма и завладел документом, который зачитал перед сенатом. Антоний завещал все свое имущество детям, родившимся от Клеопатры. Здесь же он подтверждал, что Цезарион является сыном Цезаря, но самое главное, требовал, чтобы прах его тела, сожженного на римском Форуме, захоронили в Александрии. Ни Антония Старшая, ни Антония Младшая — его дочери от Октавии — в завещании даже не упоминались. Антоний не скрывал, что с бывшей Римской республикой его не связывает больше ничего.

Цезарь постарался извлечь из завещания максимум выгоды, заявив, что Антоний намеревается перенести столицу империи в Александрию. Этот ход сработал как мобилизующий фактор. За лето, действуя неведомыми нам способами, он сумел довести до конца начатый за долгие месяцы до этого процесс дискредитации Антония в широких массах и добился, что все население западных римских земель объединилось под его знаменами. Вот как он сам повествует об этой важной победе в своих «Деяниях»:

«Вся Италия в едином порыве принесла мне клятву верности и потребовала, чтобы я возглавил войну, которая завершилась победой при Акциуме. Таковую же

клятву дали мне Галлия, Испания, Африка, Сицилия и Сардиния. Среди тех, кто выступил под моими знаменами, было 700 сенаторов, из которых 83 или успели побывать, или впоследствии стали консулами, а еще примерно 170 — жрецами»^[101].

Коллективный характер этой клятвы делал Цезаря Октавиана личностью священной, в некотором роде патроном Италии и Запада. На волне всеобщего признания он провозгласил себя «защитником свободы», бесстрашно эксплуатируя самый сокровенный смысл республиканской идеологии, которую он готовился окончательно уничтожить. Впрочем, говоря о свободе, он действительно не имел в виду ту свободу, ради которой погибли Кассий и Брут, отстаивавшие права римских граждан, а подразумевал нечто более широкое и одновременно более туманное, имевшее отношение к угрозе, какую представлял для западных провинций Восток.

Отныне определилась и идеология войны — оставалось ее выиграть. В Риме издавна существовала жреческая коллегия фециалов, в которую входило 20 человек. Члены коллегии отвечали за проведение обрядов, связанных с объявлением войны и заключением мира. Содержание обрядов складывалось в далекой древности, когда Рим вел многочисленные войны с соседями. Тогда фециалы отправлялись на границу враждующего города и во всеуслышание заявляли о своих требованиях и сроках их исполнения. В противном случае, громко оповещали они, Рим объявляет городу войну. Как только истекал назначенный срок, один из фециалов, именуемый *pater patratus* — главный жрец, в сопровождении не меньше чем троих свидетелей снова отправлялся на границу. Здесь, взяв в руки окровавленное копье, он еще раз оглашал волю Рима, а затем забрасывал копье на вражескую землю. Разумеется, исполнение этого архаичного обряда в

качестве объявления войны далекому государству представляло немалые трудности, однако римляне, весьма щепетильные во всем, что касалось соблюдения древних традиций, нашли выход из положения. Pater patratus символическим жестом запускал окровавленное копьё в колонну перед храмом богини войны Беллоны, расположенным в том же районе, где позже Август выстроил театр Марцелла.

Так же все происходило и на сей раз, примечательно лишь, что, если верить Диону Кассию (L, 4, 5), в роли главного жреца, объявившего войну Клеопатре, выступил сам Цезарь Октавиан. Доисторический обряд как нельзя лучше выражал владевшие им мысли: война, которую он готовился развязать, представлялась ему справедливой, ибо была объявлена с соблюдением всех старинных формальностей, кроме того, она обретала форму «крестового похода» Рима, стоящего на страже традиции, против сил Востока, олицетворяемых Клеопатрой. Об Антонии не упоминалось ни словом. Он словно бы исчез с политического небосклона, целиком поглощенный бесстыдной царицей. И предстоящая война вовсе не являлась ни эпилогом долгой череды гражданских войн, ни очередной гражданской войной. Это была последняя война против эллинистического царства, грозившего Италии и Западу смутой и развратом.

Развязка. Акциум

Весной 31 года армия Цезаря, состоявшая из 60–80 тысяч пеших воинов и 12 тысяч всадников, на четырехстах кораблях переправилась через Адриатическое море. Решающей схватке предстояло разыграться у побережья портового города Акциума, под пристальным взглядом Аполлона, чей храм примостился на высоком берегу. В морском сражении готовились встретиться два крупных флота. Накануне боя, как это случалось уже не раз, Цезарь, погруженный в раздумья о грядущем, получил знак свыше. На сей раз небеса явили свою волю, послав ему навстречу погонщика с ослом. Цезарь, жадно ловивший любую приметку, спросил у погонщика: «Как тебя зовут? — Евтихий, — отвечал тот. — А твоего осла? — Никон». Евтихий и Никон! Какая несказанная удача! Ведь Евтихий по-гречески означает «удачливый», а Никон — «победитель» (Светоний, ХСVI, 5). В данном эпизоде нас восхищает не столько чрезвычайная изворотливость богов, сколько потрясающая способность Цезаря уметь читать их «послания». Поистине, надо было обладать особой восприимчивостью, дабы не упустить ничего действительно важного. Такой же способностью к распознаванию божественных знамений наделен и Эней у Вергилия.

Наконец настал день 2 сентября 31 года — один из таких дней, которые меняют всю мировую историю. Ни погонщик, ни осел не обманули: несмотря на численное превосходство Антония и его тщательную подготовку к сражению, исход битвы решил Агриппа. Предприняв обманный маневр, он сделал вид, что отступает, и тем самым увлек за собой часть кораблей Антония, что разрушило первоначальный стратегический замысел

последнего. Клеопатра наблюдала за схваткой с одного из кораблей. Обнаружив, что удача не на их стороне, она испугалась оказаться в ловушке и на судне под названием «Антония» ретировалась с места сражения. За ней следом устремились 60 кораблей. При виде этого бегства Антоний также счел за лучшее отступить, уведя за собой еще 60 кораблей.

Итак, морскую битву Антоний проиграл, что, впрочем, еще не означало окончательной победы Цезаря в войне. Антонию и Клеопатре удалось спасти часть своего флота; другая его часть успела укрыться в Амбракийском заливе, и в полной неприкосновенности оставались их сухопутные силы. Говорить о том, что все потеряно, пока явно не приходилось, — разумеется, при условии, что солдаты не перемятутся к врагу. Увы, в войсках царило уныние. Люди своими глазами видели, как бежала с места битвы царица, как следом за ней бежал главнокомандующий, но, конечно, не понимали, что в этом бегстве заключался единственный способ спасти положение. Цезарь не преминул запустить во вражескую армию слух о том, что Антоний сознательно скрылся вместе со своей любовницей, бросив воинов на произвол судьбы. Он также старался дать понять, что проявит милосердие к тем из них, кто перейдет на его сторону, и будет вновь считать их римскими солдатами, суля в будущем и земли, и денежные награды... Коротко говоря, вскоре и флот, и сухопутное войско сдались Цезарю, а стычка близ Акции, наконец-то обретшая значимость победы, превратилась в легендарную битву при Акции, прославлению которой посвятили свои силы поэты, связавшие свой личный успех с процветанием Цезаря.

Повествуя об этих событиях, Дион Кассий (LI, 1, 2) дает такой комментарий:

«Если я упоминаю эту дату — 2 сентября, то имею на то особую причину, хоть и не в моих правилах давать

подробности такого рода. Но именно тогда Цезарь в первый раз получил в свои руки всю власть, и в дальнейшем разумно вести отсчет годам его владычества начиная с этого дня».

Пожалуй, историк немного поторопился, потому что для укрепления полученной власти Цезарю предстояло сделать еще немало. Прежде чем добивать Антония и Клеопатру, которые в любом случае проиграли окончательно и бесповоротно, следовало заняться огромной армией, ожидавшей обещанных наград, и восточными царями, в большинстве желавшими победы Антонию. Цезарь собирался отправиться в длительную поездку по странам Востока, когда от Мецената, остававшегося от его имени управлять Римом, пришло сообщение о попытке государственного переворота, предпринятой Лепидом — сыном бывшего триумвира. Солдаты, вернувшиеся в Италию из чужих стран, писал он также, проявляют беспокойство и готовят мятежи. Цезарь отправил в Рим Агриппу, вручив ему дубликат своей личной печати. Однако обстановка продолжала оставаться тревожной, и тогда он сам приплыл в Брундизий, хотя стояла зима. Меньше чем за месяц, действуя где подачками, где посулами, ему удалось восстановить спокойствие. Но он понимал, что это не более чем отсрочка. На первое место вышел вопрос о захвате сокровищницы Птолемеев.

Все это время Антоний и Клеопатра, укрывшись в Александрии, строили планы один фантастичнее другого и закатывали пиры один роскошнее другого, одним словом, делали все, лишь бы не думать о том, что их ждет в ближайшем будущем. Антоний пребывал в подавленности и ненадолго оживал только во время очередного торжества, каждое из которых праздновалось с пышностью на грани отчаяния. В такой обстановке Антилл впервые надел мужскую тогу, а Цезарион пополнил собой списки эфебов. С двух сторон

к Александрии подтягивались войска. Их вели Цезарь и его друг Корнелий Галл, явно вознамерившиеся взять город в клещи. Антоний обратился к Цезарю с просьбой позволить ему уехать в Афины, где он обещал жить как обыкновенный гражданин. Царица дала согласие отречься от престола в пользу своих детей и засыпала Цезаря роскошными подарками. Но он оставался непреклонен. Он жаждал покончить с ними раз и навсегда. 1 августа 30 года с небольшими боями у городских стен он вошел в Александрию.

Продолжение истории знакомо нам в пересказе Плутарха и по шекспировской трагедии, основанной на том же источнике. Цезарь предупредил Клеопатру, что не станет вести с ней никаких переговоров до тех пор, пока она не избавится от Антония, и царица устроила так, чтобы Антонию сообщили, будто она умерла. По всей вероятности, она рассчитывала, что он последует ее примеру. Он так и сделал, однако рана, которую он нанес себе сам, оказалась не смертельной, и он продолжал жить еще некоторое время. Его хватило, чтобы Антоний узнал, что жива и царица. Он попросил, чтобы его перенесли к ней, и скончался у нее на руках. Клеопатра рыдала от горя и покрывала свое тело кровью, обильно струящейся из раны Антония.

Говорят, что, узнав о смерти Антония и увидев его мертвое тело, Цезарь Октавиан заплакал, — точно так же плакал Юлий Цезарь, когда ему донесли о гибели Помпея. Что это было, крокодиловы слезы на берегах Нила? Или внезапное проявление чувства? Об этом мы не узнаем никогда, но ясно одно: эти слезы во многом и надолго определили отношение к нему других. Вполне возможно, что он искусно притворялся, копируя приемного отца с его легендарным милосердием и стараясь показать, что после Акциума станет таким же великодушным; но не исключено, что его скорбь, при всей своей «выгоде», была вполне искренней. В любом

случае отныне Цезарь больше не мог дать волю простому человеческому чувству, чтобы не быть заподозренным в лицемерии. Он сам себя загнал в ловушку, и всякий раз, когда ему случалось переживать личное горе, а потом непременно использовать печальные обстоятельства для укрепления своего величия, он не мог не чувствовать себя загнанным зверем.

Впрочем, какие бы чувства им ни владели, они не помешали ему проявить максимум осмотрительности в переговорах с Клеопатрой. Он боялся, что она уничтожит баснословные богатства Птолемеев, все еще находившиеся в ее руках, а кроме того ему, вероятно, хотелось, чтобы царица осталась в живых и присутствовала при его триумфе. Она же, разумеется, желала этого меньше всего на свете. Несмотря на постигшее ее горе, она, как и Цезарь, ни в малейшей степени не утратила своего хитроумия, так что их встреча превратилась в настоящую схватку двух лицемерий. Возможно, между ними и в самом деле состоялась беседа, похожая на ту, что сочинил Шекспир, читавший об этом у Плутарха:

(Клеопатра преклоняет колени)

Цезарь

Встань,
Ты не должна колени преклонять.
Прошу я, встань, царица.

Клеопатра

Таково
Веление богов: я пред своим
Властителем должна склонить колени.

Цезарь

Не предавайся мрачным мыслям. Пусть
На теле у меня те оскорбления
Записаны, что ты мне нанесла,
Но я готов случайностью считать их.

Клеопатра

Единственный властитель мира, я
Не думаю вполне себя очистить
Перед тобой; я сознаюсь, что многим
Я слабостям подвержена была,
Подобным тем, которые нередко
Позорили наш пол.

Цезарь

Знай, Клеопатра,
Что мы хотим скорее уменьшить
Твои вины, чем их преувеличить.
И если ты согласна подчиниться
Намереньям моим (к тебе, царица,
Поверь, они участия полны),
То выгоду найдешь ты в перемене
Своей судьбы. Но если, по примеру
Антония, ты вздумаешь жестокость
Мне навязать, то ты лишишь себя
Того добра, что я намерен сделать,
И собственных детей ты обречешь
На гибель, от которой я спасу их,
Когда ты мне доверишься^[102].

Вкрадчивые речи Цезаря не обманули Клеопатру.
Стоило ему выйти, она сказала, обращаясь к служанкам:

и сладкие мне речи говорит,
Чтобы своей я чести изменила.

Клеопатра осталась верна своей чести и добровольно приняла смерть, то ли выпив яд, то ли подставив свое тело под укусы асписовой гадюки. Цезарь исполнил последнюю волю Антония и похоронил его вместе с его египетской супругой. Побудительные мотивы этого жеста также дают обильную пищу сомнениям. Действовал ли он из сострадания к умершему или стремился подчеркнуть привязанность Антония к Востоку, навсегда оставив его в земле, которую он предпочел Риму, возле женщины, ради которой он бросил Октавию?

Почувствовав себя властелином Египта, он постарался избежать лишнего кровопролития, не желая массовой гибели населения, которое в дальнейшем могло оказать Риму немало ценных услуг. Перед жителями Александрии, с тревогой ожидавшими своей участи, он выступил с речью, произнесенной по-гречески, в которой заявил, что в честь их бога Сераписа, в память об Александре-основателе, ради красоты города и во имя дружбы с их соотечественником Арием он всем дарует прощение^[103].

Арием звали философа-эkleктика, пожалуй, более всего склонявшегося к стоицизму и испытывавшего прочную привязанность к Цезарю Октавиану. Он последовал за ним в Рим, чтобы стать его конфидентом «не только в публичных делах, но и в самых потаенных движениях его души»^[104].

Именно Арию предстояло вскоре сыграть заметную роль в двух событиях, знаменовавших собой завершение александрийской трагедии. Клеопатра успела перед смертью отправить своего сына Цезариона в Индию, снабдив его значительной суммой денег. Он был на полпути к цели, когда его наставник уговорил его вернуться в Александрию, чтобы получить царство из рук Цезаря. Никто кроме Клеопатры не мог бы сказать наверняка, действительно ли этот 15-летний мальчик

был сыном Юлия Цезаря. Цезарь Октавиан всегда отрицал такую вероятность, но что он об этом знал? Может быть, сама мысль о том, что в жилах мальчика, выданного ему предателем, течет священная кровь, останавливала его руку, уже занесенную для казни? В этот момент и вмешался Арий. Перефразируя стих из «Илиады», гласящий: «Множественность господ до добра не доведет», он заявил Цезарю: «Множественность Цезарей до добра не доведет». Этот аргумент и решил судьбу Цезариона, которого после смерти Клеопатры приговорили к казни.

Не исключено, что Цезарь искренне жалел Цезариона, и лишь политическая необходимость вынудила его к убийству подростка. Точно так же сомнительна его ответственность за гибель Антиллы, возрастом примерно ровесника Цезариона, к тому же помолвленного с дочерью Цезаря Юлией. И этот юноша пал жертвой предательства со стороны своего наставника, выдавшего его шайке озверелой солдатни. Спасаясь от преследователей, юноша бросился к подножию алтаря, возведенного Клеопатрой в честь Юлия Цезаря. Но напрасно он молил о пощаде — один из воинов отрубил ему голову. В этот миг с его шеи и скатился на землю обруч, украшенный драгоценным камнем, немедленно подхваченный вероломным наставником, который поспешил спрятать камень себе за пояс. О камне, ради которого он предал своего хозяина, вскоре стало известно Цезарю, и он приговорил предателя к казни на кресте. Зато остальных троих детей Антония и Клеопатры он пощадил.

Покончив с этими трудностями, он отправился на могилу Александра Македонского, где предался размышлениям о своем грядущем величии. Но мечты о будущем не мешали ему активно заниматься делами практического и идеологического характера — следить за работами по очистке Нила или строить планы по

закладке близ Акция, на месте расположения его лагеря, Никополя — «Града Победы», посвященного Марсу и Нептуну, по расширению храма Аполлона или организации в честь недавней победы пятилетних игр.

В Риме эту победу уже начали воспевать поэты, близкие к кругу Мecenата, и в их стихах он представлял национальным героем. 13 сентября сенат удостоил его так называемого венка за избавление от осады. Он представлял собой венок, сплетенный из травы. В прежние времена таким венком солдаты награждали своего командира, спасшего их от неминуемого разгрома^[105]. Плели венок из травы, растущей в тех местах, где разыгрывались кровавые события. Этой награды в свое время удостоился Сципион Эмилиан, как свидетельствует надпись на цоколе посвященной ему статуи, воздвигнутой на Форуме Августа, а также еще несколько полководцев-победителей, к числу которых теперь оказался причислен и Цезарь Октавиан^[106].

Зиму 30/29 года он провел в Азии. объездил всю Сирию, добрался до самого Евфрата. В Самосате принял делегацию гангаридов — народа, жившего в устье Ганга. Занимался он и армянским вопросом, главным образом в связи с проблемами, которые ставило перед этой страной близкое соседство парфян. Одним словом, он знакомился с Востоком, а Восток, в свою очередь, знакомился с ним. Он понимал, что должен показать этим странам и народам, которые почти до последнего хранили верность Антонию, что теперь он их новый хозяин и гораздо больше своего предшественника заслуживает доверия и почитания.

Цезарю Октавиану исполнилось 33 года. В Самосате, где даже зимой было тепло, завершалось его предприятие, продлившееся ровно 13 лет. Тринадцать лет риска, усилий, безумных надежд и горьких разочарований. Тринадцать долгих кровавых лет, что ни день оглашаемых стонами умирающих и криками их

проклятий. Его поносили на всех языках империи, но больнее всего ранила брань, раздававшаяся на латыни.

За эти годы Цезарь потерял голос, своим мягким тембром прежде чаровавший всех, кто его слушал. Впрочем, может быть, ему и самому меньше всего хотелось говорить, когда, преследуемый своими многочисленными недугами тела и души, он часами ворочался без сна, без конца вспоминая о жестокостях, которые ему пришлось совершить? Что думал он о своих соратниках — людях, которым он во всем помогал, потому что они помогали ему, но на чей счет никогда не обманывался? Они в гораздо большей мере являли собой пережиток прошлого, нежели предвестников будущего, на которых он мог бы опереться, созидавая рисующуюся в его воображении новую жизнь.

Он пользовался всеми доступными ему средствами и никогда не обращал внимания на человеческие качества своих соратников, чтобы не сказать соучастников, неизменно продолжая оказывать им поддержку несмотря на гнусности, которые они творили. Но что он думал на самом деле о таком, например, человеке, как Луций Тарий Руф, выходец из городских низов, которого в 16 году до н. э. он сделал консулом-суффектом? Могло ли вызвать его одобрение то обстоятельство, что этот его сподвижник приобрел в Пицене собственности на 100 миллионов сестерциев?^[107] И как он относился к Ведю Поллиону, которого вытащил из сословия вольноотпущенников и возвысил до всаднического звания? Этот персонаж прославился тем, что имел обыкновение кидать рассердивших его рабов живыми на съедение муренам. Однажды Август, обедавший у Ведия, стал свидетелем того, как раб по неосторожности разбил хрустальный кубок. Ведий тут же приказал бросить несчастного к муренам. Август пытался заступиться за раба, но Ведий стоял на своем. Тогда Август попросил его принести все драгоценные

сосуды, какие имелись в доме, и, как только приказание было исполнено, принялся на глазах у хозяина разбивать один за другим. Лишь после этого Ведий Поллион скрепя сердце простил раба. Когда в 15 году до н. э. он умер, то по завещанию оставил часть своих владений Августу, в частности, имение в Павсилиппе. Он также завещал возвести в Риме от его имени величественный монумент. Август приказал срыть до основания дом, которым Ведий владел в Риме, и соорудить на этом месте портик, присвоив ему имя Ливии^[108].

По смерти Августа, когда начали раздаваться первые упреки по его адресу, среди них фигурировало и покровительство, оказываемое Ведию Поллиону^[109]. Бесспорно, этот человек являл собой один из ярких, если не самый яркий пример безнаказанности, с какой соратники Августа, пользовавшиеся его признательностью, позволяли себе роскошествовать, заноситься перед окружающими и творить жестокости. Все это, конечно, заметно вредило репутации партии, поддержавшей возвышение Августа.

Итак, перед ним встала задача строительства нового мира, и нет никаких сомнений, что некоторые из его попутчиков, особенно такие одиозные фигуры, как Ведий Поллион, превратились в серьезную помеху его планам. Но он понимал, что несмотря ни на что будет по-прежнему идти с ними на сделку, как он всегда старался идти на сделку с врагами и обстоятельствами.

Часть третья
В ЗАГЛАВНОЙ РОЛИ (29-17)

Чудо Акциума

1 января 29 года, находясь в Самосате, Цезарь в пятый раз вступил в должность консула. Месяц январь, названный в честь бога Януса, покровителя начинаний и перемен, в этом году, как, пожалуй, никогда раньше, оказался достоин своего имени. Действительно, начавшийся год ознаменовал решающий поворот в древнеримской истории. Храм Януса находился на площади Форума, и двери его, плотно закрытые в дни мира, широко распахивались во время войны. Трудно сказать, какой смысл вкладывали римляне в этот обычай: то ли считалось, что за запертыми дверями надежно укрыт мир, то ли предполагалось, что в заточении пребывает война. Как бы то ни было, 11 января, когда состоялась торжественная церемония запираания дверей храма Януса^[110], все жители города поняли, что в стране наступает новая эпоха — эпоха мирной жизни. И они с нетерпением ожидали, когда в Рим прибудет Цезарь — творец этого чуда, в которое им пока верилось с трудом.

Но Цезарь задерживался. Он в совершенстве владел искусством заставить себя ждать и хорошо понимал: пока его нет, народное воображение допишет связанные с его именем легенды в нужном ему духе. Покинув Восток, он сделал остановку в луканском городе Ателле и лечил больное горло. Здесь на протяжении четырех дней он слушал Вергилия, который читал ему — по одной песне в день — только что завершённые «Георгики». Когда голос поэта слабел, его сменял Меценат. В первый день герой Акциума узнал себя в роли божества, вдохновляющего людей на подвиги. На третий день он внимал описанию храма, который поэт

воздвиг ему в своем воображении, начертав на его вратах хвалу его нынешним и грядущим свершениям:

Изобразу на дверях — из золота с костью
слоновой —
Бой гангаридов, доспех победителя в битвах,
Квирина;
Также кипящий войной покажу я широко
текущий
Нил и медь кораблей, из которой воздвиглись
колонны;
Азии грады явлю покоренные, участь Нифата;
Парфов, что будто бегут, обернувшись же,
стрелы пускают;
Два у различных врагов врукопашную взятых
трофея,
Две на двух берегах одержанных сразу победы;
В камне паросском резец, как живые, покажет и
лица;
Ветвь Ассарака, семью, чей род Юпитером начат,
Вас, родитель наш Трос, и Кинфий, Трои
создатель!
Зависть злосчастная там устрашится фурий и
строгих
Струй Коцита, и змей ужасающих вкруг Иксиона,
Свивших его с колесом, и неодолимого
камня^[111].

Не остался в стороне и Гораций, предпочитающий, правда, более легкую форму изложения. Свою оду он начал приглашением поднять кубок с вином за победу против врага, который во главе «сброда гнусных пьяниц готовил бессмысленное разрушение Капитолия и жаждал похоронить империю». В другой оде, написанной в более высокопарном стиле, он обращался

к крылатому богу Меркурию, спустившемуся на землю в обличье юного гения, и просил его продлить свое пребывание бок о бок с народом Квирина.

Пока два величайших поэта эпохи, опекаемые Меценатом, воспевали славу Акциума и подвиги победителя, сенат спешил осыпать Цезаря Октавиана почестями, имевшими основополагающее значение для его будущей политики. На форуме вознеслась односводчатая арка, которой десять лет спустя предстояло уступить место трехсводчатой. Ее появление означало, что отныне все римское пространство неразрывно связано с именем и славой Цезаря. 16 апреля 29 года ему был присужден пожизненный титул императора, обеспечивший ему всю полноту военной власти. Наконец, он получил право отпраздновать трехдневный триумф, после которого его образ надолго остался бы в народной памяти.

За пределами Рима все заметней начала проявляться тенденция к обожествлению Августа. Сразу несколько греческих городов сменили имя и стали называться Цезарея. Заодно они ввели у себя и новый календарь, начав отсчет дней со дня битвы при Акциуме. Другие прямо пожелали поклоняться его культу, и ему пришлось согласиться, выговорив лишь одно условие — чтобы его почитали в тандеме с покровительницей Рима богиней Ромой.

Знаки небесного благорасположения продолжали сыпаться на его голову. Еще одно доказательство благоволения богов он получил вовремя краткой поездки по острову Капри. Остров принадлежал городу Неаполю, откуда в ясную погоду открывался вид на два круглых холма, разделенных низиной. Цезарь прибыл на Капри в весенний день. Во время прогулки он заметил вековой дуб, безжизненно склонивший ветви к самой земле. Стоило ему пристально взглянуть на дуб, как тот прямо на глазах ожил, встряхнул ветвями и поднялся.

Радость охватила Цезаря. Он тут же захотел получить Капри в свое владение, для чего обменял остров на соседнюю Исхию. Именно здесь впоследствии провел последние годы своей жизни Тиберий, получивший остров в наследство. Цезарь, конечно, не намеревался перебираться на Капри навсегда, но он надеялся, что позже, когда появится возможность, будет приезжать сюда на отдых. Он выстроил себе виллу напротив Соррента, где вскоре у него появилась еще одна вилла. Наверное, бродя по острову в мыслях о неотложных делах, он мечтал об отдыхе, пока ему недоступном. Эти мечты так и остались на всю жизнь лишь мечтами. Насколько нам известно, Цезарь вернулся на Капри всего один раз. Это случилось незадолго до его смерти, и провел он на острове всего четыре дня.

Возвращение в Рим

Наконец пришло время вернуться в Рим. Возможно, именно тогда он по пути завернул в Болонию, где его пригласил к обеду один из ветеранов армии Антония. Точная дата этого события неизвестна, но, впрочем, она для нас не так уж и важна; гораздо интереснее, что рассказ об этой встрече проливает свет на некоторые особенности характера нашего героя. Итак, он обедал у воина-ветерана, и разговор за трапезой зашел о цельнолитой золотой статуе, которую Антоний захватил у парфян. Цезарь поинтересовался, правда ли, что первый, кто дотронулся до статуи, немедленно ослеп и потерял способность двигаться, а вскоре за тем умер. На что сотрапезник отвечал, что в данный момент он, Цезарь, угощается обедом благодаря одной из ног статуи, потому что хозяин дома был первым, кто сумел поживиться от сокровища и все его нынешнее благоденствие достигнуто за счет этой славной добычи^[112]. В этой бытовой сценке бесследно исчезает победитель при Акциуме, герой и почти божество, и остается обыкновенный, пожалуй, даже чересчур легковверный человек, каким в глубине души и продолжал оставаться Цезарь.

В начале лета толпы римлян, возглавляемые магистратами, с помпой прошествовали к Капенским воротам, откуда ожидалось прибытие Цезаря Октавиана. Там и разыгралась незначительная, но любопытная сценка, которая дает нам представление о настроениях, царивших среди горожан. «Из толпы, явившейся с поздравлениями, выделился человек, который преподнес ему говорящего ворона, обученного произносить: «Приветствую тебя, Цезарь, император-победитель!» Весьма приятно удивленный, Цезарь купил

умную птицу за 20 тысяч сестерциев. Но тут показался еще один птицелов, которому ничего не перепало, и рассказал Цезарю, что у хозяина птицы есть еще один ворон, в точности похожий на первого. Цезарь приказал принести и его. Ворона доставили, и все услышали, как птица повторила слова, которым ее обучили: «Приветствую тебя, Антоний, император-победитель!» Цезарь ничем не проявил своего недовольства и просто велел обоим птицеловам поделить полученные деньги поровну»^[113].

Рим хотел мира, и, если бы победил Антоний, он наверняка встретил бы его не менее восторженно, нежели встречал Цезаря. Тот это прекрасно понимал и видел свою задачу в том, чтобы произвести на жителей города незабываемое впечатление. Для того и был организован трехдневный триумф, развернувшийся в настоящее представление. За годы, миновавшие после смерти Юлия Цезаря, перед глазами римлян прошел не один триумфатор, но торжества, устроенные Цезарем Октавианом 13, 14 и 15 августа 29 года, приобретали совершенно особое значение, ибо знаменовали собой окончание войн. Действительно, Рим почти на сто лет забыл о гражданских войнах^[114], хотя, как мы убедимся позже, продолжал вести войны внешнего характера.

Нелегко сегодня представить себе, как по улицам Рима, скромные размеры которого отнюдь не соответствовали носимому им гордому имени, двигались бесконечные процессии людей и животных. За трубачами и флейтистами катились повозки, доверху нагруженные захваченным у врага добром. Самую богатую добычу несли на носилках, а рядом шагали воины, державшие в руках укрепленные на высоких шестах щиты, на которых перечислялось количество трофеев, число взятых в плен солдат, названия покоренных городов и стран. Другие несли большие полотнища с изображением эпизодов самых крупных

сражений и картин с видами самых больших городов, а то и их объемные макеты. Следом тащили статуи с грустными лицами, изображавшие божества рек, протекающих в побежденных землях. Дальше шли флейтисты, за ними вели белого жертвенного быка, за быком шествовали жрецы, за жрецами снова несли трофеи. Замыкали процессию цари покоренных народов, вместе с которыми шагали и члены их семей, а уж потом вели простых пленников, закованных в цепи.

Шествие продолжалось три дня кряду, и каждый день глазам восторженных зрителей, тесно сгрудившихся с обеих сторон дороги, представало что-нибудь новое. В толпе выделялись белые тоги римских граждан, а в воздухе, оглашаемом победным гласом труб и флейт, стонами пленников, солдатскими шутками, криками продавцов воды и жареной колбасы, зычными командами ликторов, расчищавших путь кортежу, ржанием лошадей и цокотом подбитых гвоздями подошв, стоял гул, от которого возбужденные зрелищем обыватели приходили в еще большее неистовство. Над головами людей плыла тяжелая волна запахов: удушливую вонь человеческих испарений и лошадиного пота перебивал и не мог перебить аромат благовоний, курившихся на бесчисленных жертвенниках, вынесенных к дверям храмов — распахнутых ради праздника и изукрашенных гирляндами цветов.

В первый день Цезарь представил народу свои победы над жителями Паннонии и Далматии: неважно, что одержал эти победы не он сам, важно, что слава за них досталась ему. Во второй день праздновали победу в битве при Акциуме, к которой он также почти не приложил рук. Его личное участие в покорении Египта, которому посвятили третий день триумфа, было более существенным, и пышность торжеств в этот день превзошла все виденное ранее. Поражало не только

богатство добычи, захваченной в Египте. Огромное впечатление произвело на толпу пронесенное над городом изображение Клеопатры. Египетская царица сделала все, чтобы избежать этого позора, но он настиг ее и после смерти. Большинство римлян никогда в жизни не видели Клеопатры, и теперь с недоумением взирали на портрет царицы, увенчанной всеми знаками фараоновской власти. Тут же шли и дети Клеопатры и Антония — близнецы, мальчик и девочка. Мальчика звали Александром, девочку — Клеопатрой, но родители дали им и вторые имена. Сына они нарекли Гелиосом, что значит Солнце, а дочь — Селеной, что значит Луна. Им едва исполнилось по 10 лет, и пораженные жители Рима в тот пылающий августовским зноем день наблюдали двойное затмение — и солнца, и луны ^[115].

Лишь на третий день народу явился сам триумфатор, предшествуемый ликторами. Он восседал в колеснице, украшенной по бокам барельефами из слоновой кости. Поверх туники, расшитой пальмами, на нем была надета вышитая тога, голову венчало пышное сооружение из лавровых листьев, собранных в саду его загородной виллы. В руках он держал скипетр с фигурой орла. За его спиной стоял раб, поддерживая над его головой золотой венец. Раб нашептывал триумфатору, что он не должен забывать, что он — всего лишь человек, что вечером, когда торжество закончится, ему придется вспомнить, что он вовсе не Юпитер, хоть и играет его роль. Но слышал ли Цезарь эти слова?

Колесницу тянули вперед две белые лошади. На правой сидел верхом сын Октавии Марцелл, на левой — сын Ливии Тиберий. Оба юноши, почти ровесники, считались родственниками, ибо принадлежали к фамилии Цезаря. За колесницей триумфатора пешком шли сенаторы и магистраты, что являлось отступлением от традиции, поскольку обычно сенаторы возглавляли шествие. Изменение в порядок процессии внес сам

Цезарь, во что бы то ни стало стремившийся подчеркнуть главенствующее положение руководителя государства, а также пожелавший, чтобы представители республиканских институтов оказались между ним и замыкавшими шествие победоносными легионами, которые вели увенчанные лаврами командиры.

Вместе с жителями Рима за торжественным зрелищем триумфа пристально наблюдали летописцы, но ни те ни другие не догадались взглянуть на официальную трибуну, где сидели Ливия и Октавия, и по лицам обеих женщин попытаться понять, какие чувства ими владели. Неужели при виде колесницы триумфатора Ливию не охватил горделивый восторг от сознания того, что она — жена Цезаря? Или она, больше мать, чем супруга, ревниво сравнивала, кто выглядит лучше — ее сын или Марцелл? А Октавия? На кого глядела она, не отводя глаз — на двух юных всадников или на портрет Клеопатры? Она, конечно, никогда не встречалась в жизни с женщиной, на руках у которой скончался ее муж. И какие мысли бродили в ее голове, когда перед ней проходили двое из троих рожденных этой женщиной ее мужу детей — униженные, но живые?

Начало великого замысла

Повествуя о событиях 29 года, Дион Кассий делает пространное отступление, посвященное изложению двух речей о сущности нового режима, обращенных к Августу Агриппой и Меценатом^[116]. У нас нет никакой уверенности ни в том, что эти речи действительно были произнесены, ни в том, что и Агриппа, и Меценат придерживались каждый настолько ясно сформулированных и в то же время взаимоисключающих идей о будущем государства, как это излагает историк. Не исключено, что Дион Кассий просто поддался вполне естественному искушению «столкнуть лбами» потомка этрусских царей и италийского выскочку. Как бы там ни было, тема оставалась актуальной и обсуждалась именно в том ключе, какой избрал для своего рассказа Дион Кассий. С другой стороны, нам кажется вполне правдоподобным, что Цезарь часто советовался с двумя своими самыми старыми соратниками и дорожил их мнением, тем более что один из них был искусным дипломатом, понаторевшим в ведении закулисных переговоров, и тонко чувствовал общественное мнение, а другой — выдающимся стратегом, хорошо осведомленным о настроениях в армии. Таким образом, обе речи представляют собой литературный синтез многочисленных разговоров, которые вели между собой и с другими собеседниками все три деятеля.

Выбор перед Цезарем стоял простой — восстановление республики или установление монархии. Дион Кассий доверил Агриппе защиту республиканского режима, а Меценату досталась поддержка второй точки зрения.

Итак, Агриппа выступил в роли убежденного республиканца. Головокружительная карьера, которая

вознесла этого человека к вершинам почестей, власти и богатства, заставляет нас с изрядной долей скепсиса отнестись к искренности его заявлений. В противном случае нам пришлось бы признать за ним свойства, роднящие его с Бернадотом^[117]. Неужели Агриппа был из тех, кто, сам без пяти минут царь, всю жизнь прячет на плече вытатуированный призыв «Смерть тиранам»? Впрочем, вопрос о политических взглядах Агриппы носит второстепенный характер, главное, что в приписываемой ему речи нашли выражение убеждения части римской общины. Дион Кассий, сознавая, что читателю будет трудно поверить в честность Агриппы, заставляет его предварить свою речь следующим вступлением:

«Пусть тебя не удивляет, Цезарь, что я стараюсь отвлечь твои мысли от монархии, хотя лично мне такой поворот сулит большие выгоды, во всяком случае, при условии, что титул монарха достанется тебе. Если бы этот строй был так же выгоден и тебе, я со всей серьезностью советовал бы тебе его принять. Но в том-то и дело, что преимущества, которые получают от монархии ее глава и его друзья, далеко не равны. Главе достается зависть и связанные с ней опасности, а его друзья, которым никто не завидует и ничто не угрожает, собирают пышный урожай всех мыслимых льгот и привилегий. Вот я и подумал, что мой долг — исходить в этом вопросе, как и во всех прочих, не из личных интересов, но из интересов государства и твоих собственных».

После такой подготовки Агриппа переходит к защите республиканского строя, который не только гарантирует равенство всем гражданам, но и, что самое важное, является антиподом тирании — худшего из зол, которое неизбежно ожидает не только страну, отдавшуюся во власть одному человеку, но и самого этого человека,

вынужденного помимо собственной воли творить жестокости.

К прямо противоположным выводам приходит в конце своей длинной речи Меценат, набрасывая в общих чертах контур зарождающегося принципата:

«Убедись же в разумности этих и прочих советов, которые я тебе дал, послушай меня и не предавай фортуны, избравшей тебя и вознесшей над всеми. Если же, на деле признавая монархию, ты опасаясь носить ненавистное звание царя, откажись от него и довольствуйся тем, что станешь единовластным правителем под именем Цезаря. Если тебе все же хочется иных титулов, тебя станут величать императором, как величали твоего отца; к твоему имени добавят какое-нибудь торжественное прозвище, и ты будешь пользоваться всеми преимуществами власти царя, не нуждаясь в его подлом имени».

Итак, слово произнесено, и цель четко обозначена: необходимо стать царем, не называясь им, и завершить дело, начатое Юлием Цезарем, не рискуя погибнуть из-за проклятого звания. Далее Меценат переходит к изложению соображений по существу вопроса:

«Дела получают должное руководство, ибо перестанут быть всеобщим достоянием и служить предметом широких споров; интриги партий и опасная игра честолюбий утратят свой смысл. Мы сможем в свое удовольствие пользоваться принадлежащими нам благами, не ввязываясь ни в рискованные войны, ни в грязные мятежи. Ведь именно в том и состоит беда всякой демократии, что самые имущие граждане, стремясь к первым ролям и держа более бедных, во все привносят смуту. Мы пережили немало подобных несчастий и знаем, что иным путем противостоять им нельзя».

Помимо советов политического характера Цезарь Октавиан выслушивал и философские рассуждения

Афинодора. Этот человек находился рядом с ним давно, со времен его юности, но если в дни войны Цезарю было не до философии, то теперь, когда установился мир, он снова обратился к наставлениям учителя. В силу своего преклонного возраста и давнего знакомства с Цезарем Афинодор мог позволить себе говорить все, что думает, и нередко бранил своего бывшего ученика за легкомысленное поведение. Сохранился анекдот, который приводит Дион Кассий (LVI, 43, 2). Мы помним, что Цезарь Октавиан имел слабость к женскому полу. Однажды он ожидал свидания с одной из своих любовниц, которая должна была проникнуть к нему в дом через потайную дверь. Вскоре прибыли носилки, в которых восседала закутанная в густую вуаль фигура. Не успел Цезарь обрадоваться прибытию гостьи, как из носилок, потрясая мечом, выскочил Афинодор. «Ты не боишься, — вскричал он, обращаясь к ошарашенному Цезарю, — что вот так же к тебе может явиться убийца?» Цезарь не только не впал в гнев, но и поблагодарил философа за полезный урок.

Но Афинодор не ограничивался в своей деятельности духовным наставничеством, разрабатывая и политические идеи. Размышляя о беспокойствах, заставляющих людей волноваться по пустякам, он в качестве рецепта предлагал им заняться политической деятельностью, которую определял следующим образом:

«Есть люди, которые проводят целые дни, подставляя свое тело солнцу, тренируя его, заботясь о нем. Что может быть полезнее для атлета, чем с утра до вечера наращивать свою физическую силу и тренировать свои мускулы, ведь этому занятию они посвятили свою жизнь? Но и мы, готовящие свою душу к жизни в гражданской общине, не сможем лучше употребить свое время, нежели целиком посвятив его решению избранной нами задачи. В самом деле, тот, кто

поставил перед собой цель быть полезным согражданам и всему человечеству, не найдет лучшего способа преуспеть и усовершенствоваться в этом, чем с головой уйти в работу и по мере своих способностей служить общим и частным интересам»^[118].

Сравнение политической деятельности со спортом не отличается оригинальностью, как не отличалась оригинальностью и система философских взглядов Афинодора, однако напоминание некоторых общих мест о связи политики с моралью наверняка принесло его ученику определенную пользу. В то же время Афинодор советовал не принимать участия в общественной жизни, подвергая опасности целостность своей добродетели, и восхвалял ученый досуг, служащий общим интересам. Иными словами, он выбрал для себя роль советника при тех, кто обладал государственной властью. Он учил, что можно быть полезным республике, не только «выдвигая кандидатов, защищая обвиняемых, решая вопросы войны и мира», но и побуждая молодежь отвратиться от порока и обратиться к практической добродетели.

Наконец, он сурово осуждал суету, заставляющую людей «строить одно, разрушать другое, плыть против течения, поворачивать реки и бороться с преградами на суше, понапрасну расходуя время, которое природа велит нам тратить с пользой». Возможно, в перечислении мероприятий, которые служили мишенью для критики многих моралистов того времени, в частности, Саллюстия и Горация, содержался намек на гигантские проекты Юлия Цезаря, намеревавшегося повернуть вспять течение Тибра, чтобы расширить центральную часть Рима, осушить Помптинские болота и прорыть сеть каналов, и приказавшего разрушить почти полностью достроенную виллу, не оправдавшую его ожиданий. Поскольку Август не стал воплощать в жизнь ни один из этих фантастических замыслов, логично предположить, что уроки философа не прошли для него

бесследно. Это же подтверждает его явная склонность и умение ценить досуг.

После победы при Акциуме Афинодор стал требовать отставки. По всей видимости, он сопровождал бывшего ученика в поездке по Египту, но теперь, когда война завершилась, мечтал вернуться домой. В качестве прощального подарка он преподнес Цезарю Октавиану последний совет: в минуты гнева, учил он, прежде чем предпринять что бы то ни было, произнеси про себя весь латинский алфавит. Но Цезарь задержал его возле себя еще на год, используя в качестве довода греческий стих: «Молчание — вот самая безопасная награда»^[119]. Затем он позволил ему уехать в Тарс, наделив значительной властью над согражданами.

Эстафету Афинодора принял Арий, с которым Цезарь познакомился в Александрии. Там же он впервые встретился с его сыновьями Дионисием и Никанором и еще одним философом, Ксенархом, скорее всего, приверженцем школы стоицизма.

Все это говорит о том, что в тот момент, когда Цезарь закладывал решающие основы своей власти, он находился под влиянием философских учений — может быть, не высшей пробы, но зато понятных и легко приложимых к практике. Похоже, что беседы с «придворными» философами наложили определенный отпечаток на его деятельность политика, но еще более вероятно, что они стали для него источником моральных сил, необходимых, чтобы нести бремя власти.

В том же 29 году Цезарь предпринял несколько акций с целью просветить политические круги относительно своих намерений. Первой из них стало сооружение на Марсовом поле его усыпальницы, которую он назвал мавзолеем — по примеру самой известной в античном мире могилы карийского царя Мавсола. Этот жест, выдержанный в духе всей проводимой им прозападнической политики, означал,

что в отличие от Антония, повелевшего похоронить себя в египетской Александрии, он, Цезарь, желает покоиться после смерти только в Риме. Следовательно, Рим навсегда останется столицей империи, и она не будет перенесена ни в Александрию, ни в Трою, как планировал Юлий Цезарь. Но за предпринятым Цезарем шагом крылся и еще один, более глубокий смысл. Мавзолей Цезаря, руины которого еще и сегодня можно видеть на берегах Тибра, представлял собой круглый курган, очень похожий на «небольшой холм, со всех сторон окруженный деревьями, высаженными через равные промежутки»^[120]. Именно так выглядела могила, в которой латиняне захоронили прах Энея. Мало того, ее вид будил в памяти и этрусские захоронения. Таким образом, Цезарь дал ясно понять, что его усыпальница будет выдержана в духе италийской традиции, но в то же время будет напоминать могилу Александра Македонского, которую он совсем недавно посетил в Александрии. Как видим, в этом памятнике, будящем мысли и о восточном царе, и об основателе римской державы, и о великом завоевателе эллинистического мира, переплелись достаточно противоречивые тенденции. Можно сказать, что в эскизной форме в нем запечатлелся образ всей дальнейшей деятельности Августа.

В тот же год завершились начатые 10 лет назад работы по реконструкции римского Форума, и Цезарь торжественно открыл новую курию, получившую название Юлиевой, и отдал здание сенату. Одновременно состоялось открытие храма, посвященного обожествленному Юлию Цезарю — обет построить такой храм Цезарь Октавиан дал еще в 42 году. Отныне римский Форум стал походить на агору эллинистического города^[121]. Имя Цезаря Октавиана, выбитое на каждом из двух сооружений, ежедневно

напоминало благодарным жителям города, что красотой площади они обязаны сыну Юлия Цезаря.

Гражданские войны нанесли немалый урон патрициату, ряды которого заметно поредели, и в 29 году Цезарь внес в списки патрициев несколько новых знатных фамилий. По всей видимости, эта мера позволила ему возобновить некоторые старые связи, а также послужила возрождению ряда старинных культов, в которых участвовали патриции.

В новой курии стал заседать и новый сенат. В течение 28 года консулы Цезарь и Агриппа получили дополнительные полномочия, прежде принадлежавшие цензорам. Это позволило им провести перепись населения, первую после 40-летнего перерыва, и выверить списки сенаторов. Выяснилось, что начиная с прихода к власти Юлия Цезаря и за годы гражданских войн ряды сенаторов чрезмерно разрослись за счет лиц, проникавших в них вопреки всем правилам. Если в 80-е годы, во время правления Суллы, число сенаторов не превышало шестисот человек, то теперь их насчитывалось уже около тысячи. Цезарь и Агриппа сумели «очистить» сенаторские ряды от 190 человек, и легко догадаться, что эти люди не относились к числу их друзей. Новый сенат удостоил Цезаря звания «первого в списке сената» (*Princeps senatus*), прежде присваиваемого только бывшим диктаторам и цензорам^[122]. Именно этот титул послужил Цезарю, уже ставшему Августом, основанием его власти. От него же происходит и слово «принципат», лучше всего определяющее систему его правления, хотя форму политического режима принципат обрел лишь после его смерти. В целом все эти мероприятия играли роль подготовки к великим преобразованиям, наступившим в следующем году.

Аналогичную роль сыграло и открытие храма Аполлона, воздвигнутого на Палатинском холме. Цезарь

покаялся построить этот храм в 36 году, после победы в битве при Навлохе, и выбрал для него место по соседству с домом, в котором жил сам. В день открытия храма Проперций, опоздавший на свидание, набросал такую записку с извинениями:

«Ты спрашиваешь меня, почему я заставил себя ждать? Великий Цезарь только что открыл Золотой портик Феба. Представь себе пунические колонны, меж которыми изображены дочери старого Даная. Что за великолепное зрелище! Я своими глазами видел мраморного Феба, более прекрасного, чем бог, с еще молчащей лирой и приоткрытым ртом, готовым запеть. Вокруг жертвенника теелятся, как живые, изумительной красоты скульптурные быки работы Мирона, числом четыре. В центре возвышается сверкающий мрамором храм — более дорогой Фебу, чем его родная Ортигия. На вершине храма стоит солнечная колесница; на вратах, изукрашенных шедеврами резьбы по ливийской [\[123\]](#) слоновой кости, с одной стороны видишь галлов, спешащих вниз с вершины Парнаса, с другой — погруженную в печаль дочь Тантала в траурных одеждах [\[124\]](#). Наконец, и сам бог, Аполлон Пифийский, стоит между матерью и сестрой. Он в длинном одеянии и изображен поющим» [\[125\]](#).

За триумфальной аркой, которую поддерживали статуи Аполлона и Артемиды работы Лисия, находилось внутреннее святилище, а за ним — портик храма. Он представлял собой музей, в котором между колонн из желтого с красными прожилками нумидийского мрамора располагались скульптурные изображения пятидесяти данаид; центральную часть площадки занимали 50 конных статуй их мужей. Кроме четырех коров работы Мирона, упоминаемых поэтом, здесь же был и Геркулес — копия скульптуры Лисиппа. Одна из створок ворот, инкрустированных слоновой костью, представляла историческое переложение темы гигантомахии и

напоминала о набеге галлов на Дельфы в III веке до н. э.; вторая створка изображала наказание возгордившейся Ниобеи. Таким образом, храмовые ворота несли одновременно и историческую, и культурную смысловую нагрузку, как, например, ворота храма Аполлона в Кумах, описанные Вергилием в «Энеиде» (начало песни VI). Август, он же новый Эней, читал здесь и величие своей судьбы, и опасность переоценки. Наконец, целлу^[126] украшали статуи Аполлона, Артемиды-Дианы и их матери Лето-Латоны^[127], выполненные греческими мастерами. Здесь же находились скульптуры девяти Муз и хранились сокровища: самоцветы, пожертвованные сыном Октавии Марцеллом, золотые треножники, подаренные Августом, и светильник, который Александр перенес когда-то из Фив в храм Аполлона в Киме. Все это великолепие венчали статуи, изваянные любимыми скульпторами Августа Бупалом и Афинием Хиосским, установленные на крыше храма.

Пышность храма служила выражением благодарности богу за помощь, оказанную в Акции, и превращала ту часть Палатина, где жил Цезарь, в священное место. Все было готово к освящению его власти. Оставалось совершить решающий шаг, что и было сделано в два январских дня 27 года.

Январь 27 года

«Во время шестого и седьмого консулата, покончив с гражданскими войнами и с общего согласия став верховным владыкой мира, я передал государственную власть в управление сенату и римскому Народу. За это сенат удостоил меня звания Августа, украсил двери моего дома лаврами и прибил на моих воротах венок из дубовых листьев. В Юлиевой курии поместили золотой щит с надписью, гласившей, что он пожалован мне сенатом и римским Народом за мою доблесть, мое милосердие, мою справедливость и мое благочестие. С этого дня я стал для всех высшим авторитетом, но никогда не располагал властью большей, чем власть прочих магистратов, моих коллег»^[128].

В этих строках Август вспоминает дни 13 и 16 января 27 года, которые стали самыми значительными в его жизни. 13 января, в седьмой раз торжественно вступая в должность консула, он произнес перед сенаторами длинную речь. Дион Кассий воссоздает эту речь, следуя внутренней логике всей его деятельности, и мы убеждаемся, что Цезарь, стремясь установить режим, рекомендованный ему Меценатом, воспользовался некоторыми советами Агриппы. Так, во вступлении, по версии историка, он изложил несколько видоизмененную мысль, заимствованную еще Саллюстием у Фукидида (LVI, 3, 1):

«Я убежден, что многим из вас, сенаторы, сделанный мною выбор покажется невероятным. Никому из тех, кто меня слушает, не понравится, что кто-то другой сделает то, что сам он ни за что не пожелал бы сделать, в первую очередь, потому, что каждый с завистью относится к человеку, в чем-то его превосходящему, а оттого склонен с недоверием воспринимать любой

поступок, стоящий выше его собственных возможностей».

Этот невероятный поступок, в реальность которого, как показали дальнейшие события, действительно верилось с трудом, поступок, выходящий за рамки обычной человеческой посредственности, поступок, узаконивший положение Цезаря как принцепса за счет его морального превосходства, заключался — не больше и не меньше — в передаче сенату всей полноты власти, иными словами, в восстановлении республики.

Переворачивая страницу истории, Цезарь так объяснил свои действия:

«Я передаю вам все свои полномочия, поручаю вашей власти все, все без исключения: армию, законы, провинции — и не только те, что вы передали мне в управление, но и те, что я своими силами завоевал для вас. То, что я делаю, послужит вам доказательством, что даже в начале я не стремился ни к какой власти, что единственным моим побуждением было отомстить за безжалостно убитого отца и спасти государство от жестоко терзавших его бед».

Итак, Цезарь ясно обозначил роль, которую играл на протяжении последних шестнадцати лет: он мстил за отца и спасал государство. Мы, конечно, не знаем, насколько тщательно сыгранная сцена была отрепетирована заранее, но то, что «режиссер» изрядно поработал над ней, не подлежит сомнению. Преодолев первую растерянность, новый состав сената отказался принять предложенную власть.

В конечном итоге все сошлись на компромиссе. Цезарь получил полномочия проконсула, правящего провинциями, в которых стояли римские войска, сроком на 10 лет. Сенат распорядился остальными, то есть все осталось примерно так, как было во времена республики. Подтверждение этих полномочий Цезарь получал каждые 10 лет, вплоть до своей смерти. Что

касается Египта, который считался его личным завоеванием, то эта страна получала особый статус и подчинялась непосредственно Цезарю. Таким образом, его власть не только не уменьшилась, но и возросла. В результате компромисса ему досталась власть над армией, и его превосходство опиралось теперь на военную силу.

16 января сенат снова собрался на заседание. Он удостоил Цезаря почестей, перечисление которых фигурирует в приведенном выше отрывке из «Деяний». Отныне Гай Юлий Цезарь Октавиан исчез, уступив место Августу. Эпитет «augustus», заимствованный из религиозного словаря, где он использовался для определения поступков, совершаемых при благоприятных предзнаменованиях, происходил из того же корня, что и глагол «augeo» (увеличивать), существительные «augur» (авгур, то есть жрец, толкующий предзнаменования), «auxilium» (помощь), «auctor» (гарант, образец, вдохновитель, основатель) и «auctoritas» (гарантия, власть, влияние). Все эти значения воплотились в имени Августа, наделяя его носителя способностью находить наилучшее решение любой проблемы, превращая его в олицетворение наилучшего ответа на любой вопрос и живую аллегория принципа роста.

Неудивительно, что он предпочел это прозвище имени Ромула, которое ему предлагали взять и которое он, подумав, отверг. Разумеется, он мог считать себя вторым основателем Рима, но, как и первый, убивший своего брата, он пролил немало римской крови и совсем не хотел, чтобы память об этом преследовала его всю жизнь.

Веря в силу слов, отныне Август мог забыть о необходимости доказывать окружающим свое превосходство, довольствуясь весом своего авторитета. На самом деле он обладал вполне реальной властью,

точное определение которой дал Дион Кассий (LIII, 28, 2): «Сенат дал клятву одобрять все его начинания, освободил его от всякого подчинения закону, так что, во всем следуя исключительно своей воле, он стал хозяином самому себе и мог распоряжаться законами; он получил право делать все, что ему заблагорассудится, и не делать ничего, что ему не нравилось». Политический маневр, необходимость которого диктовалась дальнейшим ходом истории, удался на славу. До этих пор власть Цезаря целиком зависела от конъюнктуры; чтобы придать ей устойчивый характер, он должен был сложить ее с себя, а затем получить вновь, но уже в другом качестве — свободной от гнета внешних обстоятельств.

Вручение золотого щита подтверждало, что свое высокое положение он заслужил благодаря исключительным добродетелям. В музее Арля хранится мраморная копия этого щита, на котором выбиты такие слова:

«Сенат и римский Народ [посвящают] императору Цезарю Августу, сыну обожествленного [Юлия Цезаря], восьмикратному консулу этот щит воинской доблести, милосердия, справедливости и почитания богов и родины».

Четыре перечисленные добродетели являлись обязательными и для республиканских императоров. Первая из них, по-латински называвшаяся *virtus*, происходила от слова *vir* (муж) и обозначала совокупность качеств, отличающих «мужа», в том числе храбрость, поставленную на службу моральным принципам. В случае Августа под этой доблестью понималась главным образом воинская отвага, благодаря которой он одержал свою главную победу, ставшую основанием его власти. Официальное признание за ним этого качества позволило придать победе мистический смысл. В сохранившихся

барельефах той эпохи можно часто видеть аллегорическое изображение этой победы, венчающей принцепса славой. Но победа неотделима от мира, и эта мысль стала второй темой, которую без устали пропагандировали официальная идеология и официальное искусство.

Между тем во времена мира необходимы и другие добродетели, прежде всего милосердие и справедливость. Август, чья жестокость заслужила всеобщее осуждение, после победы вел себя чрезвычайно снисходительно, — откровенно говоря, ему и не оставалось ничего другого, если, конечно, он не хотел властвовать над пустыней. Он простил сторонников Помпея и Антония, пригласил их к себе на службу и в дальнейшем не держал на них никакого зла.

С милосердием тесно смыкается другая добродетель — справедливость, которая предполагает, что принцепс, играя на земле роль Провидения, каждому воздает по его заслугам. Но способность карать и миловать без субъективности немислима без уважения к человеческим и божественным законам, которое и составляет сущность благочестия.

Кроме воплощения четырех добродетелей щит имел и символическое значение, превращая Августа в бесспорного защитника всех человеческих и божественных ценностей и борца против всего, что им угрожало. Август сам как бы становился щитом империи. Позже Вергилий придаст такое же важное символическое значение щиту Энея, выкованному Вулканом, перенеся его из сферы войны, эмблемой которой он является, в сферу политической морали.

подавляющее большинство римских граждан согласились признать власть Августа, да и был ли у них другой выход? Меньше чем через 100 лет после этих событий Сенека написал, что Рим, истерзанный гражданскими войнами и мучимый внутренними

раздорами, вернулся к правлению одного человека, как старик впадает в младенчество. Утратив свободу, которую защищали Брут и Кассий, он стал стремительно стариться и уже казался неспособным передвигаться без опоры на старческий посох^[129]. Таким старческим посохом и стала монархическая власть, заботливо подхватившая под руку впавшего в детство старика, в которого превратился Рим. При всей суровости приговора следует признать, что так же думали многие современники Августа, которые, не обладая психологической проницательностью Сенеки, просто говорили, что Рим переживает упадок и для его спасения необходим ниспосланный провидением человек.

Тацит с предельной сухостью излагает эту точку зрения: «В интересах мира пришлось доверить всю полноту власти одному человеку». Он же пишет: «Не осталось иного средства покончить с раздорами в стране, кроме единоличного правления»^[130].

Даже самый яростный защитник республики Цицерон признавал, что она нуждалась в человеке, которого он называл принцепсом и определял как «опекун и оплот государственной власти»^[131]. Из этих высказываний можно понять, чего ожидали от такого человека: что он спасет государственные институты и силой своего авторитета будет служить арбитром в опасных конфликтах. Но это была лишь «приманка», потому что на самом деле Рим нуждался в правительстве, которое смогло бы управлять не только Римом, но и миром, ибо прежние республиканские институты доказали свою полную неспособность справиться с управлением империей.

Пожелания Цицерона и тексты Сенеки и Тацита разделяет более ста лет, на протяжении которых истинная сущность режима Августа проявилась во всей своей красе. Если в 30-е годы до н. э. большинство

народа выражало готовность призвать на помощь принцепса, то мысль об установлении монархии, слишком тесно ассоциирующейся с тиранией, претила многим римским гражданам. Поэтому в политическом словаре Августа фигурируют формулировки, принадлежащие Цицерону. Так, Август утверждал, что все отличие власти принцепса от власти прочих магистратов заключается лишь в его авторитете, признаваемом всеми. Именно это имел он в виду, когда предлагал сенату забрать всю власть, выступая в роли реставратора республики.

Но все это, конечно, была лишь видимость, и на самом деле Август намеревался установить монархию — режим, хоть и проклинаемый вслух, но имевший своих сторонников. Например, эпикурейцы, которых в ближайшем окружении Августа представлял Меценат, считали, что спасти государство от развала способен только мудрый монарх. Они верили, что благодаря такому исключительному человеку в стране наступит мир, в котором они вкусят блаженство, занимаясь философией. Последователи учения Пифагора дали более точное определение власти «хорошего» царя: он должен командовать армией, творить правосудие и почитать богов. «Вначале он приводит вселенную в соответствие с принципами гармонии и единоначалия, — учили они, — а затем согласно с этими же принципами настраивает все ее части, до последней мелочи. Царь творит власть, не подчиняясь никому, он сам — живой закон, и поэтому среди людей он подобен богу»^[132]. Даже стоики не отвергали категорически идею монархии, при условии, что в роли монарха будет выступать мудрец.

Такие идеи носились в римском воздухе той поры, и содержащиеся в них противоречия отнюдь не облегчали стоявшей перед Августом задачи, тем более что люди, входившие в его ближайшее окружение,

придерживались далеко не одних и тех же взглядов. Неизвестно, какие идеи исповедовала Ливия, но ее младший сын Друз, которому в ту пору едва минуло 12 лет, впоследствии высказывал сожаления об исчезнувшей республике. Не исключено, что похожие мысли владели и Тиберием, хотя он и не решался произнести их вслух. Наконец, кто может знать, что думал по этому поводу сам Август, укрепляя власть, не только внешними признаками напоминая монархию?

Пока шли поиски ее окончательной формы, он старался внушить окружающим идею о мистической сущности своей власти. 17 января он видел сон, в котором Тибр вышел из берегов и затопил нижнюю часть города, ставшую судоходной. Это явление и в самом деле повторялось в Риме едва ли не каждый год, однако тот факт, что Август увидел его во сне именно в эту ночь, означал, по мнению прорицателей, что его ждет господство над всем городом^[133].

Значительная часть граждан с восторгом приветствовала эту сверхъестественную власть. Однажды на заседании сената некий плебейский трибун, по обычаю иберов, дал обет самопожертвования в пользу Августа. Смысл обета заключался в том, что человек добровольно приносил свою жизнь в жертву потусторонним силам в обмен на жизнь, здоровье или удачу принцепса. В древности к такому обету прибегали во время войны, когда кто-либо, как правило, полководец, жертвовал свою жизнь в обмен на победу. Этот обычай в старину бытовал и в Риме, хотя наибольшее распространение получил у самнитов и осков. Но он давно вышел из употребления не только в Риме, но и среди остальных италийских народов и сохранился только в Иберии. Очевидно, там и познакомился с ним трибун во время одной из испанских войн. Август решительно отверг жертву, однако трибун вышел на улицу и призвал горожан последовать его

примеру, что многие из них и сделали. Мы не знаем, какое впечатление произвело это выступление на Августа. Может быть, он в очередной раз выступил его режиссером, а может быть, испытал искреннее удивление, если не шок, при виде людей, готовых отдать жизнь за его благополучие, но в дальнейшем, когда ему случалось болеть и находились люди, приносившие ради его выздоровления такой же обет, поправившись, он никогда не требовал от клявшихся его исполнения. Возможно, это и не заслуживало бы упоминания, если бы позже в аналогичной ситуации Калигула не заставил покончить с собой некоего неосторожного римлянина, уверенного, что самопожертвование — не более чем красивое слово^[134].

Превосходство Августа больше не вызывало сомнений, однако игра еще не закончилась. Он понимал, что далеко не все поверили в искренность его намерения восстановить республику. Тогда же он придумал одну уловку, которой впоследствии многократно пользовался. Уловка заключалась в том, чтобы в подходящее время исчезнуть с глаз своих противников. Выгод такой ход сулил немало. Во-первых, складывалось впечатление, что принцепс вовсе не контролирует денно и нощно всю политическую жизнь Рима, хотя каждый понимал, что помощники, чаще всего Агриппа или Меценат, правившие страной в его отсутствие, распоряжались от его имени. Во-вторых, Август демонстрировал, что его живо волнует положение дел в провинциях, а заодно не давал жителям последних забыть свой образ. Наконец, его отъезд из Рима снимал накопившееся здесь напряжение; вдали от города он превращался в абстрактную фигуру, очищенную от недостатков. В 27 году к этим соображениям общего порядка добавилось еще одно, более конкретное. Август почувствовал, что

настала пора увенчать себя личной военной славой,
которой до сих пор ему решительно не хватало.

Война в Испании

Испания к этому времени почти целиком покорилась Риму. Исключение составляла область, соответствующая нынешней Каталонии и населенная воинственными племенами кантабров и астурийцев. В 26 году Август решил лично заняться их усмирением, впрочем, заручившись участием самых надежных своих помощников. В этом походе, растянувшемся на несколько месяцев, характер Августа проявился с неожиданной, чтобы не сказать больше, стороны. Талант военного стратега в нем так и не проснулся; почти всю кампанию он безвылазно просидел в Тарраконе, где его войско стояло на зимних квартирах. Сюда и пришла к нему весть о капитуляции сразу нескольких кантабрийских поселений. Он немедленно отправился на место и, пользуясь правом победителя, стал наводить здесь свои порядки. Жителей гор он переселил на равнину, взял заложников, часть населения обратил в рабство, а захваченное добро пустил в продажу. Повествующий об этом подвиге историк Флор (II, 33) даже не пытается скрыть иронии:

«Сенат решил, что дело достойно лавров и триумфальной колесницы, но Цезарь к этой поре достиг такого могущества, что слава триумфатора его больше не прельщала».

О подвигах Августа в астурийской кампании историки и вовсе предпочли умолчать. Зато известно, что во время похода на кантабров он принял участие в ночном переходе, правда, лежа в носилках. В ту ночь разыгралась страшная гроза, и один из ударов молнии попал в раба, который шел перед носилками Августа, освещая дорогу факелом. Август не пострадал и в благодарность небесам пообещал воздвигнуть храм в

честь Юпитера Громовержца. Этот эпизод лишний раз доказывает, что он умел любое, даже самое неприятное происшествие, обращать себе на пользу. Новый храм, освященный 1 сентября 22 года, дань суеверному ужасу перед могущественным богом, вознесся на Капитолийском холме, по соседству с храмом Юпитера Капитолийского, и служил римлянам напоминанием о высоком покровительстве, под сенью которого пребывал богобоязненный Август.

Впрочем, за этой внешней и вполне предсказуемой реакцией крылся настоящий шок, который пришлось пережить Августу. С этой поры он стал панически бояться грома и молнии и постоянно носил с собой тюленью шкуру (считалось, что молния никогда не поражает тюленей), а с первыми раскатами грозы спешил укрыться в подземном убежище, чтоб не видеть и не слышать, как беснуется стихия (Светоний, ХС). Образ владыки мира, дрожащего от страха под тюленьей шкурой, выглядит достаточно нелепо и, по мнению Светония, свидетельствует о недостатке мужества в душе Августа, хотя, на наш взгляд, он заслуживает скорее сочувствия, чем насмешки. Пятьдесят лет носить на своих плечах бремя ответственности за огромную империю, представлять перед людьми земным воплощением Юпитера и в то же время по-человечески бояться грозы — согласимся, это своего рода героизм.

Не меньшего героизма требовала от него, человека мятущейся души, необходимость постоянно носить на лице маску уверенного спокойствия. Осознанные честолюбивые помыслы и потаенные тревоги нередко превращали его ночи в кошмар. Не слишком страшные, а просто странные сны он пересказывал близким. Так, однажды ему приснился Юпитер Капитолийский. Он жаловался, что с тех пор, как по соседству с ним «поселился» Юпитер Громовержец, его стали почитать

меньше. На это Август отвечал, что всего лишь хотел обеспечить его привратником. Проснувшись, он решил установить на крыше храма Юпитера Громовержца колокольцы, какие вешают на двери дома. В другой раз увиденный сон побудил его вернуть Эфесу статую Аполлона работы Мирона, когда-то увезенную из города Антонием^[135].

Еще более удивительными последствиями сопровождался другой сон Августа, после которого он взял за правило раз в год пешком обходить улицы Рима, выпрашивая подаяние. Следует заметить, что вид принцепса-побирушки вовсе не ввергал римлян в изумление, какое наверняка испытал бы каждый из нас, узнай он в уличном нищем президента республики. Карнавальные превращения составляли часть их жизни. Например, во время Сатурналий рабы менялись ролями со своими хозяевами. Кроме того, в сознании людей той эпохи жил постоянный страх сглаза, подстерегавшего счастливых. Не менее суеверный, чем его современники, Август раз в год добровольно перевоплощался в одного из самых обездоленных своих подданных, заклиная таким образом судьбу. Но и это еще не все. В этом символическом жесте нашла реальное выражение архаичная концепция власти, основанная на идее обмена: отдавая что-то одно, получаешь взамен другое. Возможно также, здесь присутствовала, но только в качестве вспомогательной, идея стоиков о равенстве людей перед миропорядком. И Август на один день в году добровольно отрекался от своего земного величия, чтобы выставить напоказ слабость своей человеческой природы. Вместе с тем в этом жесте, не имеющем ничего общего с самоуничижением Христа перед бедняками, как в зеркале, отражаются и тревожные черты его собственной личности, и страхи, присущие эпохе.

Не меньший интерес вызывали в нем сны его друзей, в которых фигурировал он сам. После чудесного спасения при Филиппах, когда об опасности его предупредил человек, увидевший его во сне, этот интерес только окреп.

Август не относился к числу сильных натур, которые смеются над суевериями. Не ведал он и той безмятежности духа, с какой последователи эпикуреизма принимали как данность необъяснимые явления универсума. Он наверняка читал трактат Цицерона «О предвидении», но вряд ли его убедили страницы, на которых автор решительно опровергает значение снов и чудес^[136]. Скорее он согласился бы со стоиками, утверждавшими, что «мир изначально создан таким образом, что некоторым событиям в нем предшествуют определенные знаки. Одни из них находят свое выражение во внутренностях животных, другие — в полете птиц, или в молниях, или в чудесах, или в звездах, или в сновидениях, или в речах просветленных»^[137].

Но, конечно, его интерес к предзнаменованиям носил отнюдь не философский характер, а диктовался в первую очередь суеверием и душевным дискомфортом, что проявлялось в ночных кошмарах — «частых, страшных и несбычивых» (Светоний, XCI), которые особенно мучили его весной и которыми он ни с кем не делился. Складывается впечатление, что ему приходилось жить в постоянном напряжении, скрывая свои душевные тревоги и физические недомогания под маской спокойной силы.

О каком покое могла идти речь, если каждая окружающая мелочь казалась ему исполненной глубокого смысла! Если утром ему случалось спросонья обуться не на ту ногу, он считал это зловещим предзнаменованием. Он никогда не пускался в дорогу на завтра после базарного дня, потому что это был

девятый день месяца, а именно на девятый день справляли погребальный обряд по умершим. Ни одно серьезное дело он не начинал в ноны^[138], потому что форма слова «ноны» (nonae) в аблятиве^[139] звучала как nonis, что можно было прочитать и как non-is, то есть «не пойдешь». Самое удивительное, что он нисколько не стремился скрыть от окружающих этой своей веры в приметы, более приличной маленькому ребенку или простолюдину, и, например, часто обсуждал свои страхи с Тиберием, который, похоже, полностью разделял его суеверия.

Впрочем, люди той эпохи отличались доверчивостью, и, например, из «Естественной истории» Плиния Старшего мы узнаем о множестве удивительных вещей — mirabilia, в существовании которых никто из древних даже не сомневался. Так, некий служивший в Галлии легат вполне серьезно писал Августу, что на морском побережье нашли нескольких мертвых nereid, то есть сирен, все тело которых покрывала чешуя^[140]. Чрезвычайной популярностью пользовались также всякие красочные истории, за которыми угадывались таинственные силы природы — вроде приводимого Меценатом рассказа о мальчике, приручившем дельфина. Дельфин жил в Лукринском озере, куда его специально запустили, и мальчик часто приходил на берег озера, бросал дельфину кусочки хлеба и дал ему имя Симон. Вскоре животное настолько привыкло к ребенку, что отзывалось на его голос. Дельфин подставлял мальчику спину и катал его на себе от Байев до ПUTEОЛ. Так продолжалось много лет, пока мальчик не умер. Дельфин, охваченный тоской, не надолго пережил своего друга и скончался вскоре после его смерти^[141]. Действительно, мир, окружавший человека того времени, таил в себе слишком много загадок, в которых терялось самое смелое воображение. Люди Древнего Рима смутно подозревали, что на свете

существуют силы, природа которых им неизвестна, и часто поддавались искушению объяснить непонятное присутствием богов. И ничто не могло помешать им верить в чудеса.

Тарракон, где Август задержался, чувствуя недомогание, вскоре перешедшее в приступ очередной болезни, внешне напоминал караван-сарай, кишевший греками, посланцами парфянского царя и индийскими царьками. Последние выглядели особенно живописно, а в качестве подарков привозили с собой драгоценные ткани, роскошные украшения и диковинных зверей, например, тигров, которых римляне прежде никогда не видели.

Однажды прибыли посланцы Митилен^[142]. Они приехали, чтобы ознакомить Августа с указом, согласно которому жители острова постановили посвятить ему храм, провести в его честь игры и принести ему такие же жертвоприношения, какие привыкли приносить Зевсу. Он с благосклонностью принял предложенные почести, так же, как позволил возвести свой алтарь в самом Тарраконе.

Подобные знаки поклонения заставляли его снова и снова задумываться над своей миссией, которая все отчетливее представлялась ему необходимостью мирового масштаба. Теперь он начал понимать, что для ее осуществления потребуется очень много времени, возможно, больше, чем отпущено ему в земной жизни.

Позже, когда посланцы Тарракона привезли в Рим сообщение, что над установленным в его честь жертвенником поднялось пальмовое дерево, он позволил себе отпустить по этому поводу шутку: «Наверное, вы там курите слишком много фимиама...»^[143] Но его напускное «вольтерьянство» никого не могло обмануть: он и сам не меньше других верил в чудеса. Не зря же он велел перенести в дом пальму, пустившую корни меж камней, прямо возле

порога, и приказал ухаживать за ней. Правда, следует уточнить, что пальма символизировала победу.

Все эти размышления не мешали ему продолжать совершенствоваться в ораторском искусстве. С особенным удовольствием он внимал урокам ритора Гавия Силона, о котором говорил: «Никогда еще я не встречал более красноречивого отца семейства». Сенека Ритор, приводящий это высказывание, подтверждает его собственной оценкой: «Этот человек напоказ выставлял в себе отца семейства и прятал оратора; он считал, что красноречие частично заключается в том, чтобы его не было заметно»^[144].

Безусловно, отсутствие признаков искусного труда и есть высшее проявление мастерства. Август высоко ценил это умение, которое отвечало его эстетическому вкусу. Гавий избрал своим кредо *ethos*, то есть высокую нравственность, подразумевавшую трезвость суждения, серьезность и авторитетность. Те же самые принципы положил Август в основу своей политики.

В некотором роде он и сам играл в отца семейства, поскольку привез с собой своего племянника Марцелла и сына Ливии Тиберия. Юноши исполняли при нем роль адъютантов, напоминая ему о временах, когда и сам он служил адъютантом при Юлии Цезаре, причем в той же самой Испании, откуда и начался взлет его карьеры. Оба они родились в 42 году, обоим исполнилось по 16 лет, оба совсем недавно надели мужскую тогу. Чтобы поднять их популярность в народе, Август поручил им организацию игр, призванных укрепить моральный дух воинов, грозивший пошатнуться в условиях затянувшейся войны и упорного сопротивления мятежных иберов, не желавших мириться с римским присутствием^[145]. Впрочем, Август уже принял решение возвратиться в Рим, оставив здесь несколько легионов, которым на протяжении еще долгих лет предстояло вести упорные бои, и отправив ветеранов основывать

новые колонии. Одна из них, названная Августа Эмерита (ныне Мерида, Португалия), вскоре стала богатым и процветающим городом.

Пока Марцелл и Тиберий проходили боевую выучку, Август думал, как быстрее свернуть свое последнее военное предприятие, скрыв его явный провал и выставив напоказ немногие успехи, достигнутые его помощниками. Наконец-то он мог сложить с себя роль полководца, совершенно ему не подходившую, и заняться тем, что гораздо больше отвечало его таланту — устройством империи.

Наличие сразу двух протезе — Марцелла и Тиберия — выдавало трудности, которые он испытывал, разрабатывая политику династической преемственности власти. Разумеется, Ливия проявляла активную заботу о будущем своего сына. С другой стороны, находилось немало людей, по тем или иным причинам весьма настороженно относившимся к явному крену режима в монархизм. Но главная трудность заключалась в принципиальной несовместимости принципата как государственного строя, основанного на власти лучшего из политиков, и ее династическим наследованием.

Август вынашивал свои планы. Он давно решил выдать свою дочь Юлию замуж за Марцелла, вернувшись тем самым к самым древним традициям архаичных царств, в которых легитимность наследования власти обеспечивалась женитьбой на девушке царского рода. Он продолжал отрабатывать детали этого плана, когда обострение болезни вынудило его отложить возвращение в Рим. Марцелл отправился в Рим один, получив приказ жениться на Юлии. Сразу по приезде домой он сбрил бороду, что послужило поводом к появлению эпиграммы следующего содержания:

«Марцелл вернулся с Запада, с войны у горных окраин Италии; привез добычу. И в первый раз сбрил

свою белокурую бородку. Именно того и ждала от него родина: уехав ребенком, он вернулся мужем»^[146].

Акт сбривания бороды отличался от первого выхода в мужской тоге и символизировал приобщение к военному опыту.

Агриппа, тремя годами раньше женившийся на сестре Марцелла Клавдии Марцелле, на свадьбе своего юного зятя восседал на месте Августа, из-за болезни задержавшегося в Тарраконе. Август чувствовал, что ему пора менять образ жизни. Он приближался к сорокалетию и ни физически, ни морально больше не мог соответствовать эстетическому идеалу своего времени, требовавшему, чтобы мужчина выглядел атлетом. Он отказался от воинских упражнений, заменив их игрой в мяч, но следил, чтобы его официальные изображения по-прежнему представляли его в облике атлетически сложенного красавца в цвете лет.

Наконец, болезнь отступила, и Август вернулся в Рим. Гораций так выразил всеобщее настроение, царившее в городе накануне приезда в город Августа:

Цезарь, про кого шла молва в народе,
Будто, как Геракл, лавр купил он смертью,
От берегов испанских вернулся к Ларам
Победоносцем.
Радостно жена да встречает мужа,
Жертвы принеся божествам хранящим,
С ней — сестра вождя...^[147]

Вместе с Ливией и Октавией торжествовал весь Рим, встречая нового Геркулеса. Сенат снова вынес решение о запирании ворот храма Януса. Правда об испанском походе не успела просочиться в народ и помешать восхвалению Августа.

23 год

Перемена образа жизни, сопровождавшаяся изменением политического курса, в 23 году обрела неожиданное ускорение, вызванное целым рядом событий, по поводу которых историки продолжают спорить до сих пор. Внешне ничем не связанные между собой, эти события не получили достаточного освещения в трудах античных историков, так что их современные коллеги теряются в догадках, пытаясь разобраться в деталях того, что представляется самой настоящей головоломкой. Ясно лишь, что новый строй, установившийся всего четыре года назад, пережил в эти дни чрезвычайно острый кризис. Сами небеса посылали людям предупреждение, но мало кто сумел сразу понять, какие несчастья всех ожидают. Тибр вышел из берегов и на три дня затопил нижнюю часть города, но в отличие давнего сновидения Августа, истолкованного как доброе предзнаменование, нынешнее наводнение, обрушившее Сублициев мост — самый старый и священный городской мост, вселило в горожан тревожный страх, потому что сопровождалось грозами и пожарами. Кроме того, на городских улицах видели волка^[148].

Рим бурлил от беспокойства. Вначале прошел процесс по делу проконсула Македонии, имя которого история не сохранила. Этого человека обвинили в том, что он по собственной инициативе предпринял военную вылазку против Фракии. Он защищался, утверждая, что действовал в соответствии с приказом, полученным от Августа. Август лично явился в суд и поклялся, что не отдавал такого приказа. Его слова хватило, чтобы обвиняемого приговорили к казни. Тем бы дело и кончилось, если бы не вмешался Марк Теренций Мурена,

вместе с Августом исполнявший в тот год обязанности консула. Он возмутился тем, что принцепс явно злоупотребил своим авторитетом, и во всеуслышание заявил, что свобода, которую защищает новый строй, не должна зависеть от одного слова принцепса. Он также отметил, что ни о каком политическом согласии не может идти и речи до тех пор, пока внутри правительства и даже внутри партии Августа продолжаются споры и разногласия.

Этими обстоятельствами поспешил воспользоваться некий Фанний Цепион, снедаемый тоской по республиканским свободам и организовавший заговор против Августа. Заговор быстро раскрыли, но в списке его участников — справедливо или по ошибке — оказалось имя Мурены, которого вместе с остальными заговорщиками без суда приговорили к смертной казни. Между тем Мурена приходился братом Теренции, жены Мецената. Меценат рассказал ей об опасности, нависшей над братом, и она успела его предупредить. Об этом узнал Август, друживший с Меценатом и имевший любовную связь с Теренцией. Новость его страшно разозлила. Нельзя сказать, что его дружба с Меценатом после этого случая резко оборвалась, но она стала слабеть на глазах.

Август тяжело переживал случившееся, тем более что после возвращения из Испании его снова свалила болезнь. На сей раз боли, вызванные, по всей видимости, печеночной коликой, терзали его с такой силой, что он решил, будто пришел его смертный час. Что станет со строем, который он только-только успел установить? Очевидно, этот вопрос мучил не его одного. Все его окружение размышляло, хватит ли Марцеллу умения, чтобы взять на свои плечи груз наследства, и как будет воспринят сам факт передачи власти по династической линии. Но в свои рассуждения все они забыли включить пронизательность Августа. С присущей ему любовью к

театральности он «созвал магистратов, видных сенаторов и всадников, но не назвал имени своего преемника, обманув тем самым всеобщие ожидания, потому что все они думали, что наследником будет объявлен Марцелл. Обсудив с ними государственные дела, он вручил Пизону меморий, в котором расписал состояние дел и размер доходов империи, после чего надел свое кольцо на палец... Агриппе»^[149].

Итак, сознавая, что болезнь не даст ему довести до конца дело, справиться с которым кроме него не смог бы никто, он вручил сенату отчет о своей работе и в качестве самой достойной кандидатуры на роль принцепса указал Агриппу. Этот жест, далекий от династических побуждений, знаменовал собой шаг к восстановлению республики.

Но все изменилось, когда врач Антоний Муза спас и больного, и положение дел. Убедившись, что горячее лечение не помогает и жизнь больного в опасности, он отказался от него и предписал холодные ванны, холодное питье и холодные овощи. Август поправился, и его выздоровление, приписанное новому лечению, принесло врачу громкую известность и недурный гонорар. Зато восстановление республики, о котором он думал на смертном одре, теперь, когда болезнь отступила, виделось ему в совсем ином свете. Что станет с ним самим, стоит ему снова превратиться в обыкновенного человека, лишённого защиты высоких званий? У него оставалось еще немало противников, которые наверняка воспользуются его ослаблением, чтобы от него избавиться. Что касается государства, то так ли уж будет хорошо, если оно вновь окажется во власти нескольких лиц? Результат этих размышлений известен каждому. Август не отдал власти.

Он неоднократно выступал с пояснением своей позиции, а в одном из эдиктов изложил ее следующим образом (Светоний, XXVIII):

«Да будет дано мне установить государство в его процветании, дабы я, пожиная желанные плоды этого свершения, почитался творцом лучшего государственного устройства и при кончине унес бы с собой надежду, что заложенные мною основания останутся непоколебленными».

Итак, Август мечтал о процветании, привлекательности и устойчивости системы, которую без колебаний называл государственным устройством. Чтобы укрепить ее фундамент, он согласился принять проконсульский империй — знак высшей власти — и звание трибуна, в которое вступил 1 июля 23 года. Одновременно он сложил с себя обязанности консула, доставшиеся ему в 11-й раз.

Агриппа временно покидает сцену

Сосредоточение власти в руках Августа и подозрение, что ее наследником он хочет видеть Марцелла, породили в Риме множество неблагоприятных для принцепса слухов. Дабы положить им конец, он предложил зачитать свое завещание на заседании сената. Пусть злые языки убедятся, что он никого не назначал своим преемником и остается верным республиканским принципам. Однако сенаторы, как, очевидно, и рассчитывал Август, отказались от этого предложения, не желая оскорблять принцепса недоверием. Между тем поступок Августа вызвал всеобщее удивление. Он оказывал Марцеллу такие явные знаки предпочтения, что казалось очевидным: именно Марцелла он считает своим наследником. Особенно горячо обсуждались невероятно пышные игры, подготовкой которых занимался Марцелл, в нарушение возрастного ценза назначенный эдилом. Для этих игр он, например, приказал натянуть над всей площадью Форума полотняный тент, предохранявший зрителей от летнего зноя^[150]. Либо Август передумал, либо, что казалось более вероятным, отложил решение вопроса о назначении Марцелла наследником на более поздний срок.

Едва оправившись от тревоги за здоровье принцепса, его близкие родственники впали в новое беспокойство. Марцелл, возможно, подталкиваемый Октавией и Юлией, стал проявлять нетерпение и все чаще бросал косые взгляды на Агриппу, злясь на него за то предпочтение, которое оказал ему Август. Вскоре после того как Август окончательно поправился, Агриппа неожиданно покинул Рим и уехал в Митилены. Его отъезд вызвал новые пересуды, главной темой

которых стала предполагаемая ссора Агриппы с Марцеллом. Новейшие историки не слишком доверяют слухам об этой ссоре и полагают, что Агриппа уехал на остров вовсе не из-за оскорбительного поведения Марцелла, а потому, что получил от Августа особое задание — подготовить почву для его поездки по Востоку, планировавшейся на ближайшее время. Действительно, если судить по источникам, между Августом и Агриппой никогда не возникало ни тени разногласий. Вполне возможно, что решение об отъезде Агриппы они приняли сообща, стремясь таким образом положить конец слухам о раздорах внутри семейства Августа.

Марцелл навсегда покидает сцену

Впрочем, вся эта суета не имела серьезных последствий. После кризиса режим выглядел еще более прочным, чем до него. Именно в это время капризная фортуна нанесла и по чувствам, и по планам Августа жестокий удар, отняв у него Марцелла. Смерть юноши, последовавшая после внезапной болезни, против которой оказалось бессильным врачебное искусство Антония Музы, ввергла Августа в глубокое горе. Он начал опасаться, что удача навсегда отвернулась от него. Похвальное слово над покойным он произнес сам. Тело юноши привезли из Байев, где он проводил летний отдых, и торжественно пронесли по улицам города до самых роств. Траурную процессию сопровождали актеры в масках, изображавшие самых знаменитых предков умершего, плакальщицы, родственники и, конечно, толпа зевак. Напомнив собравшимся, сколь славный род понес утрату, Август оплакал безвременную кончину юноши.

Проперций сочинил элегию, в которой постарался выразить всеобщее сожаление о несчастливой судьбе Марцелла:

«О, проклятые Байи! Вы виновны в великом преступлении! Что за злобное божество поселилось в ваших водах? Это здесь опустил он лицо в волны Стикса, по дну вашего озера бродит его душа. Что теперь ему пользы от высокого рождения, к чему теперь вся его доблесть? Он, рожденный от лучшей из матерей, грелся у очага Цезаря, но для чего ему это теперь? Разве спасли его полотна, трепетавшие на ветру над воздвигнутым им театром, полным людей? Разве защитили его руки матери, готовой для него на все? Он умер, несчастный, а ему было 20 лет... [\[151\]](#)»

Но, пожалуй, только Вергилию, работавшему в ту пору над «Энеидой», удалось выразить всю боль утраты, постигшей принцепса. Перечисляя великих деятелей римской истории, ожидающих в царстве мертвых, когда настанет пора вмешаться в земные события, он говорит и о Марцелле. Юноша выступает во всем блеске своей молодости и красоты, но он печален, и глаза его опущены к земле. Похвальное слово Марцеллу у Вергилия произносит отец Энея. Поэт читал свои стихи Августу и Октавии:

Чадо мое, о безмерной твоих не спрашивай
скорби:

Миру его лишь таким покажут Судьбы и долгие
Быть не дадут. Ибо слишком, вы мните,
романское племя,

Вышние, стало бы мощным, за ним если б дар
сей остался!

Оное к граду помчит великому что за стенанья
Мужей мавортское поле! И что. Тиберин, ты
увидишь

За погребенье, когда мимо свежей польешься
могилы!

Отрок иной ни один в илиакском роде латинским
Дедам такой не подаст надежды, и Ромула краю
Больше вовек ни одним питомцем так не
гордиться!

О благочестье! О верность древняя! О
необорность

Длани в бою! Нет, никто безнаказанно выйти не
мог бы

Встретить его при оружье, пошел ли бы пеш на
врага он,

Пенными ль шпорами он лопатки коня уязвлял
бы.

Горе! Злосчастнейший отрок! Когда б злые

Судьбы сломил ты,
Был бы Маркеллом ты! Дайте, дланями, полными
лилий,
Пурпурных я разбросаю цветов и душу потомка
Сими хотя бы почту дарами, восславлю
бесплодной
Почестью!^[152]

Возвышенная красота стихов потрясла Октавию, и она лишилась чувств. Наверное, она перестала владеть собой, когда поэт читал строки, посвященные будущему юноши, у которого, увы, больше не было будущего. Очнувшись от обморока, она вручила Вергилию по 10 тысяч сестерциев за каждый из 18 стихов похвального слова, а затем объявила, что будет носить траур по Марцеллу до самой смерти. Октавия сдержала слово, и можно только догадываться, какая зависть грызла ее сердце, когда она смотрела на женщин, чьи сыновья оставались живы и здоровы. Например, сыновья Ливии^[153]...

Смысл утешения, которое, по мысли поэта, состояло в том, что преждевременная смерть ее сына — это цена, уплаченная богам за величие Рима, от матери ускользнул. С сыном она связывала все свои надежды, наверняка активно участвуя во всех дворцовых интригах, в центре которых находился Марцелл. Но, отвлекаясь от славословий Вергилия и присоединившегося к нему впоследствии Сенеки, зададимся вопросом, действительно ли Марцелл проявил «выдержку и умеренность, удивительные для юноши его лет»^[154]? Может быть, прав, скорее, Плиний Старший, упоминая о «подозрительном честолюбии» Марцелла? И не потому ли Октавия так ненавидела Ливию, что место единственного возможного наследника Августа теперь занял ее сын Тиберий?

Впрочем, ходил слух, что смерть юноши вовсе не стала для Ливии таким уж сюрпризом^[155]. Тогда впервые молва поспешила обвинить жену Августа в причастности к чужой гибели, но впоследствии каждая новая утрата в этой семье будет сопровождаться аналогичными подозрениями.

Как бы там ни было, Марцеллу выпала честь первым занять мавзолей Августа. В 1927 году в результате раскопок удалось обнаружить мраморную плиту с надписью «Марцелл, зять Августа Цезаря». Ниже выбито имя его матери, сошедшей в могилу через 12 лет после кончины сына.

Женитьба Юлии и Агриппы (21 год)

Несколько месяцев спустя Октавия, целиком погруженная в горестные мечты о мести, ненадолго вышла из своего оцепенения, чтобы одобрить, если не инициировать брак Агриппы с Юлией^[156]. Агриппа в это время был женат на Марцелле, дочери Октавии, поэтому встал вопрос о разводе. Август горячо поддержал эту идею, вовсе не считая, что путаница внутрисемейных браков и разводов является серьезной препоной на пути его династических проектов. Теперь он делал ставку на потомство новой супружеской пары, в жилах которого уж наверняка будет течь священная кровь Цезаря, переданная матерью.

За этими планами Августа стояли не только семейные, но и политические интересы. Подыскивая себе нового зятя, он советовался с Меценатом, и тот ему заявил, что Агриппу надо или убить, или женить на Юлии. Разумеется, об убийстве Агриппы не могло идти и речи. Следовательно, оставалась женитьба^[157]. Агриппа играл в государстве слишком важную роль, и от него слишком зависела консолидация режима, чтобы Август рискнул в очередной раз допустить его соперничество со своим более молодым и менее опытным зятем. Но почему Октавия согласилась, чтобы Агриппа бросил ее родную дочь и женился на племяннице? Возможно, она руководствовалась заботой о карьере брата, но, бесспорно, ею в значительной мере двигала и неприязнь к сыну Ливии.

Итак, в 21 году Юлия снова оказалась невестой на выданье, готовой связать свою судьбу с человеком, приближенным к самой вершине власти, и осчастливить его потомством. Ей было тогда 28 лет, и она была красива — гораздо более красива, чем можно судить по

бюсту, хранящемуся сегодня в музее Сен-Реми-де-Прованс и запечатлевшему скорее идеализированный образ дочери принцепса, нежели реальный облик этой женщины. В этом скульптурном изображении заметно странное и почти неуловимое сходство Юлии с Ливией, которое позволяет догадываться о том значении, какое придавали в те времена образцу женской добродетели. Послушного следования этому образцу ждали, разумеется, и от Юлии. В отличие от своего отца, которого вечно мучили какие-то хвори, Юлия, судя по всему, отличалась отменным здоровьем. Слегка омрачали ей жизнь лишь небольшие желудочные расстройства, от которых она лечилась отваром девясила^[158]. В той комедии, участницей которой ее сделало рождение, она всегда отказывалась играть навязанную ей роль, стремилась жить по-своему и быть собой. Может быть, немного легкомысленная — не более, впрочем, легкомысленная, чем многие женщины ее времени, — она чувствовала себя «первой дамой королевства» и законодательницей мод. Роскошный и чуть фривольный стиль, которого она придерживалась, не мешал ей горячо любить искусство и литературу. «Мягкость и душевность, не омраченные ни тенью суровости, снискали ей в народе огромную любовь, которая осталась с ней и в годы невзгод»^[159]. Природа наделила ее и вкусом, и умом, и сообразительностью.

Сочетание этих качеств делало ее чрезвычайно привлекательной, и вокруг Юлии вечно вилась целая толпа воздыхателей, таких же юных, как она, и так же спешащих насладиться удовольствиями жизни, созданной явно не для удовольствий. То ли по неосторожности, то ли из цинизма, она собрала вокруг себя кружок молодых и дерзких аристократов, которые напропалую ухаживали за ней. На их фоне Агриппа наверняка чувствовал себя неотесанным мужланом, да к тому же стариком. Во всяком случае, к Юлии он

относился с ревнивым недоверием. Несмотря ни на что она с честью исполнила свой долг и родила мужу пятерых детей^[160]. Говорят, Август внимательно вглядывался в черты каждого новорожденного младенца этой пары, дабы убедиться, что он похож на своего отца. Что мы после этого должны думать о репутации Юлии? И неужели она в самом деле заявляла, отмахиваясь от сальных подозрений, что ее дети и не могут быть похожи ни на кого кроме собственного отца, ибо она, как опытный капитан, берет на борт пассажиров только тогда, когда трюм полон? В этом нет ничего невозможного, если вспомнить, что мы говорим об эпохе, когда тонкая чувствительность, введенная в моду сочинителями поэтических элегий, прекрасно уживалась с откровенностью соленого словца, всегда свойственной италийскому духу. В то же время не исключено, что это смелое заявление лицемеры-хулители приписали Юлии уже задним числом, когда она попала в немилость.

Авторству Юлии приписывают и еще одно остроумное высказывание. Однажды она пришла в гости к отцу, одевшись по моде — то есть по ее собственной моде, в платье из дорогой прозрачной ткани с открытой грудью, — и, конечно, сразу заметила, как Август и Ливия недовольно нахмурили брови. На следующий день она снова пришла к ним, но на сей раз в традиционном наряде римской матроны. Август, накануне ни словом не обмолвившийся по поводу ее «неприличного» вида, теперь не удержался и похвалил ее манеру одеваться. На что Юлия отвечала: «Да, нынче я оделась, чтобы понравиться отцу, а вчера — чтобы понравиться мужу»^[161]. Нам эта история кажется вполне правдоподобной, поскольку в ней Юлия предстает женщиной, прекрасно сознающей необходимость подчиняться сразу двум мужчинам — таким разным, но принадлежавшим одному поколению, мужчинам, ни

одного из которых она по-настоящему не уважала и умела выразить свое к ним отношение с лукавством, заметно окрашенным горечью. В конце концов нет никаких оснований считать, что Агриппе доставляло такое уж удовольствие видеть свою жену одетой не так, как привыкли одеваться римские матроны.

Как бы там ни было, если Август действительно искренне любил свою дочь, да еще такой любовью, к которой примешивалась изрядная доля ревности, а судя по всему, это так, слова Юлии наверняка больно ранили его. В том, как Юлия вела себя в эти годы, проявился ее сильный характер, в значительной мере унаследованный от отца, к которому она испытывала восхищение пополам с ненавистью. Понимая, что он мечтает видеть в ней прежде всего образ идеальной римской женщины, во всем послушной мужчинам, она боролась с ним самыми что ни на есть женскими средствами, раздражая его своим подчеркнутым кокетством, но не собиралась предавать в себе сильную и честолюбивую личность, обладание которой традиционная мораль допускала исключительно в мужчине. В этих условиях столкновение Юлии с отцом и особенно с Ливией становилось неизбежным.

Наверное, она искренне радовалась, узнав, что они намереваются совершить продолжительное путешествие по Востоку, и она на некоторое время освободится от их суровых осуждающих взглядов. Она осталась в Риме вместе с Агриппой, на которого легла обязанность править городом.

Восток

Август и Ливия начали поездку с Сицилии, откуда их путь лежал в Грецию. Ливии это путешествие наверняка напомнило другое, двадцатилетней давности, когда ей приходилось скрываться от преследований ее нынешнего мужа. Судя по всему, Август не собирался щадить ее чувств, поскольку почтил своим присутствием Лакедемон, где ей случилось прожить в течение некоторого времени. Напротив, Афины, жители которых имели неосторожность симпатизировать Антонию, он вначале решил наказать, но потом все же сменил гнев на милость. Собственно говоря, вся эта поездка задумывалась им как демонстрация власти и справедливости человека, победившего Антония. Из континентальной Греции они перебрались на Самос, где провели зиму. Затем добрались до Вифинии, а оттуда двинулись в Сирию.

Почти одновременно с отъездом Августа и Ливии Рим покинул и Тиберий, отправленный с важной миссией в Армению. Его поездка увенчалась успехом, ибо ему удалось договориться с царем парфян о возвращении значков, захваченных у Красса и Антония. К моменту завершения переговоров Август и Ливия как раз добрались до сирийской границы и смогли присутствовать на торжественной церемонии вручения значков, призванной стереть из памяти унижение и гнев тридцатилетней давности. Впрочем, в многолетней вражде Рима и Парфии эта акция означала лишь краткое перемирие. Но, хотя Август всем своим видом старался показать, что не отказался от великого замысла покорения Парфии, рожденного Цезарем и долгое время вынашиваемого Антонием, на самом деле он не имел ни малейшего намерения осуществлять эту мечту.

Справедливость этого утверждения в полной мере доказана всей дальнейшей историей его правления.

Тем не менее возвращение значков, которого удалось добиться путем политического шантажа и ценой дипломатической изворотливости, населению Рима было преподнесено как крупная победа империи и запечатлено в виде красноречивых символов, украшающих панцирь статуи Августа. В центре изображен Тиберий, принимающий знамена из рук парфянского царя. Над ним виден Юпитер, вззирающий на солнечную колесницу, вслед за Авророй и богиней росы устремляющуюся к небесам. Внизу расположилась Мать-земля, олицетворяющая Италию. В руках она держит рог изобилия — символ наступления нового века.

Словно спеша подтвердить его приход, в этом же благословенном 20 году родился первый сын Юлии и Агриппы Гай. В сорок три года Август стал дедом.

Смерть Вергилия

Вскоре Август тронулся в обратный путь. В Афинах он встретился с Вергилием. Последние 11 лет поэт работал над «Энеидой», и в Риме уже знали, что это будет нечто выдающееся. Сам Август проявлял признаки нетерпения, ожидая появления поэмы. Еще во время войны с кантабрами он писал Вергилию и просил, то умоляя, то угрожая, выслать ему завершённые части «Энеиды». В 23 году, после смерти Марцелла, автор читал ему отрывок из поэмы, и нетерпение принцепса достигло предела. Но Вергилий, как истинный поэт, все еще считал, что произведение не закончено. В 19 году он предпринял путешествие по Греции и Востоку, желая лично посетить места, в которых разворачиваются события первых книг «Энеиды». Он намеревался провести в странствиях три года, закончить работу над поэмой, а затем целиком посвятить себя философии. К несчастью, он не отличался крепким здоровьем, и однажды в Мегаре, слишком долго пробыв под палящим солнцем, слег и больше не поднялся. Когда Август приехал в Афины, он нашел поэта совершенно больным. В Италию они отправились вместе, но Вергилий добрался только до Брундизия. 21 сентября 19 года, не дотянув двух дней до дня рождения Августа, он скончался.

Накануне отъезда в Италию Вергилий оставил своему другу Варию просьбу: если с ним случится несчастье, сжечь «Энеиду». В Брундизии, лежа на смертном одре, он потребовал дать ему рукопись, чтобы своими руками ее уничтожить. Но тут вмешался Август, который помимо воли автора и спас поэму. Эту историю рассказывают античные биографы Вергилия, и у нас нет никаких оснований сомневаться в ее достоверности.

Удивительно, конечно, что поэт пожелал предать огню 10 тысяч стихов только потому, что последние 58 не успел отделать. Логично предположить, что в своем стремлении уничтожить плод многолетних трудов он руководствовался не только эстетическими соображениями. Возможно, перед смертью он осознал, что и сам стал невольным участником грандиозной мистификации.

Посвященный смерти Вергилия роман Германа Броха^[162], разумеется, не имеет никакой исторической ценности, но в нем есть нечто другое — интуитивное прозрение автора, угадавшего, какой страшной трагедией одиночества была вся жизнь Вергилия. Неудивительно, что принцепс торопился опубликовать «Энеиду» — тот образ, в котором он предстает со страниц поэмы, вполне соответствовал его представлению о себе. Но это вовсе не значит, что он соответствовал действительности. Мы не знаем и никогда не узнаем, понял ли Вергилий, в чем заключалась эта разница. Вполне возможно, что понял, но слишком поздно.

Установление власти

12 октября Август с тщательно упакованной рукописью «Энеиды» вернулся в Рим, где заложил алтарь Фортуне Возвращения, освященный 15 декабря.

Несмотря на торжественный прием, оказанный ему жителями города, он ощущал вокруг себя смутное недовольство и начал всерьез опасаться, что дело кончится заговором. Тогда он решил разделить власть и ответственность за нее с зятем, наделив того полномочиями проконсула и провозгласив трибуном. Это звание присваивалось на пять лет, а затем могло быть подтверждено, что и случилось в 13 году. Отныне Агриппа стал соправителем и коллегой Августа, чье превосходство над ним выражалось лишь в весе авторитета.

В том же году Август провел первые из законов, призванных восстановить значение семейной морали. Речь в данном случае шла о попытке спасти аристократию от упадка, к которому она себя неминуемо обрекала. Пережив с немалыми потерями ужасы гражданской войны, римский патрициат продолжал таять, не в силах устоять перед соблазнами мирного времени. Предложенному Августом закону о браке отводилась роль «кнута и пряника», побуждающего представителей обоих высших классов государства жениться и заводить детей. Согласно второму закону — о супружеской неверности, выдержанному в духе старинной нетерпимости, неверная жена и ее сообщник приговаривались к изгнанию, а мужу и отцу провинившейся вменялось в обязанность донести о преступлении властям.

Заседание сената, на котором обсуждался этот вопрос, едва не обернулось фарсом, когда некоторые из

выступавших заметили, что, прежде чем спорить о поведении женатых пар, следовало бы заняться исправлением свободы нравов, царившей среди молодежи. Готов ли Август поручиться за успех этого предприятия? И, поскольку любвеобильная натура принцепса ни для кого не являлась секретом, кое-кто из сенаторов осмелился даже намекнуть на его собственных многочисленных любовниц. Но Августа эти выпады ничуть не смутили. Каждому из присутствовавших он пожелал обладать такой же властью над супругой, какой обладает он над Ливией, и, отметая дальнейшие вопросы, принялся расписывать достоинства своей жены — ее экономность, скромность и примерное поведение^[163].

На этом же заседании Август зачитал сенаторам речь, произнесенную цензором Квинтом Метеллом в 131 году. Два отрывка из этой речи сохранились до наших дней, и один из них звучал так:

«Если бы мы, римляне, могли жить без женщин, мы бы охотно обошлись без этой обузы. Но раз уж природа распорядилась так, что роду человеческому нет спокойной жизни ни с ними, ни без них, надо прежде думать о сохранении своей породы, чем о кратковременных удовольствиях»^[164].

Что и говорить, убедительный аргумент... Тем не менее этот заимствованный из далекого прошлого пример помог Августу заставить сограждан, большинство из которых думало только об удовольствиях, проглотить горькую пилюлю. Ознакомив с текстом речи сенаторов, Август довел его и до народа, издав в виде эдикта. Интересно, что еще сто лет спустя эта же речь стала предметом горячего обсуждения высокообразованных людей, некоторые из которых полагали, что, пожалуй, не слишком разумно привлекать внимание современников к негативным сторонам

супружеской жизни, если хочешь убедить их вступить в брак.

Август, превозносивший достоинства Ливии, разумеется, не принимал на свой счет мрачных рассуждений Метелла. Между тем обращение к побитой молью времени речи в эпоху, когда женская эмансипация действительно достигла первых убедительных успехов, выглядело особенно вызывающе. Но Август не меньше Метелла верил — во всяком случае, предпринятые им шаги заставляют так думать, — что именно на мужчине лежит ответственность за все, что происходит.

Превращение деда в отца

Настанет день, и оружие, которое он ковал в эти дни, ему придется повернуть против собственной дочери. Но пока он об этом не подозревал, а Юлия вела себя вполне пристойно, во всяком случае, соблюдая все внешние приличия. В 17 году у нее родился второй сын — Луций. Радость Августа не знала границ. В его мозгу уже созрел новый план передачи власти по наследству. Ярый защитник старинных ценностей римской цивилизации, он разыскал в римском праве давно забытую процедуру, позволяющую совершить фиктивную покупку ребенка у отца, и поспешил воспользоваться ею, чтобы обоих сыновей Юлии сделать членами своей семьи. Этот шаг перевернул всю жизнь мальчиков и сыграл определяющую роль в их дальнейшей судьбе. Юлии, формально ставшей сестрой собственных детей, отныне пришлось жить в плену двух противоречивых чувств. С одной стороны, она не могла не радоваться, понимая, что перед ее сыновьями открываются самые радужные перспективы, но с другой — тревожилась за них, не зная, что их ждет в доме Ливии и отца. Поглощенная светской жизнью, она, скорее всего, не стала бы лично заниматься их воспитанием, передоверив, как это делали многие женщины ее круга, мальчиков кормилицам, но все-таки, останься сыновья в ее доме, они не выросли бы такими чужими ей людьми, как это случилось на самом деле. Убедиться в этом ей пришлось позже, когда в ее собственной судьбе произошел резкий переелюрот. Что касается самих детей, то непохоже, чтобы разлука с матерью принесла им страдание, тем более что виделись они довольно часто. Но то, что суровая

строгость Августа обернулась для них тяжким испытанием — несомненно.

Итак, принцепс стал отцом троих детей и автоматически вошел в категорию граждан, пользующихся особыми льготами, им же самим установленными. Разумеется, сами по себе эти льготы — политические и материальные — не интересовали его ни в малейшей степени. Ему требовалось иное — подать пример счастливого отца многодетного семейства.

К своей роли воспитателя будущих наследников он отнесся со всей серьезностью: сам учил их грамоте и другим основам культуры. Позже он лично занимался с ними криптографией, объясняя, что это искусство понадобится им, когда придет пора вести секретную переписку. Готовность принцепса жертвовать своим временем ради образования сыновей могла бы вызвать в нас умиление, если бы не тот факт, что он заставлял их тщательно копировать его почерк. По всей видимости, он рассчитывал в дальнейшем использовать их в качестве доверенных секретарей. Понимал ли он, что, вынуждая детей во всем подражать ему, рискует вырастить из них двух маленьких Августов? Но откуда ему, выросшему без отца, было знать, за каким пределом следование примеру отца перестает быть разумным?

Вскоре, впрочем, он передал дело образования детей в руки наставника, избрав на эту роль лучшего из возможных кандидатов — вольноотпущенника по имени Марк Веррий Флакк. Этот человек слыл сторонником передовых методов обучения, резко отличавших его от приверженцев телесных наказаний, которые полагали, что палка — самый надежный способ вбить знания в особенно упрямые головы. Веррий Флакк предпочитал действовать иначе. Он поощрял в учениках дух состязательности, заранее объявляя, что того, кто лучше других справится с заданием, ожидает награда —

старинная книга. Впоследствии его педагогические идеи подхватил и развил Квинтилиан. Получив приглашение Августа, Веррий Флакк со всей своей школой перебрался на Палатин, согласившись не принимать новых учеников^[165]. Специально для внуков Августа Веррий Флакк составил словарь редких и устаревших слов, изучение которых давало ученикам возможность читать старинные латинские книги^[166].

Столетние игры

Имея под рукой Агриппу в качестве соправителя и двух сыновей в качестве наследников, Август мог, наконец, позволить себе смотреть в будущее с уверенностью. Впрочем, чтобы взгляд, обращенный в будущее, ничем не омрачался, следовало прежде окончательно разделаться с прошлым. И в 17 году Август принял решение отпраздновать Столетние игры.

«Август Кесарь, потомок божественный; он
золотые
Веки опять воссоздаст», —

написал по этому поводу Вергилий^[167].

Подобный замысел заслуживал соответствующего воплощения. «Веком» этруски называли промежуток времени, который заканчивается со смертью последнего из тех, кто родился в его начале. Таким образом, точных критериев для измерения века не существовало: только боги, посылая людям определенные знаки, могли указать, когда завершается один век и начинается другой. Знатоки старины утверждали, что празднества в честь смены века устраивались примерно через каждые 110 лет начиная с 456 года до н. э., однако точные исторические свидетельства оставило по себе лишь торжество, состоявшееся в 249 году, после окончания Первой Пунической войны^[168]. Оно прошло в Таренте — местечке, расположенном на левом берегу Тибра, — и посвящалось богам подземного царства. Устраивая это празднество, римляне стремились не столько отметить смену века, сколько предохранить город и империю от невзгод.

В 43 году, когда наблюдалось явление кометы, этруски объявили это знаком завершения своего IX века. Однако обстоятельства складывались слишком неблагоприятно, чтобы праздновать наступление нового века. Но в 17 году комета появилась снова, и на сей раз она вполне годилась на роль предвестницы прихода новых времен. Квиндецемвиры заглянули в сивиллины книги и провозгласили, что пришла пора праздновать Столетние игры. Надпись, найденная в 1890 году на берегах Тибра, представляет собой официальный отчет о проведении игр и дает нам представление о том, как, согласно постановлению сената, они проходили.

По всему городу ходили глашатаи в старинных одеждах, в шлемах с высоким плюмажем, с круглым щитом и длинным посохом. Они объявляли народу, что приближается праздник, подобного которому — по определению — никто из них прежде не видел и больше никогда не увидит. И напоминали, что каждый должен пройти обряд очищения, дабы избавиться от грязи прошлого.

В ночь с 31 мая на 1 июня Август и Агриппа на том месте, где стоял Тарент, совершили жертвоприношение Паркам. В неверном сумраке светлой весенней ночи разносился голос Августа, читавшего торжественную молитву:

«Как предсказано сивиллиными книгами, по этой причине и ради великого блага народа квиритов примите в жертву девять агниц и девять молодых коз и внемлите моей молитве.

Ширьте империю и крепите величие римского народа квиритов, в годину войны и в дни мира.

Вечно храните имя латинское, ниспошлите вечное единство, победу и здоровье римскому народу квиритов.

Возьмите под свое покровительство римский народ квиритов.

Храните в целости и невредимости государство римского народа квиритов.

Услышьте мою мольбу и будьте благосклонны к римскому народу квиритов, к коллегии квиндецемвиров, ко мне, к моей семье, к моему дому.

Услышьте мою мольбу и примите сиих девять агниц и девять молодых коз, вам посвящаемых и вам в жертву приносимых».

Молитва являла собой настоящий шедевр хитроумия. Выбор места — Тарент — и постоянный повтор выражения «римский народ квиритов» придавали ей тональность древних молений, не оставляя ни малейших сомнений в том, к кому именно обращал свои призывы принцепс. Сам он в окружении членов своей семьи появлялся на церемонии в ее конце и начинал читать молитву, тем самым возлагая на себя роль посредника между людьми и богами. Наконец, если слово «квириты» и структура молитвы, основанная на повторях, возвращали слушателей к временам седой старины, упоминание о сивиллиных книгах и особенно обращение в качестве объекта мольбы к Паркам придавали выступлению Августа несомненный греческий налет. Одним словом, молитва представляла собой квинтэссенцию всей проводимой им политики.

Затем ту же самую молитву он повторил, обращаясь к другим богам, каждый раз называя других жертвенных животных. На следующий день он и Агриппа принесли в жертву Юпитеру Капитолийскому по белому быку. На следующую ночь восславили богиню деторождения Илифию, а когда настал день, каждый из них почтил Юнону Повелительницу, принеся в жертву корову. На третью ночь на алтарь Матери-земли возложили супоросную свинью, а днем принесли дары Аполлону и Диане. В их честь 27 юношей и 27 девушек, «имевших в живых и отца и мать», исполнили гимн. Число певцов имело ритуальное значение, а непременно условие

иметь живых родителей напоминало о старинной примете, согласно которой смерть хотя бы одного из родителей считалась знаком немилости богов.

Поскольку Вергилий до этого дня не дожил, сочинение гимна поручили Горацию. Он разделил его на 19 строк по четыре стиха в каждой. Воздав должное богам тьмы и плодородия, поэт переходил к возвеличиванию богов света:

Феб и ты, царица лесов, Диана,
Вы, кого мы чтим и кого мы чтили,
Светочи небес, снизойдите к просьбам
В день сей священный —

В день, когда завет повелел Сивиллы
Хору чистых дев и подростков юных
Воспевать богов, под покровом коих
Град семихолмный.

Ты, о Солнце, ты, что даешь и прячешь
День, — иным и тем же рождаюсь снова,
О, не знай вовек ничего славнее
Города Рима!

Ты, что в срок рожать помогаешь женам,
Будь защитой им, Илифия, кроткой,
Хочешь ли себя называть Луциной,
Иль Генитальей.

О, умножь наш род, помоги указам,
Что издал сенат об идущих замуж,
Дай успех законам, поднять сулящим
Деторожденье!

Круг в сто десять лет да вернет обычай
Многочисленных игр, да поются гимны

Трижды светлым днем, троекратно ночью
Благоприятной [\[169\]](#).

На этой исполненной надежды ноте завершался
последний железный век и наступал век золотой.

Часть четвертая
ПРИБЛИЖЕНИЕ РАЗВЯЗКИ
(16 г. до н. э. — 4 г. н. э.)

Западное турне

Несмотря на торжественность, с какой римский мир вступил в новый век, сопротивление монархической власти Августа все еще давало о себе знать, и тех, кто продолжал цепляться за ценности века минувшего, все еще оставалось гораздо больше, чем ему хотелось бы. Вернувшись в октябре 19 года из поездки по Востоку, он долгое время не покидал Италию и не мог не почувствовать, что затеянные им реформы в сфере морали встречают довольно прохладный прием со стороны представителей двух высших сословий государства. Тогда он решил повторить мудрый маневр, который уже проделывал в 27 году, когда уехал в Испанию, и в 23-м, когда отправился на Восток: покинуть Рим. На сей раз он задумал совершить объезд западных провинций. Поездка заняла больше двух лет — с 16 по 13 год. Злые языки болтали, что к отъезду его вынудило прежде всего желание в недосыгаемости для сплетников вкусить всех прелестей романа с женой Мецената Теренцией, околдовавшей его настолько, что он позволял себе сравнивать ее красоту с красотой Ливии^[170]. Как следует относиться к этому обвинению, столь противоречащему всему, что мы знаем о его характере и о характере Ливии? Чтобы хоть на минуту допустить, что оно опиралось на реальные факты, придется доказать, что вместе с Августом уехала Теренция, тогда как Ливия оставалась в Риме, но Дион Кассий нигде об этом не упоминает, хотя и пересказывает имевшие хождение грязные слухи. Кроме того, известно, что в поездке его сопровождал сын Ливии Тиберий, а в то, что Август решил бы сделать его свидетелем оскорбительной для его матери связи, верится с трудом. Скорее всего, в данном случае Август

стал жертвой многочисленных недоброжелателей, которые использовали против него проверенное оружие — клевету (fama) и старательно распространяли сплетни, ни доказать, ни опровергнуть которые было невозможно.

Накануне отъезда, возможно, и предпринятого с целью положить конец пересудам, он провернул несколько дел, различных по масштабу, но, бесспорно, связанных внутренней логикой. Он устроил брак сына Ливии Друза с Антонией — младшей дочерью Октавии и Антония, в надежде дожидаться от этой пары потомства, в жилах которого будет течь и его кровь, и кровь Ливии. Он освятил храм Квирина — то есть обожествленного Ромула, перестроенный по его инициативе. Дион Кассий особенно отмечает этот факт в связи с тем, что число колонн, украшавших храм, равнялось 76 — именно столько лет намеревался прожить Август. Очевидно, он придавал особое значение культу обожествленного Ромула, потомком и одновременно земным воплощением которого себя считал. Покидая Рим, он напомнил его жителям о божественной природе собственной власти, любое посягновение на которую обретало характер святотатства.

С другой стороны, он не предпринял ничего, чтобы помешать распространению слухов (если только сам же их и не пустил) о чудесах, случившихся сразу после его отъезда. В первую же ночь вспыхнул и сгорел дотла храм богини Юности. На Священной дороге видели волка, который добрался до самого Форума, где покусал несколько человек. Рядом с площадью откуда ни возьмись появились целые полчища муравьев, а в небе, с юга на север, пронеслись языки пламени. Что оставалось несчастному римскому народу, покинутому своим принцепсом, перед лицом таких страшных предупреждений? Только одно: умолять его вернуться. В этом и состояла ловкость его плана: уехать, но так,

чтобы оставшиеся принялись немедленно скорбеть о его отъезде. С глаз долой, но вовсе не вон из сердца. Он умело играл на людских настроениях, заставляя относиться к себе как к божеству, одно присутствие которого вселяет в душу уверенность, что все будет хорошо.

Он действительно проделал все это очень умело, однако за его поездкой стояли причины куда более веские, чем просто желание дать предлог посудачить о своей персоне. Август чувствовал настоятельную потребность своими глазами увидеть, что творится в западных провинциях, в частности, на левом побережье Рейна, по которому проходила граница империи, находившаяся под постоянной угрозой набегов со стороны германских племен, населявших правое побережье.

Целых три года Август бороздил просторы восточных владений империи. Галлами в то время правил некий Лициний, захваченный в рабство Юлием Цезарем и потом им же отпущенный на волю. Август назначил его прокуратором Галлии и посадил править в Лугдуне (ныне Лион). Этот человек откровенно злоупотреблял своим положением и безжалостно грабил подчиненное ему население. Дошло до того, что он приказал удлинить год на два месяца, чтобы собрать побольше налогов. Августу стало об этом известно, но Лициний оказался не так прост. Пригласив Августа к себе, он продемонстрировал ему огромные богатства, конфискованные, как он утверждал, с единственной целью — помешать кому бы то ни было использовать их на организацию мятежа против римлян. Август не только согласился с этим явно надуманным объяснением, но и, по всей видимости, принял в дар часть награбленной добычи [\[171\]](#).

Конечно, сам он никакого преступления этим не совершил, но своим попустительством укрепил позиции

бессовестного прокуратора. Очевидно, он рассудил, что ему выгоднее числить его в рядах друзей, чем врагов. Даже не одобряя методов, которыми тот действовал, он с присущим ему прагматизмом поддержал его в качестве гаранта мира и спокойствия в этой провинции. В Галлии и в южной Испании он основал несколько новых колоний и изменил статус некоторых из уже существовавших, возникших еще при Юлии Цезаре. Благодаря ему и появились тогда на карте существующие и поныне города Экс, Арль, Оранж, Везон.

Во время поездки Август смог в полной мере оценить высокие достоинства своих пасынков — Тиберия и Друза, которые командовали римскими войсками в стычках с германцами. Их подвиги воспела и официальная пропаганда, представление о тоне которой дают оды Горация. Сравнивая Друза с орлом и львом одновременно, он писал («Оды», IV, 4, 22–36):

Откуда навек этот, неведомо,
Но весть правдива: лютых винделиков,
Непобедимых в дни былые,
Юный воитель разбил в сраженье!

Ясна им стала мощь добродетели,
Возросшей в доме, ларами взысканном;
И ясен смысл заботы отчей
Августа о молодых Неронах!

Отважны только отпрыски смелого;
Быки и кони силу родителей
Наследуют, смиренный голубь
Не вырастает в гнезде орлином.

Ученье — помощь силе наследственной,
Душа мужает при воспитании,

Но если кто прельщен пороком —
Все благородное в нем погибнет [\[172\]](#).

Расписывая победы, одержанные Друзом над ретийцами и винделиками, Гораций не забывает отдать должное и Августу, который, воспитывая своих пасынков в доме, «ларами взысканном», сумел отшлифовать их врожденные таланты. Далее следуют рассуждения морального характера, напоминающие читателю, что именно Августу принадлежит заслуга восстановления нравственных ценностей.

Рассказывая о дальнейших боевых успехах Друза и Тиберия, Гораций с еще большим усердием восхваляет Августа (IV, 14, 1-6):

Какою в камень врезанной надписью
Смогли б сенат и римские граждане
Тебя достойно возвеличить,
Гордость народа, великий Август,
В краях подлунных между владыками
Себе величьем равных не знающий! [\[173\]](#)

Итак, все свои подвиги Друз и Тиберий совершили исключительно благодаря Августу и под сенью его благодатного могущества.

Свою последнюю оду Гораций, не в силах следовать совету Аполлона, призывающего поэта отказаться от воспевания военных подвигов, превращает в настоящий гимн во славу Августа (IV, 15, 4-24):

В твой век, о Цезарь,
Тучнеют нивы, солнцем согретые,
Знамена дремлют в храме Юпитера,
Забив парфянский плен позорный;

Долго пустевший приют Квирина —

Святыня снова! Ты обуздать сумел
Рукой железной зло своеволия;
Изгнав навеки преступленья,
Ты возвратил нам былую доблесть.

Она когда-то мощь италийскую —
Латинов имя — грозно прославила
В безмерном мире: от восхода
До гесперийской закатной грани!

Ты наш защитник, Цезарь! Ни гибельной
Войны гражданской ужас не страшен нам,
Ни гнев, пугающий меч, чтоб распря
Города с городом вызвать снова!

Твоим законам, Август, покорствуют
Дуная воду пьющие варвары,
И гет, и сер, и парф лукавый,
И порожденные Доном скифы [\[174\]](#).

Завершая сборник, эта ода как бы подводит итог всему, о чем говорил поэт, выделяя главные черты и главные образы нового режима. Присутствуя в каждой точке времени и пространства, Август сумел восстановить и бывшее процветание, и прежний мир, и старинную мораль.

Впрочем, в 16–13 годах вездесущий принцепс присутствовал в Городе лишь постольку, поскольку его жители помнили, как велик его авторитет. Рим тосковал по Августу, и снова Гораций взял на себя труд выразить нетерпение, с каким все без исключения ждали его возвращения («Оды» IV, 5, 1–8):

Отпрыск добрых богов, рода ты римского
Охранитель благой, мы заждались тебя!
Ты пред сонмом отцов нам обещал возврат
Скорый; о, воротись скорей!

Вождь наш добрый, верни свет своей родне!
Лишь блеснет, как весна, лик лучезарный твой
Пред народами, для нас дни веселей пойдут,
Солнце ярче светить начнет [\[175\]](#).

И вот, наконец, настал день 4 июля 13 года, когда Август возвратился в Рим. К жителям города словно вновь вернулась весна. В «Деяниях» Август вспоминает, с какими почестями соотечественники встречали его приезд:

«Когда в год консульства Тиберия Нерона и Публия Квинтилия я возвратился из Испании и Галлии, успешно наведя порядок в этих провинциях, сенат в честь моего возвращения воздвиг на Марсовом поле Алтарь Августова Мира и поручил магистратам, преторам и весталкам ежегодно совершать на нем обряд жертвоприношения». Освящение алтаря состоялось во время игр, включавших гладиаторские бои и навмахию, и сопровождалось великой помпой.

Освященный 30 января 9 года, этот алтарь в новое время был почти полностью восстановлен, и сегодня его можно видеть практически на том же месте, где он находился изначально — в районе между Тибром и развалинами мавзолея Августа. Это один из самых характерных памятников искусства эпохи Августа и один из самых выразительных символов ее официальной идеологии.

Настало время, когда Август смог наконец устроить свою жизнь с комфортом, какого требовало его пошатнувшееся здоровье. От верховой езды и

фехтования он отказался еще несколько лет назад, и эта перемена, принципиальная для всего образа его жизни, словно знаменовала собой ритуал перехода в новую возрастную категорию. Однако вступление в полосу спокойной зрелости свершилось не сразу. До 4 июля 13 года Август постоянно разъезжал из конца в конец империи. В ранней юности он совершил поездку в Испанию, откуда отправился в Аполлонию; затем, в первые годы триумvirата, проделал путь от Рима до Филипп; во времена борьбы с Секстом Помпеем дважды ездил в Сицилию; затем побывал в Далмации, в Акциуме и на Востоке; снова посетил Испанию; еще раз объехал Восток, наконец, совершил новое путешествие по испанским и галльским землям. Одним словом, до той поры он никогда подолгу не оставался на одном месте. Лишь теперь он мог позволить себе осесть и зажить обычной жизнью римского патриция.

Разумеется, это не означало, что он намеревался стать домоседом. Отнюдь нет! Мы вообще довольно плохо представляем себе «мобильность» людей древнего мира, настолько медлительность средств передвижения и связанные с ним неудобства кажутся нам непреодолимыми. Но и Август, и прочие представители высшего римского общества довольно часто совершали поездки в свои пригородные имения, не видя в этом ничего особенно выдающегося. Точно так же, кстати сказать, вели себя и французские короли, которые вплоть до династии Валуа прекрасно знали свое королевство, потому что изъездили его вдоль и поперек. Лишь с приходом к власти Людовика XIV французская монархия сама себя окружила «чертой оседлости», тесным периметром охватившей ограниченный кусок пространства между Версалем, Марли и Фонтенбло.

Итак, отныне жизнь Августа протекала либо на римских холмах, либо в близлежащих Тибуре и Тускуле, либо в Кампании — в Сорренте и на Капри.

Если бы тогда выходили ежедневные газеты, с июля 13-го по март 12 года они сообщали бы своим читателям только хорошие новости. Юлия ждала пятого ребенка; Августу исполнилось 50 лет, и здоровье его не внушало никаких особенных тревог; 6 марта 12 года, после долгожданной кончины Лепида и в результате совершенно беспрецедентной процедуры, напоминавшей плебисцит, принцепс получил сан и должность верховного понтифика; на границах царило спокойствие; эскизы скульптурных панно для украшения Алтаря Мира, представленные художниками, получили одобрение, и мастера уже взялись за работу...

Впрочем, одна неприятность все-таки случилась. Суеверному Августу она вполне могла показаться недоброй приметой. Во время торжественного открытия театра, которому он дал имя Марцелла, под ним развалилось курульное кресло, и он упал на землю. Неужели на ясном небосклоне его судьбы появились первые облачка — знак приближающейся грозы? Впрочем, кое-какие шаги, омрачившие безмятежный покой последних лет, предпринял и сам Август. Торжественное празднование установления мира не помешало ему начать подготовку к единственной в истории его принципата завоевательной кампании, которую он задумал еще во время поездки в Галлию. Он решил, что границу империи следует отодвинуть до Эльбы. В 12 году младший сын Ливии Друз совершил первые вылазки в эти опасные и плохо изученные земли. Мы знаем, что эта мечта так и останется мечтой, а попытки ее осуществления не принесли римлянам ничего, кроме горечи поражений. Но над головой Августа собирались и другие тучи, посланные то ли судьбой, с недоброжелательной ревностью поглядывающей на тех, кто слишком твердо уверовал в свое везение, то ли провидением, которое так любит испытывать на прочность сильных мира сего.

Агриппа покидает сцену навсегда

В марте 12 года в Рим пришла весть о том, что Агриппа, который возвращался домой из Паннонии, по пути заболел и сделал остановку в Кампании. Случилось это в дни, когда город праздновал квинкватрии^[176]. 19 марта Август торжественно вступил в должность верховного понтифика и уже в этом качестве присутствовал при ритуальной пляске, исполненной членами жреческой коллегии салиев. Но сообщения о состоянии Агриппы, которые ему доставляли из Кампании, становились все тревожней, и в конце концов он решил отправиться туда лично. Но он опоздал: Агриппа умер прежде, чем Август добрался до Кампании. Принцепс не скрывал охватившего его горя. С ранней молодости Агриппа всегда был рядом с ним, всегда оставался самым верным и надежным другом. Глядя на них, ровесников, со стороны, никому и в голову не пришло бы предположить, что первым умрет не физически слабый и подверженный сотне хворей Август, а сильный и здоровый Агриппа, никогда не ведавший других недугов, кроме мучившей его подагры^[177].

Но именно Августу пришлось сопровождать в Рим прах Агриппы. Он же произнес и похвальное слово умершему. Правда, поскольку по древнему обычаю понтификам не полагалось смотреть на вещи, имеющие хоть какое-нибудь отношение к смерти, Август, сочтя невозможным отказать другу в последнем выражении признательности, приказал закрыть от него тело покойного занавесом. Отсюда, из-за занавеса, он и обращался к почившему Агриппе, вспоминая все вехи его славного пути:

«В год консульства Лентулов (18 г.) сенат на пять лет наделил тебя властью трибуна; в год консульства

твоих зятьев Тиберия Нерона и Квинтилия Вара (13 г.) такая же честь была тебе оказана еще на пять лет. В какую бы провинцию ни привели тебя дела, никто, по законам Римской республики, не обладал в этой провинции властью большей, чем ты. Но ты, своими добродетелями и нашей привязанностью со всеобщего согласия вознесенный к самым вершинам могущества...»^[178]

По этому фрагменту мы можем судить об общей тональности, в которой был выдержан пафос похвального слова, в целом совпадающий с тональностью «Деяний». И здесь и там подчеркнуты законные основания, на которых зиждется власть (в данном случае Агриппы), ее всеобщая поддержка, особый авторитет Августа, чья «привязанность» позволила его другу достичь властных вершин, наконец, наличие добродетелей, обязательных для всякого выдающегося государственного деятеля. Август не случайно включил эти важные в политическом отношении темы в свое публичное выступление, используя траурную церемонию для демонстрации общественного согласия. По этой же причине он и похороны Агриппы организовал в точности по тому же «протоколу», какой заранее продумал и для себя лично. Он потерял не только друга и зятя, но и ближайшего помощника в государственном управлении, и ясно, что траур по Агриппе никак не мог оставаться его частным делом. Собственно говоря, существовавшая тогда система вовсе не знала разделения на «личное» и «общественное», и переживание вполне искренней скорби не означало забвения государственных интересов.

Но Августа ждало жестокое разочарование. Агриппа был «новым человеком», и самые видные римские граждане так и не простили ему простонародного происхождения. Они отказались почтить своим

присутствием траурные игры, устроенные Августом в честь покойного зятя. Смерть Агриппы не только не сплотила римское общество политически и эмоционально, но и сделала явными те скрытые источники, которыми питалось недовольство высшего римского общества проводимой Августом политикой.

Поистине, чтобы придать кончине Агриппы размах общенациональной катастрофы, понадобилось бы вмешательство небес. Они и вмешались, — во всяком случае, люди думали, что вмешались. Накануне смерти Агриппы в городе вдруг появились стаи сов и вспыхнуло несколько пожаров, в огне одного из которых сгорела хижина Ромула на Палатине. Незадолго до того на крышу этой самой хижины с неба упало несколько кусков мяса — оказалось, их выронили вороны, улетающие с добычей, выхваченной прямо из пламени жертвенника. Во время Латинских празднеств^[179] на Альбанской горе консулы своими глазами увидели, как в их дом ударила молния. Но, пожалуй, самым страшным предупреждением стала комета, появившаяся в римском небе и через несколько дней рассыпавшаяся на части. И тем, кто презирал Агриппу за низкое происхождение, пришлось — хочешь не хочешь — признать, что небеса проявили прямо-таки исключительный интерес к кончине какого-то простолюдина. Значит, его смерть действительно оказала влияние на судьбу Августа, а следовательно, и всего Рима. Сгоревшая в огне пожара хижина Ромула не могла не связать в логическую цепочку печальную участь Агриппы и будущее Августа — нового Ромула.

Август послушался богов и, отмахнувшись от презрительного недовольства римской аристократии, приказал захоронить останки Агриппы в своем личном мавзолее.

За всей этой суматохой как-то совершенно забылось, что из жизни ушел прежде всего человек

величественной, но по-своему трагичной судьбы. Именно об этом говорит Плиний Старший, написавший в честь Агриппы собственную надгробную речь, из которой гораздо яснее выступают черты смертного из плоти и крови, чем облик бронзовой скульптуры, старательно вылепленной Августом («Естественная история», VII, 6, 2);

«Противоестественно, когда ребенок рождается ножками вперед; таких младенцев называют «агриппами», что означает «рожденный в муках». Говорят, именно так появился на свет и Марк Агриппа — может быть, единственный из рожденных подобным образом баловень судьбы. Но и он мучился подагрой, познал трудную юность и всю свою жизнь провел в войнах, среди убитых. Он многого достиг, но его успехи не привели к добру: вся его порода обернулась для людей злым роком. Особенно это относится к обеим Агриппинам, родившим на свет Калигулу и Нерона, каждый из которых стал бичом рода человеческого. К тому же и век его был недолог — он умер в 51 год, измученный изменами жены и деспотизмом тестя, словно исполнил предначертание судьбы, проявившееся в его противоестественном рождении».

Итак, в число несчастий Агриппы традиция включила деспотизм Августа. Вскоре принцепс дал еще одно доказательство того, что молва не ошиблась. Тяжело переживая утрату, понесенную в лице Агриппы, он тем не менее стал немедля подыскивать ему замену. И снова, в третий уже раз, подумал о Юлии. Она в это время ждала ребенка, который вскоре и родился. Это был мальчик, и его назвали Агриппой, добавив к имени прозвище Постум, каким всегда награждали детей, явившихся на свет после смерти отца. Разрешившись от бремени, Юлия снова превратилась в невесту. Впрочем, из-за тянувшегося за ней шлейфа слухов о супружеской неверности Август склонялся к тому, чтобы выдать ее

замуж за какого-нибудь всадника попроще, который, даже породнившись с семьей принцепса, не смог бы строить на этом основании никаких честолюбивых планов. Но Юлия решительно воспротивилась перспективе мезальянса и совершенно неожиданно нашла себе союзницу в лице Ливии, мгновенно сообразившей, что ее сыну Тиберию наконец-то подвернулся реальный шанс пробиться к вершинам власти. Тиберий, правда, был женат — на дочери Агриппы Випсании Агриппине, мало того, был счастлив в браке. У дружной семейной пары уже подрастал сын и вскоре ожидалось появление еще одного ребенка. Поддавшись уговорам Ливии, но в еще большей степени будучи убежден в военных талантах Тиберия, Август согласился отдать ему Юлию. Дальше события развивались стремительно. Тиберия вынудили развестись с женой^[180]. Он подчинился, но с мукой в душе, и тосковал по оставленной супруге долго и безутешно. Однажды, случайно встретившись с ней, он проводил ее взглядом, исполненным такой глубокой нежности, что это не укрылось от окружающих. С той поры «были приняты меры, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза». Надо полагать, приказ, хоть и сформулированный достаточно обтекаемо, исходил от Августа или от Ливии. Насколько горячо Тиберий сожалел об Агриппине, настолько же Юлия с ее подмоченной репутацией, еще при жизни Агриппы пытавшаяся строить ему глазки, оставляла его равнодушным. Как бы там ни было, государственные интересы возобладали над всеми прочими, и запланированный Августом и Ливией брак состоялся^[181].

Сцена пустеет

Пока Август искал все новые изобретательные ходы, выстраивая свою династическую политику, сцена его театра начала пустеть на глазах. В 11 году, через год после смерти Агриппы, умерла Октавия, и Август проводил ее в последний путь похвальным словом, произнесенным с роствра храма Цезаря. Казалось, с ее кончиной уходили в прошлое последние воспоминания о гражданских войнах, хотя на самом деле все обстояло гораздо сложнее. Плакать Октавию на земле остались четыре дочери, двум из которых, родившимся в браке с Антонием — Антонии Старшей и Антонии Младшей, предстояло стать бабками: одной — Нерона, другой — Калигулы. В действительности Октавия, хотя догадываться об этом никто, конечно, не мог, заслуживала в своем надгробном слове таких же слов, какие позже прозвучали по адресу Агриппы, ибо от нее произошли два самых страшных «бича» Римской империи. Но, разумеется, в речи Августа доминировали совсем другие мотивы: он посвятил ее восхвалению добродетелей усопшей сестры.

Два года спустя, в 9 году, на город обрушились невероятной мощи грозы, оставившие после себя страшные разрушения. Пострадал даже Капитолийский храм. Рим, а вместе с ним и семья принцепса жили в ожидании новых несчастий. Они не ошиблись: вскоре город узнал о смерти брата Тиберия — Друза.

Друз довел свое войско до берегов Эльбы, и здесь, как впоследствии рассказывали, ему повстречалась исполинского роста женщина из племени варваров. Обращаясь к нему на чистом латинском языке, она произнесла:

«Куда ты так торопишься, ненасытный Друз? Судьбе не угодно, чтобы ты взошел на эти земли. Ступай прочь, ибо и дело твое, и жизнь твоя подошли к концу»^[182].

В римском лагере тоже происходили всякие невообразимые вещи. Люди своими глазами видели рыскавших между палаток волков и своими ушами слышали женские стоны, раздававшиеся откуда-то сверху, с небес. Авторами всех этих сказок выступили впоследствии воины Друза, которые чувствовали необходимость объяснить, почему их полководец отказался продвигаться в глубь незнакомой территории. Одновременно они творили вокруг имени Друза, к которому относились с большой любовью, героическую легенду. Именно солдаты воздвигли своему полководцу кенотаф, возле которого каждый год должен был проходить военный парад, сопровождаемый жертвоприношениями, совершаемыми жителями галльских городов. Таким образом, гибель Друза приобретала трагедийную окраску, на которую, строго говоря, покойный не имел никакого права, поскольку причиной его смерти стало неудачное падение с лошади, повлекшее за собой травму бедра, очевидно, осложненную общим заражением крови. Как когда-то Август, узнавший о болезни Агриппы, Тиберий поспешил к умирающему брату и успел застать его в живых — но лишь затем, чтобы принять его последний вздох^[183].

Ливию смерть сына, которому едва исполнилось 29 лет, ввергла в глубокое горе. Со своими утешениями к ней поспешили «философ мужа» — тот самый вывезенный из Александрии Арий — и еще один поэт, чье имя осталось нам неизвестным^[184]. Арий объяснил Ливии, что она не должна отказывать себе в удовольствии выслушивать друзей, вспоминающих о ее сыне, как не должна забывать и о тех счастливых минутах, которые пережила благодаря ему. В

заключение он привел довод, чеканной формулировкой которого мы обязаны выразительности стиля Сенеки:

«Умоляю тебя, не гонись за глупым тщеславием прослыть самой несчастной из женщин!»

Ливия прислушалась к совету и не стала подобно Октавии выставлять напоказ свою скорбь — довольно ординарное, впрочем, состояние для того времени, в котором средняя продолжительность жизни оставалась очень низкой, особенно в семьях, чьи сыновья посвящали себя военной карьере.

Сказать ничего умнее Ария Август, конечно, не мог. Он постарался утешить Ливию единственно доступным ему манером — воздвиг в ее честь статуи и добился ее включения в списки матерей, имеющих троих детей^[185]. Довольно странный, если вдуматься, способ утешить мать, имевшую, во-первых, лишь двоих сыновей, во-вторых, только что потерявшую одного из них, в-третьих, наконец, и так давно пользовавшуюся всеми юридическими льготами, полагавшимися многодетным матерям!

Август, естественно, не впал в глубокую скорбь по поводу смерти Друза, но и он пережил искреннее огорчение, которое усугубили вдруг поползшие по городу слухи. Друз показал себя удачливым и умелым полководцем, но, как когда-то говаривал Агриппа, правители не любят тени, застящей их собственную славу. К тому же Друз придерживался демократических убеждений и мечтал о восстановлении республики. Рассказывали даже, что Тиберий выдал написанное его братом письмо, в котором тот рассуждал о необходимости заставить Августа вернуть свободу^[186]. Скорее всего, это обвинение просто выдумали недоброжелатели Тиберия. После его прихода к власти историки в один голос заговорили о его жестокости и старательно искали примеры ее проявления в его ранние годы, так что история с предательством брата

годились для этой цели как нельзя лучше. Однако та поспешность, с какой Тиберий бросился к умирающему брату, и теплые отношения, которые он всю жизнь поддерживал с вдовой Друза Антонией, заставляют серьезно усомниться в его злонамеренности.

Но гораздо больше неприятностей принес Августу другой слух — о том, что Друз был отравлен по его приказу. Он всегда хорошо относился к своему пасынку и даже вписал его имя в завещание в качестве сонаследника собственных внуков. Он не возражал, когда сенат принял решение воздвигнуть в честь Друза триумфальную арку на Аппиевой дороге. Выступая с похвальным словом покойному во Фламиниевом цирке, Август обратился к богам с просьбой «сделать любезных его сердцу Цезарей похожими на него [то есть на Друза], а ему самому послать такую же славную смерть», какую они послали Друзу. Наконец, его гробницу он украсил стихотворной эпитафией собственного сочинения, а позже написал биографию Друза, правда, на сей раз в прозе. Очевидно, прав Светоний, полагающий, что эти факты не оставляют камня на камне от подозрений по адресу Августа, якобы повинного в преднамеренном убийстве пасынка. Для нас эти слухи представляют интерес прежде всего как свидетельство недоброжелательности, по-прежнему окружавшей принцепса и его семью^[187].

В следующем, 8 году умер Меценат — друг юности. Хотя впоследствии он довольно сильно отдалился от Августа, окончательного разрыва между ними так и не произошло. Всей своей жизнью Меценат доказал, что он как никто иной способен на дружбу — но на дружбу с другими, точнее, с другим, а именно с Горацием. За много лет до этого Гораций посвятил Меценату такие строки («Оды», II, 17, 5–12):

Если гибель безвременно вместе с жизнью твоей
Унесет и души моей половину,
Для чего мне вторую хранить?
В день кончины твоей с этой жизнью расстанусь
и я.
Не сторонник я лживых обетов:
Если прежде меня ты в последний отправишься
путь,
За тобою последую тотчас.

Гораций сдержал слово. Он пережил Мецената всего на несколько месяцев.

Как относился Август к этой дружбе, гораздо более искренней, чем все заверения в преданности, которыми его осыпали официальные приближенные? Что он вообще думал о дружбе, пример которой наблюдал своими глазами, понимая, что ему, оторванному от людей и простых человеческих чувств величием своего положения, никогда не познать ничего подобного? Позже он признавался, что тоскует по временам, когда были живы Агриппа и Меценат. Наверное, такую же тоску одиночества испытывает любой человек, которому приходится хоронить одного за другим друзей своей молодости, чувствуя, что годы понемножку и его все ближе подталкивают к переходу в мир, куда друзья ушли раньше него. По всей вероятности, 8 год стал переломным в личном мироощущении Августа, который отныне все тепло своей души и все свои надежды стал отдавать молодому поколению, надеясь, что оно продолжит его дело.

Тиберий отказывается от роли

Одним из самых ярких кандидатов на роль будущего правителя Рима был Тиберий. В 7 году, избранный консулом, он решил восстановить на Форуме храм Согласия, а на его фронтоне выбить два имени — свое и Друза, воздав тем самым покойному брату дань посмертного уважения. Когда Август приказал на месте разрушенного дома Ведия Поллиона воздвигнуть портик в честь Ливии, имя Тиберия фигурировало на нем наряду с именем его матери. Но все эти проявления верности семейному духу нисколько не улучшили его отношений с Юлией. Когда Тиберий давал пир сенаторам, на обеде, устраиваемом для их жен, председательствовала отнюдь не Юлия, но Ливия^[188]. Это обстоятельство не осталось незамеченным, и год спустя, когда Тиберий неожиданно выкинул свой «театральный» трюк, получило свое толкование.

Августу случившееся казалось непостижимым и заставило его продемонстрировать окружающим, что и его терпение имеет пределы. Он всегда считал само собою разумеющимся, что каждый мужчина в семье обязан жить интересами империи. До последнего времени Тиберий полностью подчинялся этому жесткому императиву. Он успел побывать консулом, на пять лет получил полномочия трибуна, прекрасно проявил себя на полях сражений и удостоился своей доли военной славы. Он хорошо разобрался в парфянском вопросе — ведь именно ему удалось добиться возвращения значков, захваченных после поражения Красса. Поэтому, когда парфяне, воспользовавшись смертью царя Тиграна, вознамерились активно вмешаться в армянские дела, Август решил направить в Армению свои войска, а руководство походом поручить Тиберию. Ко всеобщему

изумлению, Тиберий отказался от предложенной чести, объявив, что чувствует себя слишком измученным и ему необходим отдых. Он также сообщил, что слагает с себя все обязанности и уезжает из Рима — один и надолго.

Нетрудно догадаться, с каким потрясением выслушали его члены семьи. Ливия, наконец-то уверившаяся, что карьера ее сына потекла по нужному руслу, сделала попытку переубедить сына. Но все ее аргументы, все призывы к рассудку и сердцу Тиберия разбились о его ледяную решимость. После нее за дело взялся Август. Он говорил о спасении государства, о долге принцепса... Тщетно. Тогда по своему обыкновению он предал позицию пасынка гласности и произнес перед сенаторами гневную речь о предательстве со стороны одного из самых близких людей.

Видя, что принцепс не торопится предоставить ему требуемый отдых, Тиберий объявил голодовку. Новый шок для семьи, совершенно обескураженной не слишком распространенным в те времена способом давления, к которому прибегнул Тиберий. К концу четвертого дня Август дрогнул. Перед отъездом Тиберий, стремясь отвести подозрения в том, что им движет ненависть к юным Цезарям, на глазах Августа и Ливии сломал печати своего завещания, дабы те убедились, что все свое имущество он завещает им^[189]. Оставив в Риме Юлию и своего сына Друза, он поспешил в Остию, где, торопливо обнявшись на прощанье с немногими явившимися проводить его друзьями, поднялся на корабль и отплыл.

Он уже двигался вдоль побережья Кампании, когда его догнала весть о том, что Август заболел. По всей видимости, с Августом, до глубины души оскорбленным поведением пасынка, случился один из очередных приступов, спровоцированных нервным перенапряжением. Тиберий растерялся. Он приказал бросить якорь и мучительно раздумывал, что делать

дальше. В это время до него дошли разговоры в том, что он якобы с нетерпением ждет сообщения о смерти Августа. Тогда он велел продолжать путь и вскоре причалил к острову Родос. Здесь он провел семь лет. Поначалу он и сам не хотел возвращаться в Рим, а позже уже и не мог этого сделать, поскольку Август не желал его видеть.

Историки, начиная с античности, выдвинули множество гипотез, так или иначе объясняющих странное поведение Тиберия. Кажется несомненным, что он пережил какой-то тяжелый душевный кризис. Чтобы разобраться в его природе, нелишне будет вспомнить, что последние годы своей жизни он провел на Капри, явно стремясь убежать от чего-то, с чем не мог справиться. В 6 году его поспешное бегство из Рима выдавало неукротимое желание сбросить с плеч какой-то груз, тяжесть которого казалась ему непереносимой. Возможных вариантов не так уж много: им двигали побуждения либо политического, либо частного характера. Сложность в другом: имея дело с человеком его эпохи и его социального положения, невероятно трудно отличить первые от последних.

Рассмотрим прежде гипотезу бегства по политическим мотивам. Пятью годами позже он сам признавался, что не хотел быть заподозренным в соперничестве с молодыми Цезарями. Он мог бы привести в пример Агриппу, по распространенному мнению, покинувшего Рим с единственной целью — не присутствовать при возвышении Марцелла, который ему решительно не нравился. Вполне возможно, что и Тиберию не приносило никакой радости наблюдать, как Август пестует для будущей власти двух юнцов, имеющих перед ним единственное преимущество — принадлежность к благословенной фамилии Цезарей. Наследник рода Клавдиев, он, конечно, не мог безропотно уступить первенство двум молокососам —

потому что был старше их на два десятка лет и потому что уже не раз доказал свою доблесть, защищая границы империи.

Эта причина, вполне правдоподобно объясняющая отъезд Тиберия, увы, не объясняет его поспешности. В последние пять лет в жизнь Тиберия вошла Юлия — мать обоих юных Цезарей. Поначалу их супружество складывалось скорее благополучно, может быть, за счет того, что Юлии нынешний 30-летний муж нравился гораздо больше, чем перешагнувший 50-летний рубеж Агриппа. На какое-то время ей даже удалось заставить Тиберия забыть о его прежней жене, и их совместная жизнь казалась совершенно нормальной — насколько могла быть нормальной жизнь людей с учетом их социального положения и обстоятельств их женитьбы. Юлия сопровождала Тиберия в его поездке по Иллирии, и, пока он участвовал в военном походе, ждала его в Аквилее. Там же она произвела на свет сына. В этом ребенке — живом свидетельстве родительской любви — смешалась кровь Юлиев и Клавдиев. Август и Ливия наконец-то получили общего внука. Надо думать, это событие наполнило их сердца радостью и заставило задуматься над тем, какое место следует отдать мальчику в системе наследования, до сих пор ориентированной на обоих Цезарей. Действительно, этот ребенок, являя собой символ семейного согласия, одновременно мог стать причиной затруднений, а то и раздоров в будущем.

Но... И радости, и беспокойства, и надежды, связанные с сыном Юлии и Тиберия, оказались пустыми. Ребенок умер в младенчестве. Как будто судьба в очередной раз не допустила, чтобы оба рода получили общего отпрыска, обрекая их союз на вечное бесплодие. Впрочем, пройдут годы, и она сменит гнев на милость. Не дав Августу и Ливии ни детей, ни внуков, судьба

подарит им общих правнуков — сыновей и дочерей Германика и Агриппины.

Смерть ребенка разрушила хрупкое семейное благополучие Юлии и Тиберия. Юлия стала выказывать мужу неприкрытое презрение и изводила его злыми насмешками^[190]. Отца она упрекала, что это он навязал ей неудачный брак, и понемногу возвращалась к тому легкомысленному образу жизни, какой вела когда-то. Мы не знаем, чем именно не угодил ей Тиберий — то ли тем, что мешал карьере ее сыновей, то ли, напротив, тем, что смирился с ролью второстепенного лица, но факт остается фактом: жить с ней стало невозможно.

Тиберия снова охватила тоска по первой, оставленной им супруге, и он чувствовал, как растет в нем ненависть к умным, расчетливым женщинам вроде Юлии и Ливии. Ведь и мать постоянно распоряжалась его жизнью и при этом всегда оставалась им недовольна. Вскоре он отказался делить с женой брачное ложе, а их распри приобрели публичный характер, то есть стали предметом пересудов и критики, дав обильную пищу многочисленным добровольным советчикам.

В конце концов нервы его не выдержали. Уставший от тягот походной жизни, презираемый женой, поучаемый матерью, вытесненный из мыслей Августа его внуками, все достоинства которых ограничивались рождением на свет, он бросил все и бежал. Август лишился одного из самых надежных своих помощников.

Принцепсы молодежи

В 5 году, впервые после долгого, с 23 года, перерыва, Август принял консульство. Оно понадобилось ему, чтобы представить сенаторам своего сына Гая Цезаря, которому исполнилось 15 лет. То же самое он проделал во 2 году, когда пришла пора представить Луция Цезаря. О почестях, оказанных юношам, он пишет в «Деяниях» (XIV):

«Когда обоим моим сыновьям, Гаю и Луцию, безвременно отнятым у меня Фортуной, было по 15 лет, сенат и римский Народ, желая оказать мне честь, назначил их консулами с условием вступить в должность через пять лет, но с первого же их появления на Форуме сенаторы позволили им участвовать во всех обсуждениях. Со своей стороны, римские всадники дали им прозвище «принцепсов молодежи» и подарили им серебряные щиты и копья».

Молодежь, принцепсами, то есть первыми лицами которой предстояло стать приемным детям Августа, как и сам он был первым из сенаторов, состояла из юных всадников и сенаторских сыновей. Август мечтал привить этим юношам дух товарищества и патриотизм, который они проявляли далеко не всегда. Ради них он возродил старинную традицию особого парада, именуемую *transvectio equitum*^[191]. Он проводился раз в год, 15 июля, чтобы жители города своими глазами могли убедиться в молодецкой удали юного поколения двух высших сословий. Как сенат признавал первенство Августа, так и римская молодежь признала превосходство приемных сыновей Августа, которым, по общему мнению, в один прекрасный день предстояло взять в свои руки управление государством.

По всей вероятности, именно с целью показать молодежи живой пример благолепия семейной жизни 11 апреля 5 года одному из жителей этрусского города Фезулы дали позволение совершить жертвоприношение на Капитолийском холме. Звали этого человека Гай Криспин Гилар, и он привел с собой 9 детей, 27 внуков, 8 внучек и 29 правнуков^[192].

Отец отечества и сын Юлия Цезаря

Хоть Август и не мог похвастать таким же внушительным потомством, детей у него было больше, чем у кого-либо на свете, ибо его отцовская власть простиралась над всеми жителями империи. 5 февраля 2 года он получил официальный титул Отца отечества. Уже дважды народ предлагал ему это звание, и дважды он отвергал предложение: первый раз, когда народная делегация явилась в его резиденцию в Антии, второй — когда к нему обратилась толпа в римском театре. Совершенно очевидно, что он не желал получать столь высокое звание от толпы, представлявшей неизвестно кого, но, по своему обыкновению, ждал, когда нужное решение примет сенат от лица римского Народа. На заседании, проходившем 5 февраля, с места поднялся Валерий Мессала, от имени всех собравшихся обратившийся к Августу с такой речью (Светоний, LVIII):

«Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август! Такими словами молимся мы о вековечном благоденствии и ликовании всего государства: ныне сенат в согласии с римским Народом поздравляет тебя Отцом отечества».

Август со слезами на глазах отвечал ему такими словами:

«Достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождало меня до окончания жизни?»

Итак, вместо благодарности сенаторам за оказанную ему высокую честь он снова повторил, что его единственное желание — объединить вокруг себя римлян и восстановить всеобщее согласие. Это желание владело им настолько полно, что, видя единство

сенаторов, он не сдержал слез. Мужчины той эпохи вообще не стыдились плакать, как, впрочем, не стыдились этого мужчины всех прочих эпох, пока не наступил XIX век и буржуазия не навязала миру собственные суровые понятия о мужественности. Август плакал не так уж часто, но вовсе не из-за ложного стыда; плакал Эней у Вергилия, плакал Людовик XIV, не говоря уж о мужчинах XVII века и мужчинах эпохи романтизма.

Между тем, пока он лил слезы, умиляясь согласием, воцарившимся среди римлян, выяснилось, что пришло время напомнить согражданам, что они имеют дело с сыном Юлия Цезаря, положившего конец ужасам гражданской войны. На специально перестроенной части Форума наконец-то завершилось сооружение храма Марсу Мстителю, который он поклялся возвести в тот день, когда состоялась битва при Филиппах. Торжественное открытие храма, ожидание которого затянулось на 40 лет, сопровождалось пышными празднествами. Народ наслаждался гладиаторскими боями, устроенной в Большом цирке звериной травлей, во время которой было убито 260 львов, и навмахией — представлением, изображающим морской бой. На сей раз было разыграно Саламинское сражение между афинянами и персами.

Новый монументальный комплекс, прижатый к склону холма, на котором теснились народные кварталы Субуры, и во избежание пожаров отделенный от них огромной стеной, стал наглядной демонстрацией могущества Августа. Храм украсили статуи Энея и царей Альбы, их потомка Ромула и многих выдающихся деятелей республики. Их присутствие словно говорило: принципат — естественное продолжение республики, а римская история неотделима от истории рода Юлиев. Конечно, ничего особенно нового в этой идее не содержалось, однако все художественное оформление

площади, над которой возвышался храм Марса, служило яркой иллюстрацией характера власти, основанной на военных победах. Отныне все заседания сената, на которых принимались решения об объявлении войны и заключении мира, проходили в храме Марса. Здесь же совершали жертвоприношение наместники, отбывающие в свою провинцию. Наконец, сюда же перенесли значки, возвращенные парфянами.

Юлия покидает сцену

По иронии судьбы, именно в те дни, когда Рим славил Отца отечества, Август получил неожиданный удар со стороны своего единственного родного дитяти. Юлии исполнилось 37 лет. Муж, которого она не любила, находился от нее далеко, и ей все труднее становилось бороться с искушением воспользоваться свалившейся на нее свободой. Время шло, и она с неудовольствием замечала, что в ее волосах появляется то один, то другой седой волосок. Однажды Август, заставший дочь за причесыванием, обнаружил, что она их выдергивает. Он ничего не сказал, но как-то после, заведя разговор о быстротекущем времени и неизбежности старости, задал ей вопрос, что бы она предпочла, поседеть или облысеть. Разумеется, отвечала Юлия, если пришлось бы выбирать, она бы скорее согласилась стать седой. «Тогда почему, — спросил он, — твои рабыни так торопятся сделать тебя лысой?»^[193] Так, значит, он за ней подсматривал! Нам кажется невероятным, чтобы отец вот так, не спросясь, заходил в комнату взрослой дочери, да еще в то время, когда она занимается своим туалетом. Однако, зная характер Августа, поверить в это очень легко. Но тут возникает другой вопрос. Если за Юлией так пристально следили, если, как на то похоже, вокруг нее кишели шпионы, подсланные Августом и Ливией, как ей, живущей в городе, где всякая сплетня немедленно подхватывалась и разносилась дальше, удавалось так долго проделывать вещи, в которых ее впоследствии обвинили, и при этом никто ни о чем не догадывался? Вся эта история представляется такой запутанной, что, прежде чем осмелиться на тот или иной вывод, обратимся к трем главным «свидетельствам», легшим в основу загадочного «дела Юлии».

Первый «свидетель» — Веллей Патеркул был близким другом и доверенным лицом Тиберия, что, разумеется, не означает его безусловной правдивости, скорее заставляет в ней усомниться. Как бы там ни было, именно версия Патеркула совпадает с официальной (II, 100):

«Буря, рассказ о которой ввергает в стыд, а воспоминание внушает ужас, разразилась в собственном доме Августа. Его дочь Юлия, презрев величие отца и мужа, окунулась в распутство и разврат, не упустив ничего из того, что может испробовать женщина. Высоту своего положения она мерила свободой делать что вздумается и полагала, что имеет право удовлетворять любые свои прихоти. Так продолжалось, пока Юл Антоний сам не признался в совершенных преступлениях. Этот осквернитель дома Цезаря являл собой живой пример его милосердия, ибо после поражения его отца Антония Цезарь не только сохранил ему жизнь, но и наградил саном жреца, позволил стать претором, консулом, наместником провинций, а самое главное — приблизил его к своей семье, дав ему в жены дочь своей сестры Марцеллу. Квинкий Криспин, под личиной суровости скрывавший необузданную алчность, Аппий Клавдий, Семпроний Гракх, Сципион и многие другие, с именами не столь известными и принадлежавшие обоим сословиям, понесли наказание, которое настигло бы их за прелюбодеяние с женой любого гражданина, а они совершили его с дочерью Цезаря».

Автор этих строк, весь дрожа от благородного негодования, обвиняет Юлию в бесчинствах, однако не уточняет, в каких именно. Сенека, описавший эти события примерно 50 лет спустя, в 41 году был выслан из Рима по навету жены Клавдия Мессалины, обвинившей его в незаконной связи с Юлией Ливиллой — сестрой Агриппины. И Ливилла, и Агриппина

приходились Юлии внучками, и Сенека наверняка слышал от них рассказ о несчастьях, постигших бабу. Итак, версия Сенеки («О благодеяниях», VI, 32):

«Божественный Август отправил в ссылку дочь, бесстыдство которой превзошло всякое порицание, и таким образом обнаружил перед всеми позор императорского дома, обнаружил, как целыми толпами допускались любовники, как во время ночных походов блуждали по всему городу, как во время ежедневных сборищ при Марсиевой статуе его дочери, после того, как она, превратившись из прелюбодейцы в публичную женщину, с неизвестными любовниками нарушала законы всякого приличия, нравилось избирать местом для своих позорных действий тот самый форум и ростры, с которой отец ее объявлял законы о прелюбодеяниях.

Плохо владея своим гневом, он (Август) обнаружил эти похождения, которые государю столько же надо карать, сколько и умалчивать о них, потому что позор некоторых деяний переходит и на того, кто их карает.

После, когда по прошествии некоторого времени стыд заступил место гнева, сожалея, что не покрыл молчанием того, о чем не знал до тех пор, пока не стало об этом стыдно говорить, Август часто восклицал: «Ничего этого не приключилось бы со мною, если бы живы были Агриппа или Меценат!»

Так трудно было человеку, имевшему в своем распоряжении столько тысяч людей, снова приобрести себе двоих. Были истреблены легионы — и немедленно наемлены вновь; разрушен был флот — и в течение немногих дней стал плавать новый; среди общественных построек свирепствовало пламя — и возникли новые, лучше истребленных: только место Агриппы и Мецената оставалось праздным во все время остальной жизни (Августа).

Что же, мнится ли мне, что не было подобных людей, которых бы императору можно было набрать снова, или то был недостаток, заключающийся в нем самом, так как он лучше желал жаловаться, чем снова поискать их?

Не надо думать, будто Агриппа и Меценат имели обыкновение говорить ему правду: если бы они были живы, то находились бы в числе льстецов. В характере царей есть привычка — хвалить потерянное в обиду присутствующих и приписывать добродетель правдивости тем, от кого уже нет опасности слышать правду»^[194].

Приведенный текст, изобилующий гиперболами, столь характерными для риторического стиля, вместе с тем не может не восхищать проницательностью и строгостью авторской оценки. В самом деле, его меньше всего интересуют проделки Юлии, и все свое внимание он сосредоточивает на ошибке, допущенной Августом, полагавшим, что, будь его друзья живы, они непременно предупредили бы его о назревавшем скандале, различные аспекты которого внимательное перо Сенеки описывает с видимым удовольствием. Несомненно, портрет Юлии получил некоторые черты образа Мессалины, которую также обвиняли в занятиях проституцией и говорили, что по утрам она являлась во дворец, неся с собой «запахи лупанара»^[195].

Последнее свидетельство принадлежит Тациту, творившему больше века спустя после событий. Как историка его больше всего интересовало разоблачение жестокости и злопамятности Тиберия, и в целом его рассказ повторяет изложенное Веллеем Патеркулом, может быть, с добавлением ряда подробностей («Анналы», I, 53):

«В том же году умерла Юлия, ранее сосланная за беспутство по приказу ее отца Августа. Она была замужем за Тиберием в те времена, когда росли и расцветали Гай и Луций Цезари, но презирала мужа,

считая, что он ей не пара, и по существу это стало единственной причиной его бегства на Родос». Тиберий, погубив Юлию, «обратил свою жестокость против Семпрония Гракха, потомка блестящего рода, человека, одаренного острым умом и красноречием, которые он использовал во зло, соблазнив эту самую Юлию еще тогда, когда она была супругой Марка Агриппы. И действовал он вовсе не из минутной прихоти. После того как Юлия вышла замуж за Тиберия, ее навязчивый любовник постарался обратить всю свою ненависть и весь свой дух противоборства на ее нового мужа. Говорили, что полное упреков по адресу Тиберия письмо, которое Юлия отправила Августу, на самом деле сочинил Гракх...».

Из анализа этих трех документов, созданных в разное время и с разными целями, прежде всего вытекает, что Юлия действительно серьезно провинилась. Вина ее заключалась в неумении сдерживать свои чувственные порывы, что приговор, вынесенный Августом, обозначил как бесстыдство (*impudicitia*). Если судить по тому, что Август так и не простил свою дочь, а после ее смерти никто не сделал ни малейшей попытки ее оправдать, она и в самом деле совершила тяжкий проступок. Это позволило Сенеке, не рискуя вызвать неодобрение, назвать Юлию публичной женщиной, хотя у власти находился ее правнук Нерон. Никто не спорил, что Юлия была настоящей развратницей, мало того, она превратилась в символ несчастий, которые может принести великим мужам весь женский род.

Итак, Юлия стала жертвой закона, изданного ее собственным отцом. Особая дерзость ее поведения выразалась в том, что она, дочь принцепса, бросила вызов официальной морали, избрав для своих выходов то самое место, с которого провозглашались принципы этой морали, обретавшие тем самым силу закона. Ей же

пришлось выступить и в роли примерно наказанной преступницы.

Август разразился гневом, достойным Юпитера, но тяжесть наказания, в сущности, оказалась не такой уж и страшной. К смертной казни приговорили одного Юла Антония, но и тот предпочел, не дожидаясь исполнения приговора, покончить самоубийством. Остальных соучастников бесчинств просто выслали на далекие острова. Не собирался Август лишать жизни и Юлию, которую сослал на остров Пандатария, расположенный неподалеку от берегов Кампании. Он запретил ей пить вино и принимать без его особого разрешения у себя в доме мужчин. О каждом госте Юлии предварительно докладывали Августу, указывая его возраст и рост, а также наличие шрамов или других особых примет. Подобные меры предосторожности доказывают, что боялся он не того, что его дочь будет встречаться с мужчинами, а того, что она будет встречаться с какими-то определенными мужчинами, которые могли явиться к ней под чужим именем. Поскольку приметы всех подозрительных лиц у Августа имелись, его агентам не составило бы труда определить личность каждого из них.

Более того, по собственному признанию Августа, он предпочел бы, чтобы Юлия покончила с собой. Когда ему донесли, что одна из вольноотпущенниц его дочери, женщина по имени Феба, повесилась, он заявил, что лучше бы ему быть отцом Фебы, чем отцом Юлии. В дальнейшем, когда при нем произносили имена Юлии, его внуки и внука — Юлии. Младшей и Агриппы Постума, он с горестным стоном цитировал стих «Илиады» (III, 40): «Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть!» и называл их не иначе как своими «тремя болячками» или «тремя язвами» (Светоний, LXV).

Позор, запятнавший семью, он выставил на всеобщее обозрение. В послании, которое по его приказу вслух

зачитали в сенате, он писал, что его дочь украсила венком статую Марсия, а потому он принял решение выслать ее вон из Рима. Одновременно он отправил письмо Тиберию, все еще находившемуся на Родосе, в котором сообщал, что от его имени объявил его брак с Юлией расторгнутым. Ничто — ни заступничество Тиберия, который вторично по воле Августа терял жену, а на сей раз лишался и положения зятя принцепса, ни мольбы простого народа, относившегося к Юлии с большой симпатией, — не поколебало его решимости. Народному собранию он в ответ на просьбы разрешить Юлии вернуться пожелал таких же дочерей и таких же жен (Светоний, LXV, 7).

Нам понятно, почему Август так тяжело переживал случившееся. Юлия глумилась над его властью принцепса и надругалась над его отцовским авторитетом. И строгость наказания, и отказ Августа пересмотреть свое решение находят свое объяснение в той неутраченной боли, которую Юлия причинила отцу своим недостойным поведением, заставив его заживо похоронить ее в ссылке. Люди склонны многое, может быть, слишком многое прощать тем, кого они любят, но лишь до тех пор, пока последняя капля не переполнит чашу терпения. В данном случае, следует признать, капля оказалась весьма увесистой.

Тем не менее этому объяснению, основанному на традиционной психологии, не хватает убедительности. Из подтекста сохранившихся документов можно догадаться, что за поведением Юлии стояло нечто большее, нежели обыкновенная распущенность. Попробуем взглянуть на это дело с учетом всех сообщаемых фактов. Любовники появились у Юлии еще в то время, когда ее мужем был Агриппа. По меньшей мере один из них — Семпроний Гракх — и 12 лет спустя все еще оставался настолько близко с ней связан, что продиктовал ей письмо с жалобами на Тиберия, которое

она отправила Августу. Чего же добивался Семпроний Гракх? Ее развода? Если так, то для чего? Чтобы жениться на ней самому? В принципе это не исключено. Но тогда придется допустить, что этот наиболее давний любовник, впрочем, женатый, мечтая вырвать Юлию из лап Тиберия и завладеть ею самому, нисколько не возражал против существования многочисленных «коллег». К тому же ведь не Семпроний Гракх поплатился за эти шалости жизнью, а Юл Антоний. Что же такого натворил Юл Антоний, что он единственный из множества любовников Юлии заслужил смерть? Может быть, его подвело собственное громкое имя? Но, с другой стороны, имя могло вообще не иметь никакого значения, потому что Юлия отдавалась первому встречному.

Попробуем теперь разобраться со всеми этими выходками на римском Форуме. Юлия назначала свидания и постоянным, и случайным любовникам посреди главной городской площади. Сюда же, возможно, приходили и другие девицы легкого поведения. Неподалеку от ростр была установлена статуя Марсия — сатира, посмеявшегося соревноваться в музыкальном искусстве с самим Аполлоном (в наказание за нахальство с него потом с живого спустили шкуру). Статуя считалась символом свободы римского народа. Таким образом, Юлия действовала целенаправленно: она глумилась над законами своего отца под сенью изваяния, изображавшего преступника, нарушившего закон Аполлона. Условно говоря, она творила свои безобразия под эгидой защитника римских свобод. Эти дерзкие и вызывающие вакханалии повторялись достаточно часто, и никто против них не возмущался. Потом грянул гром, и Юпитер поразил виновных своей молнией.

То, что никто, как впоследствии жаловался Август, не поставил его в известность о творящихся

безобразиях, выглядит вполне правдоподобно: сделать это было не так-то просто, и неизвестно, какой прием ожидал бы доносчика. Даже Ливия, наверняка осведомленная о том, что происходит, боялась устраивать скандал, связанный с единственной дочерью принцепса. Она своими силами или с чьей-то помощью — в текстах об этом не упоминается — потихоньку собирала улики и терпеливо ждала, когда Юлия допустит грубую, непростительную ошибку. Не исключено также, что главные действующие лица этой истории сознательно закрывали глаза на происходящее: Август — из страха перед скандалом, Ливия — из-за Тиберия, срок трибунской власти которого истекал в будущем году, и положение зятя принцепса оставалось для него последним козырем в игре.

Что же вызвало бурю? Явно не очередной любовник и не очередная оргия, но нечто гораздо более серьезное. По всей видимости, нам следует поискать разгадку в области политики, руководствуясь именами друзей Юлии — носителей славной республиканской традиции, неразрывно связанной с недавними гражданскими войнами.

Юл Антоний был сыном Антония и Фульвии, последним оставшимся в живых представителем истребленного после Акциума семейства. Его вместе со своими детьми воспитала Октавия, она же, наверняка по совету Августа, дала ему в жены свою старшую дочь от первого брака Марцеллу. Сделавшись через жену племянником принцепса, Юл Антоний совершил блистательную политическую карьеру и в 10 г. до н. э. занял должность консула. Человек образованный, на досуге он писал стихи. Одно из его творений — эпопея в 12 песнях на мифологический сюжет, озаглавленная «Диомедия» — так понравилось Горацию, что он посоветовал ему не бросать поэтических занятий и воспеть в стихах подвиги Августа^[196]. Мы не знаем,

последовал ли Юл Антоний совету Горация, но если бы и последовал, то с единственной целью — загладить в душе принцепса неприятные воспоминания, связанные с именем Антониев. Особенную силу это имя приобретало в соседстве с женским именем, ибо немедленно будило в памяти скандальную историю Антония и Клеопатры. И вот теперь Юлия, погрязшая в пороке, как будто вздумала оживить навеки проклятый образ египетской царицы.

Семпроний Гракх тоже писал стихи. Он сочинил трагедию, ныне утраченную, повествующую об ужасной истории Фиеста и его брата Атрея. Фиест соблазнил жену Атрея, и тот в ответ зарезал его детей, изрубил их тела на куски, сварил в котле и преподнес эту чудовищную трапезу брату. Известно, что в этой пьесе, как и в других, Семпроний Гракх вкладывал в уста тиранов «жестокие речи»^[197]. Очевидно, он, как и многие другие из современников, читал в частных домах трагедии, изобличающие тиранию. В республиканскую эпоху драматурги, изображая тирана, особенно часто обращались к образу Атрея и охотно цитировали принадлежавший тому знаменитый девиз, ставший лозунгом тиранической власти. «Пусть ненавидят, — говорил он о своих подданных, — лишь бы боялись». Позже Тиберий несколько видоизменил его формулировку: «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались». Но Калигула взял на вооружение именно первоначальный вариант^[198].

Что касается Сципиона, то он приходился племянником Скрибонии и, вполне возможно, разделял враждебность своей тетки к Августу.

Итак, несмотря на неточность отдельных деталей, представляется очевидным, что вокруг Юлии сложился кружок потенциальных заговорщиков, которые в определенный момент приступили к реализации своих планов. И Плиний Старший, перечисляя несчастья,

постигшие Августа, упоминает тот факт, что его родная дочь вынашивала замыслы отцеубийства. Каким бы диким ни казалось это предположение, признаем, что оно гораздо логичнее, чем ссылка на банальное распутство, объясняет все случившееся. Понятным становится и желание Августа видеть свою дочь мертвой. Юлия всегда отличалась фрондерством, и у нас нет никаких оснований обвинять ее в трусости. Если она не покончила самоубийством, то, вероятно, потому, что не отказалась от дальнейшего противоборства с отцом и надеялась, что ее ссылка продлится не вечно.

В свете этой гипотезы характер Августа предстает перед нами с новой стороны, хоть и нельзя сказать, что неожиданной. Убедившись, что дочь вместе с друзьями готовит против него заговор, он стал искать маску, которая выразила бы его отношение к случившемуся, и выбрал маску стыда. В то же время, поддавшись, если верить Сенеке, чувству негодования, он, вместо того чтобы замять неприглядную историю, предал ее гласности. Но ведь Сенека писал в годы правления Нерона, когда в верхах воцарились свои нравы, защищенные своей секретностью. Совсем иначе дело обстояло при Августе, вся семейная жизнь которого, со всеми ее радостями и печалью, протекала на виду у сограждан. Недаром он говорил, что у него две «трудные» дочери — Республика и Юлия. Разумеется, он говорил это в шутку, но в этой шутке нашло выражение его стремление дать окружающим понять, каким ему самому видится смысл его правления. Роль отца республики и роль отца собственной дочери оставалась для него единой. Смешение политических и семейных интересов и породило тот жестокий кризис, который ему пришлось пережить. Он упустил из виду, что его дочь — не пешка на шахматной доске политики, и дочь взбунтовалась. Не зря народ, неосознанно принявший эту игру, молил его о милости для Юлии — так

снисходительная тетушка заступает перед родителями за нашалившего ребенка.

Наконец, последнее соображение, на которое наводит текст Сенеки. Август горько сетует, что рядом с ним больше нет друзей его юности — Агриппы и Мecenата, то есть подлинных «виновников» его военных и дипломатических побед. Не стало их, и он совершил серьезную ошибку. Ирония Сенеки понятна: он слишком хорошо знал, что при монархическом строе искренность из достоинства превращается в недостаток. Но она не должна ввести нас в заблуждение. Август на самом деле сожалел, что в минуту сурового испытания ему не на кого опереться. Не будем также забывать, что, предавая гласности бунт своей дочери, он маскировал его истинную природу. Глубокий кризис целого поколения, которому он обещал счастливую жизнь, он превратил в припадок отдельно взятой истерички. И Юлия отправилась в ссылку. За ней последовала Скрибония, разделившая несчастливую судьбу дочери до самой ее смерти и пережившая ее на несколько лет.

Комедия оборачивается трагедией

Как опала Юлии сказалась на судьбе ее детей, неизвестно. Двое старших уже воспитывались в доме Августа. Теперь к ним присоединились и трое младших, также попавшие под суровый надзор деда. На протяжении следующих четырех лет в семейной жизни Августа не произошло никаких сколько-нибудь заметных событий. Принцепсы молодежи потихоньку мужали и старательно исполняли возложенные на них обязанности. В народе их любили. Августу не раз приходилось личным вмешательством остужать пыл римской толпы, бурно выражавшей юношам свое обожание. Своей молодостью и красотой они покорили сердца сограждан, а жители провинций, разглядывая их статуи, узнавали в них черты и стать деда.

Но тут судьба, казалось бы, вернувшая дому принцепса свою благосклонность, послала ему новое суровое испытание. Луций Цезарь, направлявшийся в Испанию для инспекционной поездки, успел добраться только до Массилии (ныне Марсель), где внезапно заболел и через несколько дней умер. Случилось это 20 августа 2 года н. э., и шел ему всего лишь двадцать первый год. Снова вспыхнули слухи о причастности к этому несчастью Ливии. Говорили, что теперь она наверняка обратит свои злокозненные взоры на Гая Цезаря, оставшегося единственной и последней надеждой Августа. Видно, Ливия, болтали праздные языки, устала ждать, когда сбудется предсказание звездочета Фрасилла, якобы открывшего Тиберию судьбу обоих молодых Цезарей, и она решила поторопить события^[199].

Между тем Гай пользовался особенной любовью Августа. Об этом ясно говорит письмо, которое дед

послал ему 23 сентября 1 года н. э. Август только что миновал шестидесятилетний рубеж и испытывал в этой связи большое облегчение, ибо, как и все суеверные люди, верил, что именно в этом возрасте человека подстерегают всякие неприятности, угрожающие его телу, душе, а то и самой жизни. Поэтому весь год, которому впоследствии предстояло стать первым годом христианской эры, он прожил в тревожном беспокойстве, правда, тревожился он о своем здоровье, а вовсе не о гибели цивилизации, над будущностью которой трудился не покладая рук.

В Средние века передавали рассказ о том, что однажды Августу приснился такой сон:

«Внезапно небо распахнулось, и на Октавиана пролился поток света. Он узрел в небесах деву дивной красоты, восседающую на алтаре и держащую в руках младенца. Ошеломленный, он смотрел на нее, и в это время с небес раздался голос: «Дева сия зачнет Спасителя мира». Тут же послышался и другой голос, произнесший: «Се алтарь Сына Божия». Тогда Октавиан упал на колени и поклонился благой вести о пришествии Христа... Видение сие явилось в комнате императора Октавиана, там, где сегодня стоит церковь братьев-миноритов Санта-Мария-на-Капитолии»^[200].

То, что эта история — вымысел от первого до последнего слова, ясно без доказательств. Начать с того, что никакой «комнаты» Августа, почему-то фигурирующего в тексте под именем Октавиана, на этом месте Капитолийского холма просто не могло быть — здесь стояли храмы. Конечно, это вымысел, — такой же, каким объясняли сооружение церкви Алтаря на Целии, — но для нас интересно, что своей направленностью он перекликается с другой историей, якобы приключившейся с неким корабельщиком, который среди открытого моря тоже услышал загадочные небесные голоса, провозгласившие: «Умер

великий Пан!»^[201] Любопытно, что эта весть о конце язычества была передана язычнику, жившему во времена Августа.

Итак, пока мир готовился к решающему повороту всей своей истории, Август блаженно переводил дух, счастливый, что преодолел опасный рубеж. Об этом он и писал своему внуку:

«Приветствую тебя, любезный Гай, мой милый осленок, ты, кого, клянусь, мне так не хватает, когда тебя нет рядом. Особенно в такие дни, как сегодня, когда глаза мои повсюду ищут моего дорогого Гая, и я надеюсь, что, где бы ты ни находился, ты в добром здравии и с веселием отпразднуешь мою 64-ю годовщину. Вот видишь, нам удалось прожить [опасный] для всех стариков шестьдесят третий год. И я молю богов, чтобы, сколько ни отпущено мне времени, мне было дано прожить его в добром здоровье, в благоденствующей республике, глядя, как вы, [мои достойные наследники], готовитесь сменить меня на посту»^[202].

Это письмо рисует перед нами портрет Августа — человечный до нежности, но не дающий забыть, что его герой прекрасно сознает и силу своей власти, и лежащую на нем ответственность за будущее. В обоих внуках Август любил прежде всего своих наследников. Как знать, быть может, он надеялся, что после его смерти они сумеют доказать, что он не зря всю жизнь подавлял в себе себя, что дело стоило того. Что касается обращения «осленок», не очень-то совместимого с нашими представлениями о придворном этикете, искаженными дальностью временной перспективы, то оно свидетельствует о той подчеркнутой простоте, с какой держал себя Август. Возможно, здесь сказалась попытка компенсировать нехватку домашнего тепла, которую он испытывал в детстве. Нам кажется вероятным, что он подумывал о том, чтобы в будущем

разделить бремя власти с еще одним человеком. Вначале он строил эти планы с расчетом на Агриппу, затем — на Тиберия, совершенно упуская из виду, что и Агриппа, и Тиберий уступали ему в одном чрезвычайно важном пункте: ни тот ни другой не имели преимущества родиться на свет от бога. Зато между Гаем и Луцием не существовало никакой разницы в происхождении, и это обстоятельство могло в один прекрасный день решительно переменить устоявшееся положение. Так и случилось в дальнейшем, когда на первую роль появилось два равноправных претендента.

Судьба распорядилась так, что в отношении Гая и Луция этот вопрос даже не возникал. Рок, довлевший над семьей и иногда упоминаемый под именем Ливии, подстерег и Гая. К 18 годам он успел добиться первых успехов в военной карьере и от имени деда возглавил германские легионы, стоявшие на Дунае. Но уже на следующий год он получил гораздо более важную миссию. Парфяне снова начали вмешиваться в армянские дела, и Август, удрученный отсутствием Тиберия, решил, что пора привлечь Гая к выполнению серьезных заданий. Чтобы в преждевременную зрелость юноши поверили и остальные, он задумал его женить и сам выбрал ему невесту — Ливиллу, дочь Друза и Антонии. Затем он облек его властью проконсуляра и отправил наводить страх на парфянского царя.

Может быть, он говорил себе, что сам в таком же точно возрасте ринулся на завоевание власти. Если так, значит, он не понимал, что Гай был сотворен из совсем другого теста. Тем не менее Гай отбыл на восток империи. Из сопровождавших его товарищей по меньшей мере двое заслуживали не самой лестной характеристики. Сын Антонии Старшей Гней Домиций Агенобарб прославился необузданным нравом. Однажды он убил своего вольноотпущенника только за то, что тот

не хотел пить, сколько ему велели. После этого случая Гай вычеркнул его из списка своих друзей^[203].

Гораздо труднее оказалось отделаться от Марка Лоллия, которого Август навязал ему в качестве советника. Задолго до этого, в 16 году до н. э., Лоллий понес сокрушительное поражение в Галлии, а затем прослыл выдающимся развратником. Неизвестно, ценой каких интриг он сумел заставить Августа забыть и о своем военном провале, и о своей ужасной репутации, но принцепс, обычно весьма придирчиво отбиривший окружение для своих внуков, доверил ему Гая. Возможно, сыграла свою роль ненависть, которую Лоллий всегда питал к Тиберию, ничуть не скрывая этого. Она обернулась для него выигрышем, потому что в сложившихся обстоятельствах Август особенно остро ощутил, как подвел его сын Ливии. Может быть, Лоллий получил вполне конкретное задание — следить за тем, как Гай относится к последнему мужу своей матери, и направлять его чувства в нужное русло. На эту мысль наталкивает чрезвычайно холодный прием, который Гай оказал Тиберию, явившемуся согласно уставу засвидетельствовать ему свое почтение во время остановки на Хиосе.

Наконец, на следующий год на Лоллия пало обвинение в государственной измене и он умер — то ли казненный, то ли ставший жертвой убийцы, то ли покончивший жизнь самоубийством; это не установлено. Избавившись от столь недоброкачественного советника, Гай сейчас же написал Августу письмо, в котором просил его разрешить Тиберию вернуться в Рим. Из этого следует, что Гай действительно поддавался чужим влияниям, а Август, со своей стороны, не проявил достаточной осмотрительности в выборе окружения, которое оказывало бы молодому человеку моральную поддержку.

Миссия, которую предстояло выполнить Гаю, легкостью не отличалась. Впрочем, поначалу все складывалось неплохо. Он встретился с парфянским царем и убедил его отказаться от притязаний на армянские земли. Но сами армяне вовсе не спешили единодушно признать кандидатуру навязанного Римом царя. 9 сентября 3 года Гай попал в засаду и получил тяжелое ранение. От раны он поправился, но морально чувствовал себя совершенно раздавленным, особенно после того, как дело, которое он приехал улаживать, решилось благодаря прямому вмешательству Августа. Утратив всякое присутствие духа, он написал деду письмо с просьбой отпустить его в Сирию, где он будет жить простым гражданином. Августа письмо ошеломило, и он вынес вопрос на обсуждение сената, после чего отправил Гаю приказ срочно возвращаться в Италию. Гай повиновался, но на обратном пути умер в маленьком ликийском городке. Это случилось 21 февраля 4 года н. э. Он не дожил и до 24 лет^[204].

Поведение Гаю достаточно легко объяснимо. Он пережил моральную опустошенность человека, столкнувшегося с ситуацией, лежащей за пределами его компетенции.словно цветок, который «выгоняют» в теплице, он и распустился раньше срока и отцвел до времени. Он боялся гнева Августа, который всегда ждал от него, как и от его брата, слишком многого; ему хотелось спрятаться подальше от этого взыскательного взгляда. Наверное, его личную драму усугубило и тлетворное влияние окружавших его людей, которые с одобрения Рима всячески поддерживали в нем высокие политические и военные амбиции — абсолютно беспочвенные, как показало первое же серьезное испытание.

По сравнению с заговором Юлии Август перенес два последних удара судьбы скорее кротко. Впрочем, несколько месяцев спустя после смерти Луция он

немного смягчил условия ее ссылки, — то ли из сострадания к матери, потерявшей сына, то ли в ответ на просьбы Гая, то ли вняв мольбам простых граждан, беспрестанно призывавших его проявить к дочери милосердие. Однажды, отвечая толпе, в очередной раз упрашивавшей его вернуть Юлию в Рим, он заявил, что прежде огонь и вода сделаются неразлучны, чем он согласится отменить наказание. Тогда женщины стали бросать в Тибр смоляные факелы, и те продолжали гореть даже в воде^[205]. После этого и многих других в подобном духе эпизодов он позволил Юлии перебраться в калабрийский город Регий и немного ослабил строгость надзора за ней. Мягкий климат, обилие благоухающих экзотических цветов, лимонные и апельсиновые рощи быстро заставили ее забыть продуваемый всеми ветрами остров, на котором ей пришлось провести долгие годы. Здесь же и застигла ее весть о смерти Гая.

Август постарался придать трауру по внукам государственный размах и строго следил, чтобы каждый римлянин пережил эту утрату как личное горе. Так, Азиний Поллион рассудил, что кончина Гая — не достаточный предлог, чтобы отменять заранее назначенную пирушку. Тогда «божественный Август в письме, выдержанном в самом любезном и даже дружеском тоне, вообще свойственном этому милосердному правителю, посетовал, как же мог Азиний Поллион, которого он всегда так любил, устраивать ужин в большой компании, когда так глубока и так свежа скорбь принцепса. Поллион ответил: «Я делал то же самое и в день, когда потерял своего сына Герия»^[206].

Ответ, достойный стоика, но, похоже, Азиний Поллион так и не понял, чем личный траур отличается от общегосударственного. Ведь в данном случае речь шла не просто о римском патриции, — Рим скорбел о

принцепсах молодежи. И Август, при всей своей «любезности, дружбе и милосердии», не преминул напомнить об этом Поллиону. Затем он предпринял все необходимое, чтобы воздать почившим внукам все положенные им почести, тем самым еще раз подчеркнув государственный масштаб своих семейных дел. Салии внесли их имена в списки божеств, к которым они обращались в своих песнопениях. Кстати сказать, имя Августа фигурировало в них уже давно. Но самое главное, в 5 году, через несколько месяцев после смерти Гая, был принят довольно странный закон, по имени консулов года — Луция Валерия Мессалы и Гнея Корнелия Цинны — названный Валериевым и Корнелиевым законом. Закон учреждал десять центурий, составленных из сенаторов и всадников, которым поручалось путем жеребьевки определять имена магистратов, претендующих на выборные должности. Это означало, что таблицы с именами кандидатов будут зачитываться перед народным собранием от имени Луция и Гая, которые своим незримым присутствием при процедуре словно бы давали всем понять: отобраны лучшие из лучших^[207]. Вот так Август заставлял голосовать мертвецов! Главным образом он, конечно, стремился укрепить социальное единство римлян, ведь смысл всей затеи заключался в том, чтобы в рамках одной и той же церемонии дань уважения покойным принцепсам приносили одновременно и сенаторы, и всадники, и Народ.

Но эта попытка провалилась. В 7 году во время комиций вспыхнули беспорядки, так что Август вообще перестал посещать народные собрания, а свою волю выражал письменно. Мало того, он повторил ранее испытанный маневр и уехал из Рима. Официально он объявил, что дела требуют его присутствия в Паннонии и Далмации, но сам отбыл в Римини.

Впрочем, вернемся в 4 год — год траура и скорби. Августу пришлось тогда не только спешно пересматривать схему наследования власти, но и столкнуться с новым заговором. Первым делом он постарался заполнить пустоту, образовавшуюся после кончины внуков. Тацит сообщает о предпринятых принципсом в этом направлении шагах с пугающей краткостью («Анналы», I, 3): «...у Августа не осталось больше никого, кроме Нерона (то есть Тиберия). Тогда он возвысил его и дал ему все, что только возможно: усыновил, наделил высшей властью и полномочиями трибуна, с любовью представил в войсках».

Ради упрочения положения своей семьи и с целью придать веса своим решениям Август усыновил Тиберия. Он пошел на это без всякого удовольствия и даже сделал на документе об усыновлении приписку: «Поступаю так в государственных интересах»^[208]. Он все еще не простил Тиберию дезертирства и если позволил тому вернуться в Рим во 2 году, то лишь уступая настойчивым просьбам Гая Цезаря. 26 июня 4 года судьба Тиберия, последние два года жившего в Риме на положении простого гражданина, резко изменилась. Он стал сыном принципса.

Но Август на этом не остановился. Он усыновил Агриппу Постума, а Тиберия заставил усыновить Германика. Так Агриппа стал братом Тиберия и дядей Германика. Сам же Август наконец-то стал отцом сына своей жены. Ливия теперь приходилась Германику дважды бабкой — через обоих своих сыновей. Затем он выдал за Германика свою внучку Агриппину. В его действиях прослеживается как забота о будущем государства — ведь и в самом деле переложить бремя власти было решительно не на кого, кроме Тиберия, так и соблюдение династических интересов — не зря же он держал в резерве Агриппу Постума. Впрочем, к Агриппе Постуму он заметно охладел, зато ввел в свою семью

Германика, в детях которого должна была смешаться кровь Юлиев и Клавдиев. Тем самым он заложил основы будущих жестоких кризисов вокруг наследования власти. Эти кризисы проявились совсем не в той форме, какую мог предвидеть Август, но, едва пришло время, они не замедлили разразиться.

На сцену выходит милосердие

По всей вероятности, в том же самом 4 году, столь богатом событиями, и, не исключено, в прямой связи с этими событиями произошел еще один заговор против Августа. Его возглавил внук Помпея Великого — Гней Корнелий Цинна. История заговора получила широкую известность благодаря трагедии Корнелия. Автор предваряет свое сочинение переводом текста Сенеки, который и послужил ему главным источником информации о событиях. Этот же текст цитирует и Монтень в своих «Опытах». Приведем его и мы ^[209]:

«Император Август, находясь в Галлии, получил достоверное сообщение о составленном против него Луцием Цинной заговоре; решив покарать его, он велел вызвать своих ближних друзей на совет, назначив его на следующий день. Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимый мыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего рода, племянника Помпея Великого. Сетую на трудность своего положения, он перебирал всевозможные доводы. «Так что же, — говорил он, — неужели нужно сказать себе: пребывай в тревоге и страхе и отпусти своего убийцу разгуливать на свободе? Неужели допустить, чтобы он ушел невредимым, — он, покусившийся на мою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в стольких сражениях на суше и море? Неужели простить того, кто замыслил не только убить меня — и когда! после того, как я установил мир во всем мире! — но и воспользоваться мною самим, как жертвой, приносимой богам?» Ибо заговорщики предполагали убить его в то время, когда он будет совершать жертвоприношение. Затем, помолчав некоторое время, он снова, и еще более твердым голосом, продолжал,

обращаясь к самому себе: «К чему тебе жить, если столь многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям? Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?»

Тогда жена его Ливия, слыша все эти сетования, сказала ему: «А не может ли жена подать тебе добрый совет? Поступи так, как поступают врачи: когда обычные лекарства не помогают, они испытывают те, которые оказывают противоположное действие. Суровостью ты ничего не добился: за Сальвидиеном последовал Лепид, за Лепидом — Мурена, за Муреной — Цепион, за Цепионом — Эгнаций. Испытай, не помогут ли тебе мягкость и милосердие. Цинна изобличен, но прости его — ведь вредить тебе он больше не сможет, — а это послужит к возвеличению твоей славы».

Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрым намерениям. Поблагодарив жену и отменив прежние приказание о созыве друзей на совет, он велел призвать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев и усадив Цинну, он сказал ему следующее: «Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения: однако я пощадил тебя; я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сражались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня!»

Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о таком злодеянии, Август заметил: «Ты

забыл, Цинна, о нашем условии: ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом». Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: «Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь в императоры? Воистину, плачевны дела в государстве, если только я один стою на твоём пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, ни сил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь Цезаря? Я готов уступить и отойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилианов потерпят тебя? Что примирится с тобою многолюдная толпа знатных, — знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?»

И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Август сказал ему: «Ну так вот что: я дарю тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; но отныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук?»

На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставил Цинне должность консула, упрекнув его, что тот сам не обратился к нему с просьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых его приближенных и назначил Августа единственным наследником своего достояния».

Известно, как Корнель использовал этот рассказ, в котором чередуются разнообразные формы: и внутренний монолог Августа, и диалог с Ливией, и долгая беседа с Цинной. Последняя сцена особенно тщательно проработана драматургически. Автор указывает, где беседуют персонажи, как они сидят (кресло, предложенное Цинне), фиксирует реакцию Цинны и его отношение к происходящему. Наконец, он показывает, что Август сознательно растягивает свою речь, черпая удовольствие в той форме наказания, которую он придумал для своего собеседника, то есть играет своего рода комедию, оставаясь при этом серьезным.

Разумеется, о содержании беседы с Августом мог рассказывать и сам Цинна, но остальные эпизоды «комедии» никогда не стали бы известны, если о них не поведал либо сам Август, либо Ливия. Замечателен сам образ этой супружеской четы, каким он предстает в описанной истории. Он — настоящий трагедийный герой, человек, перешагнувший 60-летний рубеж, переживший большое семейное горе и теперь столкнувшийся с прямой угрозой своей жизни. Его первое побуждение — отомстить обидчику и тем самым положить начало новой трагедии. Его внутренний монолог не исключает возможности трагической развязки, которая должна обернуться либо наказанием злоумышленника, либо смирением Августа перед собственной гибелью. И тут вмешивается она. С самоуничижением супруги, робеющей в присутствии столь выдающегося мужа, Ливия охлаждает трагедийный накал сцены, обращаясь к сравнению чисто бытового уровня. Очевидно, она пытается напомнить ему о методах лечения Антония Музы — того самого врача, который когда-то спас Августу жизнь. Она подсказывает ему мудрое решение, основанное вовсе не на сочувствии к виновнику затруднения, а на

соображениях выгоды. Дело, ненавязчиво внушает она ему, носит политический характер, а потому не стоит относиться к нему с позиций личной обиды.

Август с видимым облегчением воспринимает этот совет, и, если ему удастся при этом подавить в себе чувство гнева, то вовсе не потому, что он, как это показано у Корнелия в «Цинне», пережил внутренний перелом. Невозможно отрицать, что Август на протяжении некоторого времени уже «практиковал» милосердие, в частности, это видно по тому, как он поступил с дочерью и ее сообщниками. Но верно и то, что Цинна оскорбил его до глубины души, ведь Август оказывал ему покровительство, а он его предал. Мы предполагаем, что дело Цинны получило широкую огласку в той или иной литературной форме именно по инициативе Августа, который с помощью этой «театральной» истории хотел, во-первых, подчеркнуть, как он милосерден, а во-вторых, напомнить подданным о согласии, царящем внутри императорской четы.

Возможно, последним желанием объясняются и некоторые неясности, окружающие эту историю. Так, в рассказе Сенеки отсутствуют точные указания на место и время организации заговора. Мы знаем, что с 16 по 13 год Август уезжал в Галлию, но Ливия его не сопровождала. В дальнейшем он мог несколько раз находиться в местах, расположенных достаточно близко к районам, где велись боевые действия — в Римини, Милане или Аквилее, то есть в Цизальпинской Галлии. Но, если верить Диону Кассию, на протяжении 4 года Август не покидал Рима, поскольку чувствовал себя нездоровым [\[210\]](#). С другой стороны, Корнелия Цинну, которому Август, несмотря на его предательство, помог сделать карьеру, звали Гнеем, а не Луцием. Из всего этого следует, что в дошедшем до нас виде вся история является результатом существенной литературной

переработки, а потому должна восприниматься с изрядной долей сомнения.

Но даже если допустить, что описанная сцена действительно имела место в Риме в 4 году, остается непонятным, где именно она могла состояться, поскольку как раз в этом году дом Августа сгорел в огне пожара. Сразу после пожара горожане бросились к Августу, предлагая свою финансовую помощь, и каждый нес, сколько мог. Но из каждой кучи предложенных денег он взял всего по одному денарию^[211].

Эти добровольные пожертвования стали для Августа единственным утешением. Всего за один год он потерял и внука, и дом, и, возможно, веру в то, что ему удалось сплотить вокруг себя виднейших граждан Рима. Что у него осталось? Только идеальный образ супруги, которая в меру сил помогала ему бороться с ночными кошмарами.

Часть пятая
ФИНАЛ ПЬЕСЫ (5-14)

Роль Ливии и семейные драмы

Если «спектакль» под названием «Милосердие Августа» разыгрывался с целью доказать миру, как дружен принцепс со своей супругой, то тому была своя причина — наиболее вероятным наследником власти стал теперь сын Ливии.

Как написал Плиний Старший, «Август умер, оставив наследство сыну человека, с которым он воевал». И действительно, вторым принцепсом стал Тиберий — сын Тиберия Клавдия, первого мужа Ливии, хотя между ним и властью стояло немало преград — и Марцелл, и оба юных Цезаря, и Агриппа Постум. Вот почему, повествуя об Августе, мы не имеем права обойти вниманием личность Ливии.

До сих пор мы мало говорили о Ливии, потому что в сохранившихся текстах ее имя упоминается редко. Она вела дом Августа в согласии с традицией, на уважении которой он настаивал: пряла шерсть, никогда не давала ни малейшего повода к пересудам, одним словом, составляла со своим мужем единое целое — подобно супруге фламينا^[212] Юпитера. Август довольно рано снял с нее всякую юридическую опеку, и она по собственному усмотрению распоряжалась огромными богатствами, принадлежавшими лично ей — владениями в Малой Азии, Галлии, Палестине и в самой Италии. Имела она право и на личную вооруженную охрану.

Не подлежит сомнению, что она пользовалась значительным влиянием и реальными правами, которыми ее наделил муж и которых постепенно лишил сын. Правда, в сенате или перед войсками она не выступала, но зато принимала у себя сенаторов, то есть допускала весьма серьезное нарушение правил поведения женщины, завещанных предками. Именно в

этом упрекнул ее Тиберий, когда во время пожара она, «как бывало при муже»^[213], лично явилась на место происшествия и призывала солдат и горожан действовать проворнее.

Но все окружавшие ее почести и священный статус супруги принцепса не могли оградить ее от злобных сплетен, скорее даже подстегивали их. Утверждали, что она потворствует похотливым привычкам своего мужа и даже лично выбирает для него девственниц, которых ему нравилось лишать невинности. Но гораздо серьезнее звучали обвинения, что она поставила своей целью сгубить род Юлиев. После смерти Марцелла поползли слухи, что Ливия приложила к этому руку. То же самое говорили и тогда, когда умер Луций, а за ним и Гай^[214]. Многие думали, что именно она убедила Августа выдать Юлию замуж за Тиберия, а потом путем ловкой интриги убрала ее с дороги. Не удивительно, что теперь наибольший интерес вызывал к себе молодой Агриппа — последний из оставшихся в живых внук Августа.

Юношу воспитали, как и полагается внуку принцепса. Во 2 году до н. э. он принял участие в Троянских играх, входивших составной частью в программу игр, устроенных в честь его братьев. В 5 году н. э., сразу после того как Август усыновил его, он надел мужскую тогу, но... не удостоился ни одной из почестей, которыми в таком же возрасте осыпали его братьев. Наконец, в 7 году Август отправил в Далмацию не Агриппу, а Германика. Очевидно, что-то мешало Агриппе повторить путь, пройденный братьями. К нему явно относились иначе, чем к ним, и отличие это касалось не «царского» образа жизни, как о том свидетельствуют обнаруженные в наше время две из принадлежащих ему вилл^[215], а поразительно медленного темпа политической карьеры. В том же 7 году Агриппа, возмущенный тем, что ему предпочли Германика, дал выход своему гневу и дошел до того, что открыто назвал

Ливию мачехой, а Августа обвинил в присвоении наследства, завещанного ему отцом. В ответ Август выслал его на виллу в Соррент^[216] и, поскольку дело выходило за рамки семейной ссоры, поставил в известность об этом сенат. Тогда же он объявил, что лишает своего внука, в необузданности нрава которого убедился, всех прав. Принудительный отъезд из Рима несколько не смягчил Агриппу. Если верить официальной версии, он вел себя все более и более вызывающе, и в конце концов Август сослал его на остров Планасия, расположенный между Корсикой и италийским побережьем, позаботившись принять сенатус-консультум, приговаривающий его к пожизненному заключению (Светоний, LXV).

Но не один Агриппа пострадал от суровости Августа. Приблизительно в это же время семейство принцепса сотряс новый скандал. Безжалостный механизм, запрограммированный на уничтожение прямых потомков Августа, еще не расправился с двумя последними жертвами — дочерьми Юлии: Агриппиной и Юлией Младшей. Первой в его шестерни попала Юлия. Агриппина оставалась «про запас».

Юлии было 22 года. До того как грянул скандал 8 года, историки почти не удостаивали ее своим вниманием. Теперь она стремительно ворвалась в Историю, чтобы, впрочем, вскоре уйти из нее навсегда. Известно о ней очень мало, например, что при ней жил карлик, служивший кем-то вроде шута, и что она любила просторные роскошные дворцы, расположенные в сельской местности. После ее осуждения Август приказал разрушить их до основания (Светоний, LXXII). Воспитали ее так же, как и остальных детей этой семьи, и очень рано выдали замуж за высокородного патриция Луция Эмилия Павла, в 1 году н. э. занимавшего должность консула. У Юлии и ее мужа была общая бабка — Скрибония, имевшая от первого брака с Корнелием

Сципионом дочь Корнелию, которая и стала матерью Луция Эмилия. Мы помним, что один из Сципионов, следовательно, родственник Луция Эмилия, фигурировал в числе сообщников Юлии Старшей. К моменту описываемых событий у Юлии Младшей уже было двое детей, и она ждала третьего.

История злоключений Юлии Младшей покрыта еще большей завесой таинственности, чем история несчастий ее матери. Основным источником сведений служит нам Тацит, который упоминает о ней дважды. В первый раз речь о Юлии заходит в контексте общих рассуждений о жизни Августа («Анналы», III, 24):

«Фортуна, всегда благоволившая Августу против сторонников республики, в личной жизни сделала его несчастным из-за безобразного поведения его дочери и внучки. Он изгнал обеих из Рима, а их соблазнительей покарал смертью или ссылкой. Широко распространенные провинности, которым люди того и другого пола обязаны своей порочностью, он возвел в ранг святотатства и оскорбления величества, чем нарушил границы, установленные милосердием наших предков, да и свои собственные законы... Децим Силан, который из-за своей связи с внучкой принцепса всего лишь утратил его благорасположение, уверял, что и ему грозили ссылкой; лишь с приходом к власти Тиберия он решился вымолить прощение у сената и принцепса».

Второе упоминание непосредственно касается смерти Юлии, случившейся в 28 году новой эры («Анналы», IV, 71):

«В это же время умерла внучка Августа Юлия. Убедившись, что она повинна в прелюбодеянии, дед покарал ее ссылкой на остров Тримет, что неподалеку от апулийского побережья. Двадцать лет она терпела тяготы изгнания, существуя на подачки Августы, которая, низринув своих пасынков с высот процветания

путем тайных интриг и уверившись, что им больше не подняться, стала выказывать им сочувствие».

Оба текста, в которых невооруженным глазом видна враждебность автора к Августу, повторяют уже известный нам сценарий: Юлия Младшая, осужденная, как и ее мать, за супружескую измену, пала жертвой интриг Ливии, фигурирующей здесь под именем Августы, унаследованном ею после смерти Августа. Но Тацит опускает ряд важных фактов, в свете которых вся история выглядит куда более интересной. Действительно, муж Юлии Луций Эмилий Павл был осужден как заговорщик (Светоний, XIX, 1). С другой стороны, Август запретил признавать и воспитывать ребенка, родившегося у Юлии после вынесения приговора (Светоний, LXV, 8). Отказ признать ребенка в принципе означал, что его следует бросить на большой дороге, где он может умереть, а может быть подобран случайным прохожим — мужчиной или женщиной, мечтающими о сыне или дочери, или работником, или профессиональным нищим, или владельцем театра уродов, который его искалечит, и так далее. Никаких сведений о том, что Август согласился подвергнуть младенца такому риску, нет. Более правдоподобно, что он хотел удалить его из семьи и отдать на воспитание каким-нибудь скромным людям. Но это значит, что Август не сомневался в виновности своей внучки. Впрочем, по отношению к любовнику Юлии, то есть предположительному отцу ребенка, он проявил мягкость. В конце концов, Силан — не Антоний, и убивать его было необязательно. Пострадала и дочь Юлии Эмилия Лепида, совсем юной помолвленная с Клавдием: жених отверг ее из-за того, что ее родители оскорбили принцепса [\[217\]](#).

Что касается Эмилия Павла, то нам неизвестно, был ли он казнен или, что вероятнее, сослан. Мы не думаем, что Юлия и ее муж действительно плели заговор против

Августа. Скорее всего, они либо организовали «пропагандистскую» кампанию против Тиберия, либо пытались действовать в интересах какого-то другого наследника Августа. Все-таки это выходило за рамки простой обиды, нанесенной принцепсу. Тацит не стал вскрывать политическую подоплеку дела, тем самым представив в искаженном виде реакцию Августа, который, заметим, проявил достаточно милосердия, чтобы не покарать смертью людей, посмевших пойти против его воли. При этом Юлия Младшая, как и ее мать, действительно попирала законы морали, тогда как дед надеялся, что она станет примером их воплощения. В идеальный образ семьи, владевший мыслями Августа, эта картина никак не вписывалась.

Но и это еще не все. К моменту, когда случилась эта история, Юлия Старшая находилась в ссылке уже десять лет. Вместе с ней в изгнание уехала Скрибония, выражая солидарность с дочерью и несогласие с мерой наказания, избранной Августом. Во времена республики Скрибония пользовалась репутацией умной и энергичной женщины, но положения жены принцепса ее лишили. Не исключено, что она не рассталась с надеждой взять у Ливии реванш, для чего вовсю манипулировала своими внуками. Мы не знаем, чем она занималась после развода с Августом и до того момента, когда последовала за дочерью в изгнание, но ее возвращение на политическую сцену в патетическом образе благородной и любящей матери объективно играло на руку сторонникам партии, которую мы рискнем назвать «легитимистской». Эта партия всеми силами пыталась помешать тому, чтобы власть досталась человеку, не являющемуся кровным наследником Августа.

Нам ровным счетом ничего не известно о других участниках заговора — Луции Авдасии, «уличенном в подделке подписей, человеку преклонных лет», и Азинии Эпикаде — «полуварваре из племени парфинов»

— кроме того, что они планировали организовать побег Юлии Старшей и Агриппы Постума, чтобы показать их войскам (Светоний, XIX). Имя последнего, возможно, указывает, что он был сыном одного из вольноотпущенников Азиния Поллиона, но сам Поллион к этому времени уже несколько лет как умер, а свидетельств того, что его семья дала себя вовлечь в столь дерзкое предприятие, у нас нет. Во всяком случае, оба эти человека действовали, конечно, не по собственной инициативе, взяв на себя роль козла отпущения и прикрыв участников заговора с куда более громкими именами, в числе которых почти наверняка не последнее место занимало имя Скрибонии.

Партия Юлиев, защищавшая потомков Августа, действовала в тени. Претендентов на престол у нее хватало. Самые солидные позиции занимал Агриппа Постум, но, даже если б его не стало, оставался муж Юлии Эмилий Павл. Необходимую легитимность его положению придавала жена — подобно тому, как прежде ее мать сослужила такую же службу Агриппе. Возможным наследником мог считаться и муж Агриппины Германик — по тем же самым мотивам. Не исключено, что уже существовала партия, готовая поддержать его кандидатуру.

В тот же год, когда разразилась гроза над Юлией Младшей, появилось постановление об изгнании поэта Овидия. Официальным предлогом послужил безнравственный характер «Искусства любви» — произведения, опубликованного за десять лет до этого. Август наверняка читал эту книгу и раньше, и если теперь он решил наказать ее автора, то с единственной целью — продемонстрировать свою последовательность в удалении из Рима всех «распутников», смеющих издеваться над его моральными законами.

Поэт несколько раз намекал на причины, повлекшие его изгнание на край света, в город Томы^[218], расположенный на самой окраине римской цивилизации. Сочинение Овидия изъяли из всех библиотек. Действия Августа, обрушившего свой гнев на произведение литературы, многими расценивались как недалеко ушедшие от тирании, тем более что все понимали: пресловутая безнравственность «Искусства любви» — лишь предлог, а Август снова прячет свои истинные побуждения под маской столпа морали. Мы так и не знаем, чем же на самом деле провинился Овидий. Как следует из его туманных намеков, он видел нечто такое, чего ему видеть не полагалось, и можно предположить, что это «нечто» имело прямое отношение к политике. Овидий поддерживал дружеские отношения с некоторыми людьми, достаточно близко стоящими к принцепсу, в частности, с Павлом Фабием Максимом, входившим в окружение Августа. Не исключено, что он ненароком оказался втянут в какую-то интригу, связанную с наследованием власти. Судя по всему, его личными симпатиями пользовалась кандидатура Германика, одновременно внука Ливии и мужа внучки Августа, в силу этого способного примирить партию Юлиев с партией Клавдиев.

В первой мы встречаем сразу несколько громких имен — Павла Фабия Максима, Луция Домиция Агенобарба и Луция Эмилия Павла. Всех их связывали с принцепсом родственные связи. К партии Клавдиев принадлежали такие известные личности, как Мессала — сын бывшего республиканца, Гней Корнелий Лентул и Гай Саллюстий Крисп. Последний, внучатый племянник и приемный сын историка Саллюстия, кроме огромного состояния владел и пышными садами, доставшимися ему в наследство от приемного отца. Из прочих деятелей, входивших в совет принцепса, он выделялся особенной

активностью и сыграл загадочную, но неоспоримо существенную роль в гибели Агриппы Постума.

Группировку Клавдиев возглавляла Ливия, исполненная решимости добиться власти для Тиберия. Коротко комментируя смерть Юлии, Тацит не удержался, чтобы не пустить отравленную стрелу по адресу Ливии, самая память о которой внушала ему отвращение. Именно Тациту принадлежит самая ясная и самая суровая оценка неблагоприятной роли, сыгранной Ливией. Он, например, излагает свою версию усыновления Тиберия Августом («Анналы», I, 3):

«Отбросив тайные интриги, его мать открыто двинулась к своей цели. В старости она настолько подчинила себе Августа, что он без всякой жалости вышвырнул на остров Планасия своего единственного внука Агриппу Постума — юношу и в самом деле невежественного, грубого и до глупости гордого своей физической силой, но тем не менее не совершившего никакого страшного преступления».

В другом месте Тацит от имени современников Августа размышляет о том, что ждет государство после того, как его не станет («Анналы», I, 4):

«Настоящее не внушало тревоги, пока преклонные годы Августа еще позволяли ему поддерживать свой авторитет, порядок в доме и мир. Но когда к бремени его лет добавился груз болезней, а неотвратимость его близкой кончины пробудила в людях новые надежды, кое-кто, почувствовав свободу, пустился в праздные разговоры. Большинство опасались войны, другие о ней мечтали. Самую значительную группу составили те, кто распространял всевозможные слухи о грозящих Риму правителях: «Агриппа — человек свирепого нрава, да еще обозленный своей ссылкой, он слишком молод и неопытен, чтобы взять на себя бремя власти. Тиберий более умудрен жизнью и доказал свою доблесть на войне, но его переполняет наследственная спесь

Клавдиев, и хотя он старается прятать свою жестокость, слишком часто она прорывается наружу... Да еще остается его мать, со всеми капризами, свойственными полу, который не умеет владеть собой. Вот и будем мы пресмыкаться перед бабой и двумя юнцами (имеются в виду сын Тиберия Друз и Германик), которые оседлают республику, чтобы затем ее разодрать на куски».

Последний фрагмент представляет собой нечто вроде надгробного слова, произнесенного над Ливией, которая умерла в 29 году («Анналы», V, 1):

«Юлия Августа скончалась в преклонных годах... Чистотой нравов она напоминала женщин древности, но приветливостью, которая прежде в женщинах не поощрялась, далеко превосходила их. Властная мать, снисходительная супруга, она обладала характером, как нельзя лучше подходившим и политике ее мужа, и скрытности ее сына».

Разумеется, Ливия очень подходила Августу и при этом умела даже лучше, чем он, заставить себя бояться. Так, со своим внуком, будущим императором Клавдием, который с детства казался не совсем нормальным, она вела себя подчеркнуто пренебрежительно, почти не разговаривала с ним, а замечания ему делала «или в записках, коротких и резких, или через рабов»^[219]. Калигула, родившийся в 12 году, за два года до смерти Августа, часть детства провел в доме Ливии и имел обыкновение называть ее «Улисс в юбке»^[220]. Очевидно, его дерзкой пронизательности верить можно. Эта «женщина, гордая на тысячу уловок», олицетворяла собой образ старомодной матроны, но в то же время сосредоточила в своих руках неслыханную власть, которой пользовалась с видом самым любезным, что в царях считается достоинством, а в женщинах — недостатком.

Как и Август, Ливия стремилась к успеху его «политического проекта», потому что в обратном случае

ее жизнь потеряла бы всякий смысл. Нам остается только гадать, не заключила ли она со своим первым мужем «пакт» о том, что выйдет замуж за Октавиана с вполне конкретной целью — привести к власти Клавдиев. Во всяком случае, то, как она вела себя с Тиберием после смерти Августа, доказывает, что она считала взлет сына исключительно своей заслугой и на этом основании претендовала на особую роль в политике, что римским мужчинам того времени, видимо, казалось довольно странным. Благодаря Расину мы гораздо лучше представляем себе претензии Агриппины и ее ссоры с сыном Нероном, чем взаимоотношения Ливии с Тибрием, но в сущности они ничем друг от друга не отличались. Пожалуй только, время еще не пришло, чтобы принцепс мог себе позволить физически устранить собственную мать, так что Тиберию приходилось довольствоваться ненавистью и унижением, которым он подвергал Ливию. В конце концов он сбежал от нее на Капри и убил в своем сердце.

Между тем не похоже, чтобы при жизни мужа Ливия пыталась развернуться так же широко, как она это делала при сыне. В деле Цинны ее вмешательство выглядело ненавязчивым, но уместным. Она проявила мудрую прозорливость и оценила ситуацию с точки зрения политики, а не эмоций. Но все ее упорство не дает никаких оснований утверждать, что это именно она убила всех тех, кто мешал Тиберию прорваться к власти. Мы даже думаем, что это маловероятно. Чтобы признать такую возможность, придется допустить, что Август к концу жизни превратился в слабоумного старика, лишеного всякой связи с внешним миром и ослепшего настолько, чтобы с последними словами обратиться к женщине, поубивавшей всех его родных. Как фабула для романа, эта гипотеза выглядит, конечно,

привлекательно, но не выдерживает самого элементарного критического анализа.

История царствующих семей знает множество смертей, якобы наступивших в результате отравления, когда медицина, которая нередко больше говорит, чем делает, не могла научно доказать, что эти предположения — пустая болтовня. Подобные слухи во времена Людовика XIV ходили вокруг кончины Генриетты Английской — Мадам^[221] — и наследников короля, которых якобы «поторопил» на тот свет честолюбивый герцог Орлеанский. Или вспомним Гаспара Гаузера, которого многие считали законным наследником маркграфства Баденского, павшим жертвой жестокой мачехи, мечтающей о престоле для своего сына...

Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме была невысока — 30-35 лет, а уровень развития медицины оставлял желать лучшего. Августу удавалось выкарабкиваться из множества хворей, но не благодаря врачам, а лишь потому, что его организм обладал природной сопротивляемостью, свойственной не слишком крепким людям, которые болеют часто и подолгу, но не смертельными болезнями. Аргументом, начисто смывающим с Ливии всякие подозрения, может служить невероятный слух о том, что Август отравил Друза. Почему же тогда спрашивается, он не отравил заодно и Тиберия? А ведь после смерти брата Тиберий остался практически единственным наследником власти, которую Август установил с помощью Ливии. Но в том-то и дело, что они оба, и Август, и Ливия, считали укрепление этой власти делом всей своей жизни, ради этой цели они шли на любые жертвы, а все остальные соображения и чувства ими просто не принимались во внимание. Трудные взаимоотношения Тиберия и Ливии, проявившиеся после смерти Августа, показывают, что между матерью и сыном не существовало искренней

привязанности. И, конечно, не стоит думать, что в окружении Августа царили те же нравы, что и при дворе Валуа, знакомом нам по романам Александра Дюма.

Интересно посмотреть, как Тацит, который раз и навсегда составил себе о Ливии совершенно определенное мнение, скороговоркой упоминает факт, явно свидетельствующий в ее пользу. В самом деле, она, как могла, постаралась скрасить жизнь Юлии Младшей в ссылке, но не из искреннего сострадания и не из цинизма лицемера, который, нанеся ближнему рану, тут же предлагает ему целебную мазь. Как и Август, Ливия всей своей жизнью обрекла себя на вечное подозрение в неискренности. Стоит кому-нибудь предположить, что она совершила доброе дело, как сейчас же найдется кто-то другой, кто будет уверять, что в ее снисходительности к Юлии Младшей крылся расчет, что она сознательно преодолела в себе неприязнь к внучке мужа и выступила в роли «противовеса» суровости Августа.

Судя по всему, между ними действительно существовало некое распределение ролей. Он воплощал принцип властности, она — принцип умеренности. Но, постоянно выступая в этой роли, она волей-неволей становилась объектом благодарности самых разных людей, например, тех сенаторов, которым помогала выдавать замуж дочерей, обеспечивая их приданым, или воспитывать сыновей^[222].

Старость принцепса

11 июня 7 года Ливия установила в центре портика, носившего ее имя, жертвенник, посвященный богине согласия Конкордии. Тем самым она словно заявила всему Риму, что между ней и мужем царит полное взаимопонимание. Позже она посвятила той же богине еще один жертвенник, на сей раз в храме Конкордии, который Тиберий велел отстроить на Форуме.

Но, как бы ни была дружна эта пара, к старости они шли разными тропами. Если верить античным источникам, годы намного заметнее сказывались на Августе, чем на Ливии. Поэты утверждали, что самым большим несчастьем троянского царя Приама, привыкшего к процветанию, и его плодовитой жены Гекубы было то, что они слишком долго жили. Злая судьба одарила их долголетием лишь для того, чтобы они успели своими глазами увидеть, как рушится их царство и гибнут дети. Август тоже дожил до старости, до глубокой старости, и тоже видел, что из его надежд мало какие сбылись. Долголетие, столь редкое в ту эпоху, досталось ему случайно, но в конечном итоге обернулось даром судьбы не только лично для него, но и для римского народа. Не располагай Август таким огромным запасом времени, ему вряд ли удалось бы осуществить все то, что он осуществил. Но к старости бремя прожитых лет давило на него все сильнее; то же самое чувствовало и его окружение. Вслед за Эдипом Сенеки он задавался вопросом, ради каких новых жестоких испытаний судьба продолжает хранить его от смерти, сведя в могилу и его ровесников, и такое множество молодых.

В 9 году в честь его здравствования в Риме устроили игры. На них присутствовала актриса Галерия Копиола,

которой исполнилось 104 года. Свою сценическую карьеру она начала в 82 году до н. э., то есть 91 годом раньше!^[223] В 95 году, когда она только появилась на свет, республику сотрясали мятежи, вылившиеся в гражданские войны, конец которым сумел положить только Август. Впрочем, приближенные принцепса извлекли из сундука истории сие ископаемое вовсе не за тем, чтобы лишний раз напомнить ему о бурных событиях прошлого. Видимо, им хотелось показать Августу, что его 72 года — далеко не предел человеческого долголетия.

Не думаем, что ему этот аргумент показался очень убедительным. Крепким здоровьем он не отличался никогда, а в последние годы его самочувствие ухудшалось все стремительнее. Смерть щадила его, но безжалостное время брало свое: прежний прекрасно сложенный юноша давно превратился в терзаемого недугами старика. Чтобы представить себе, каким он стал, обратимся к Светонию (LXXIX-LXXXII):

«К старости он стал хуже видеть левым глазом... Кожа во многих местах загрубела и от постоянного расчесыванья и усиленного употребления скребка образовала уплотнения вроде струпьев^[224]. Бедро и голень левой ноги были у него слабоваты, нередко он даже прихрамывал; помогали ему от этого горячий песок и тростниковые лубки. Иногда ему не повиновался указательный палец правой руки: на холоде его так сводило, что только с помощью рогового наперстка он кое-как мог писать. Жаловался он и на боль в пузыре, которая ослабевала, лишь когда камни выходили с мочой... Зимой он надевал не только четыре туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени».

Стригилью — железный или бронзовый скребок, с помощью которого очищали тело от пота после бани или гимнастических упражнений в палестре. Август

злоупотреблял этой процедурой, очевидно, из-за маниакального стремления к чистоте. Как знать, может быть, это была невротическая реакция организма, выражавшаяся в желании очиститься если не душой, то хотя бы телом от всей накопившейся грязи.

Снова послушаем, что говорит об этом Светоний (LXXXII):

«Свое слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Прежде всего, он редко купался: вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнем, а потом окатывался комнатной или согретой на солнце водой. А когда ему приходилось от ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны, он только окунал в воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл «дурета».

Из чего еще состояла повседневная жизнь владыки мира? Ну, например, он любил пешие прогулки, любил и «гулять», сидя в носилках. Обычно он заворачивался в одеяло или плащ из простой ткани и время от времени выскакивал из носилок, чтобы немного побегать или попрыгать. Ему нравилось отдыхать, сидя на берегу с удочкой. Иногда он играл в кости или камешки» (Светоний, LXXXIII).

Некоторые из его поступков нашему современнику, бесспорно, показались бы странными. Так, он воздвиг гробницу своему коню, о чем молодой Германик поведал в поэме [\[225\]](#). Впрочем, в сборниках античных эпиграмм эпитафии животным — отнюдь не редкость, так что нельзя сказать, что в данном случае Август показал себя особенным оригиналом.

Таким был Август — будущее божество — в последние годы своей жизни, и несмотря на все свои причуды и странности он должен был запомниться грядущим поколениям в образе божества. От него это требовало настоящего героизма. Появляясь на публике,

он надевал котурны, прилаживал бесконечные накладки, обматывал тело полосами ткани и прятал все эти ухищрения под несколькими туниками. Правда, под старость он все реже и реже показывался народу и даже перестал посещать заседания сената и собрания.

Мечты об отдыхе

Рискнем предположить, что по мере того как здоровье его ухудшалось, а в семейной жизни утрата следовала за утратой, ему все труднее становилось бороться с искушением бросить все дела и удалиться на покой. Человеком он был образованным, любил читать и писать, но главное — он безумно устал. Публичный политик, вся жизнь которого прошла на виду, подчиненная одному интересу — удержать власть, он не мог не завидовать тем, кто имеет возможность посвятить себя созерцанию. Увы, рассчитывать на это не приходилось — он был пожизненно обречен властвовать. Он оказался в ловушке системы, сложившейся помимо его воли, и взвалил на свои плечи груз, освободиться от которого уже не мог. Сложить с себя ответственность значило познать напрасными кровавые жертвы, которые он принес ради достижения своей невероятной цели. Чтобы попытаться понять состояние его души, вчитаемся в строки, оставленные Сенекой, который имел доступ к императорским архивам. Вот что он пишет («О краткости жизни», IV, 2-6):

«Божественный Август, которого боги благодетельствовали больше, чем кого бы то ни было, без конца повторял, что жаждет отдыха, и просил освободить его от дел. Каждый свой разговор он непременно сводил к мечтам об отставке. Предаваясь трудам, он тешил себя надеждой, скорее всего, бесплодной, но такой сладкой, что настанет день, когда он сможет пожить для себя. В письме, адресованном сенату, где он обещает, что и в отставке будет вести себя с достоинством, помня о своей былой славе, я нашел такие слова: «Легче обещать это, чем выполнить. Но, коли уж наступления этой желанной минуты ждать

еще так долго, радость ее предвкушения заставляет меня наслаждаться хотя бы тем, что я мечтаю о ней вслух». Удалиться от дел казалось ему таким прекрасным, что самая мысль об уходе на покой дарила ему наслаждение. Ему, который всем повелевал и решал судьбы людей и целых народов, величайшее удовольствие дарила мечта о том дне, когда он избавится от своего величия. Он не понаслышке знал, какого пота, каких не видимых миру страданий стоит благоденствие, воцарившееся на всей земле. Вынужденный поднять оружие вначале против сограждан, затем — против коллег, наконец, против своих близких, он пролил немало крови и на суше и на море. Армию, утомленную истребительными римскими усобицами, он провел через Македонию, Сицилию, Египет, Азию и едва ли не все побережья, пока не повернул ее против внешних врагов. Но пока он усмирять Альпы и подавлял недовольство, вспыхнувшее в уже завоеванных провинциях, пока он сдвигал границы за Рейн, Евфрат и Дунай, в самом Риме против него точили кинжалы Мурена, Цепион, Лепид, Эгнаций и многие другие. Едва избежав расставленной ловушки, он столкнулся с тем, что его дочь и вместе с ней множество молодых людей благородного происхождения, словно сговорившись вступить в армию любодеев, омрачили его старость. Среди них был Юл, в лице которого как будто возродилась былая угроза, исходившая от Антония и связанной с ним женщины. Дабы спастись от этой язвы, ему приходилось отсекать свои собственные члены, но язвы только множились; так слишком полнокровный человек осужден страдать от частых кровотечений. Потому и мечтал он об отдыхе, что самая мысль о вожделенном покое приносила ему облегчение. Таково было желание человека, способного исполнить любые желания».

Психологические характеристики Сенеки и оценка, которую он дает жизни Августа, производят сильное впечатление. И в самом деле начинаешь верить, что существование принцепса временами становилось невыносимым. Вместе с тем, несмотря на привычку подолгу «пережевывать» в памяти события минувших лет, несмотря на физическую и моральную усталость, Август ни на минуту не забывал о том, что он — римский политик республиканской традиции. Он мечтал не просто о покое, он мечтал о покое, исполненном достоинства — *otium cum dignitate*, благородную сущность которого защищал еще Цицерон. Но Август сам себя обрек на невозможность вкусить покоя — римский республиканский закон, согласно которому мужчины, достигшие 60 лет, имели право целиком посвятить себя досугу, его не касался. Взобравшись на вершину, он, может быть, и мечтал спуститься вниз, но лесенка, по ступенькам которой он карабкался вверх, давным-давно исчезла. Да и никакая лесенка ему бы уже не пригодилась. Он понимал, что навечно прикован к вершине, до самой смерти. Все стариковские удовольствия — подумать о жизни, поковыряться в саду, поделиться политической мудростью с молодежью, дать дельный совет зрелому человеку, занимающему важный пост, участвовать в делах косвенно, как бы со стороны, не неся за них никакой моральной ответственности, одним словом, пользоваться главным преимуществом старости — авторитетом, ему, завоевавшему этот авторитет слишком рано, теперь стали недоступны. Но Август сам выковал свою судьбу, столь непохожую на судьбы других людей, и ценой, которую ему пришлось за это уплатить, была невероятная, немислимая усталость.

Вместе с тем он хорошо помнил урок, когда-то усвоенный от Вергилия. Чем ближе подкрадывалась к нему старость, тем острее он чувствовал, что дело, начатое им, не должно прерваться, иначе получится, что

он пролил реки человеческой крови только ради того, чтобы прорваться к власти. Вспоминал он и о своих долгих беседах с Арием. Эти воспоминания рождали в нем мысли, впоследствии подхваченные Сенекой («Утешение к Марции», XV, 1-2):

«Мне кажется, Фортуна нарочно время от времени лишает цезарей своего расположения, чтобы род человеческий получил от них еще одно благодеяние — убедился, что даже те, кто считается сыновьями богов и прародителями божеств, не в силах распорядиться своей судьбой так, как они распоряжаются чужими судьбами. Божественный Август потерял всех своих детей и внуков, похоронил последнего из Цезарей и, дабы дом его окончательно не опустел, вынужден был прибегнуть к усыновлению. И тем не менее он переносил удары судьбы с мужеством человека, сознающего свою уязвимость, но не желающего никому давать повода жаловаться на богов».

С присущей ему пронизательностью Сенека вскрыл внутреннюю драму принцепса, вынужденного играть роль божества и потому осужденного вечно демонстрировать силу духа, какой не может обладать человек. Другие люди черпают утешение, жалуясь на несправедливость судьбы — ему и в этом было отказано.

Принцепс в кругу семьи

Не будем забывать, что близкие Августа всячески поддерживали в нем мысль о необходимости продолжать удерживать власть, так что можно сказать, что политика пронизывала каждый миг его существования, не оставляя места для простых семейных радостей. Каким бы величественным ни казался он со стороны, в душе его жили чувства обиженного отца и деда, старого и усталого человека, нуждавшегося в простом человеческом тепле. Светоний приводит один эпизод, представляющий нам Августа в совершенно неожиданном ракурсе. У него оставалась единственная внучка Агриппина, любовью к мужу и многочисленным потомством снискавшая себе репутацию образцовой римской матроны, какой, по мнению Августа, и следовало быть женщине его семейства. Из девяти детей, которых она родила Германику, выжили, к своему несчастью, шестеро. Двое умерли в младенчестве, не оставив по себе, по обычаю того времени, никаких сожалений, а еще один успел достаточно подрасти, чтобы родные полюбили его прелестный облик, но потом тоже умер. Ливия заказала статую, изображавшую мальчика в виде Амура, и посвятила ее храму Венеры. Такую же точно статую Август поставил в своей опочивальне и, входя, каждый раз целовал ее^[226]. Эта деталь, наверняка подсмотренная кем-то из домочадцев, который не удержался, чтобы не рассказать о ней вслух, свидетельствует, что Август действительно любил своих детей, а не просто видел в них продолжателей рода.

Как явствует из письма к Агриппине, датированного апрелем или маем 14 года, то есть года его смерти, он горячо интересовался здоровьем своих правнуков:

«Вчера я договорился с Таларием и Азеллием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в пятнадцатый день до июньских календ (17 мая), коли богам будет угодно. Посылаю вместе с ним и врача из моих рабов; Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и постарайся прибыть к своему дорогому Германику в добром здравии»^[227].

Малышу, о котором проявлял беспокойство Август, исполнилось тогда два года. Родители взяли его с собой в Германию, и воины, которыми командовал Германик, охотно играли с мальчиком и наряжали его солдатиком. Они же прозвали его Калигулой, что значит «Сапожок». Под этим именем он и вошел в Историю.

Август любил и других детей. Иногда он играл в орехи с мальчиками-рабами, «Ему нравились их хорошенькие лица и их болтовня, и он покупал их отовсюду, особенно же из Сирии и Мавритании» (Светоний, LXXXIII). Пожалуй, последнее наблюдение, скорее всего, тоже сделанное кем-то из домашних, могло бы быть квалифицировано как проявление старческого маразма. Однако не будем торопиться с выводами. На самом деле Август в этом отношении ничем не отличался от своих современников. В богатых домах было принято держать детей-рабов, которые целыми толпами нагишом сновали по комнатам, своим умильным видом радуя глаз домочадцев, — словно пухлые купидоны, сошедшие с фресок.

Но и здесь Август проявлял свойственную ему сдержанность, в равной мере диктуемую здравым смыслом и суеверием. Так, он терпеть не мог карликов, уродцев и прочих неприятных на вид существ, видя в них насмешку природы и зловещее предзнаменование. Впрочем, в его доме жил один карлик по имени Коноп, ростом в восемьдесят один сантиметр. С ним в детстве любила забавляться Юлия Младшая. У Ливии тоже жила карлица, которую звали Андромеда^[228].

Он вполне радушно встречал мальчиков из хороших семей, которых приводили к нему засвидетельствовать почтение. Это даже вошло у него в обычай. Однажды к нему с визитом вежливости явился мальчик, которого Август ущипнул за щечку, проговорив: «И ты, малютка, отведаешь моей власти». Этим мальчиком был будущий император Гальба, на несколько месяцев возглавивший империю после смерти Нерона^[229]. Для нас это пророчество, наверняка выдуманное с целью поддержать авторитет Гальбы, интересно тем, что доказывает: даже в 68 году магический ореол имени Августа все еще служил основанием, на которое опирался выдвинувшийся из рядов аристократии претендент на власть.

Любовь Августа к детям распространялась и на самого обездоленного из правнуков — маленького Клавдия, которому вопреки всеобщим ожиданиям выпало сделаться носителем власти. Клавдий приходился внуком Ливии и одновременно, через свою мать Антонию, дочь Юлии, внучатым племянником Августу.

В характере Клавдия отмечались большие странности, которые объясняли тем, что он трудно родился на свет. Эти странности очень мешали ему, когда настало время включиться в государственные дела. Кроме того, его всегда подавлял Германик, его брат, отличавшийся отменной выправкой и представительностью. Мать Клавдия, считавшаяся образцом женской добродетели, часто говорила, что он «урод среди людей, что природа начала его и не кончила». Когда ей случалось встретить какого-нибудь особенно тупого человека, она имела обыкновение говорить о нем: «Глупее моего Клавдия»^[230]. Но Август в отличие от Ливии не обижал мальчика невниманием. Светоний приводит три его письма Ливии, в которых речь идет о Клавдии:

«По твоей просьбе, дорогая Ливия, я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с твоим внуком Тиберием (так звали Клавдия) на Марсовых играх. И оба мы согласились, что надо раз навсегда установить, какого отношения к нему держаться. Если он человек, так сказать, полноценный и у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат? Если же мы чувствуем, что он поврежден и телом и душой, то и не следует давать повод для насмешек над ним и над нами тем людям, которые привыкли хихикать и потешаться над вещами такого рода. Нам придется вечно ломать себе голову, если мы будем думать о каждом шаге отдельно и не решим заранее, допускать его к должности или нет. В данном же случае — отвечаю на твой вопрос — я не возражаю, чтобы на Марсовых играх он устраивал угощение для жрецов, если только он согласится слушаться Сильванова сына, своего родственника, чтобы ничем не привлечь внимания и насмешек. Но смотреть на скачки в цирке со священного ложа ему незачем — сидя впереди всех, он будет только обращать на себя внимание. Незачем ему и идти на Альбанскую гору и вообще оставаться в Риме на Латинские игры: коли он может сопровождать брата на гору, то почему бы ему не быть и префектом Рима? Вот тебе мое мнение, дорогая Ливия: нам надо обо всем этом принять решение раз и навсегда, чтобы вечно не трястись между надеждой и страхом. Если хочешь, можешь эту часть письма дать прочесть нашей Антонии».

«Юного Тиберия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду, чтобы он не обедал один со своими Сульпицием и Афинодором. Хотелось бы, чтобы он осмотрительней и не столь рассеянно выбирал себе образец для подражания и в повадках, и в платье, и в походке. Бедняжке не везет: ведь в предметах важных,

когда ум его тверд, он достаточно обнаруживает благородство души своей».

«Хоть убей, я сам изумлен, дорогая Ливия, что декламация твоего внука Тиберия мне понравилась. Понять не могу, как он мог, декламируя, говорить все, что нужно, и так связно, когда обычно говорит столь бессвязно»^[231].

Разве могут эти строки принадлежать беспомощному старику, влачащему существование «под каблуком» ненавидящих его жены и Тиберия? Нет, это написал дед, озабоченный восстановлением справедливости по отношению к внуку и не скрывающий своей радости, когда ему удастся обнаружить в Клавдии черты, достойные уважения. Может быть, он догадался, что неуклюжее поведение юноши вызвано робостью, которую Август и в самом деле внушал многим. Не удивительно, что мальчик, которому ближайшие родственники постоянно твердили о его умственной отсталости, терялся в присутствии великого деда.

По правде сказать, первое письмо Августа Ливии только ставит проблему, но не решает ее. И действительно, Клавдия намеренно держали поодаль от общественной жизни, и первые почетные должности, полагавшиеся ему по чину, он получил лишь в правление своего племянника Калигулы. Август сам завел правило, согласно которому от каждого члена семьи ждали строгого соответствия некоему идеалу красоты и здоровья. Малейшее отклонение от нормы, способное произвести на окружающих дурное впечатление или вызвать насмешки, считалось недопустимым. В сущности, следует признать, что Август действовал с позиций здравомыслящего публичного политика и, отдадим ему должное, подходил к решению этой проблемы с серьезностью, но без предвзятости.

Кому достанется главная роль?

Этот частный вопрос, имевший, тем не менее, общественное значение, ибо он затрагивал семью принцепса, Август обсуждал с Тиберием — своим главным наследником. Он счел нужным уточнить, что усыновил Тиберия, руководствуясь государственными интересами, и его завещание, составленное в апреле 13 года, начиналось такими словами: «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере половины плюс одна шестая будет Тиберий»^[232]. Из этого некоторые античные историки сделали вывод, что он не любил Тиберия. Они утверждали, что после последнего разговора с Тиберием Август произнес: «Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!» Они как бы намекали, что Тиберий подобен хищнику, которому доставляет удовольствие продлевать мучения своих жертв. Говорили также, что при всяком приближении вечно угрюмого Тиберия Август сейчас же прерывал веселую или легкомысленную беседу, которую вел^[233]. Якобы принцепс согласился назначить его своим наследником, лишь уступив настойчивому давлению Ливии, если не из тщеславной надежды, что при таком жестоком преемнике народ скорее пожалеет о нем.

Все это слухи, проверить обоснованность которых у нас нет ни малейшей возможности. Так, Светоний, при всей своей враждебности к Тиберию, им не верит, полагая, что они противоречат характеру Августа — человека слишком умного и осторожного, чтобы с таким легкомыслием подойти к решению столь важного вопроса. Он приводит выдержки из писем Августа, подтверждающие, что к Тиберию он относился с большим уважением. Но тот же Светоний рассказывает,

что некоторое время спустя после смерти Августа Ливия, обозленная непокорностью Тиберия, вынула из тайника адресованные ей письма Августа, в которых тот осуждал Тиберия за неуживчивость и упрямство^[234]. По всей видимости, эти письма относились к тому периоду, когда Тиберий покинул Рим. Когда же под гнетом обстоятельств ему пришлось назначить Тиберия своим наследником, он выказывал ему и уважение, вполне заслуженное, учитывая военные успехи пасынка и его будущее высокое положение, и чисто человеческую привязанность, по которой так тосковала его исстрадавшаяся душа. Тон его писем к Тиберию отличается особой теплотой:

«Прощай, любезнейший мой Тиберий. Желаю тебе счастливо сражаться за меня и наших соратников. Прощай, любезнейший, храбрый муж и, клянусь моим счастьем, мудрейший из полководцев!»

«Могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий: я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Все, кто были с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха:

Тот, кто нам один неусыпностью выправил
дело»^[235].

«Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным, приходится ли на что-нибудь сердиться, клянусь, я тоскую о моем милом Тиберий, вспоминая славные строки Гомера:

Если спутник мой он, из огня мы горящего оба
С ним возвратимся: так в нем обилен на

вымыслы разум».

«Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, то разрази меня бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом! Умоляю, береги себя: если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас и все могущество римского народа будет под угрозой.

Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров?

Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне и всегда, если им не вконец ненавистен римский народ»^[236].

Эта бьющая через край нежность, сопровождаемая похвалами и литературными реминисценциями, показывает, что Август прекрасно понимал, насколько прочность возведенного им здания зависит от выдержки Тиберия. Тому исполнился 51 год, и, если его военные таланты ни в ком не вызывают сомнения, обоснованность похвал, расточаемых ему Августом во всех прочих отношениях, не находит подтверждения ни в одном из известных источников. Может быть, Август сознательно лицемерил, подозревая, что его письма будет читать отнюдь не только один их адресат? Или мы должны принимать его слова за чистую монету?

Он видел, что Тиберий мало походил на «доброго правителя». Высокомерный, зажатый, он был необщителен, даже с близкими разговаривал сквозь зубы, а лицо его частенько безобразили густо высыпавшие прыщи. Август, со свойственной ему обидной откровенностью, никогда не делал вид, что не замечает всего этого. Напротив, он не раз выгораживал его перед народом и сенатом, заявляя, что «в недостатках Тиберия повинна природа, а не нрав»^[237]. Довольно неуклюжее оправдание, словно призывающее

принять недостатки Тиберия как данность и не пытаться вскрыть их глубинные причины. Особенно цинично оно звучало из уст Августа, который в немалой степени приложил руку к шквалу чувств, бушевавших в душе Тиберия.

Между тем Август не кривил душой, когда утверждал, что благополучие Тиберия так же дорого ему, как его собственное, и что от беспокойства за Тиберия его сотрясает дрожь. В дальних походах погибли и Друз, и его внук Гай, и он знал, что судьба в любую минуту может лишить его последней поддержки. Понимал он и то, что управление империей, которое он осуществлял с 32-летнего возраста, если считать от победы при Акциуме, требовало огромного опыта. Единственным, кто годился на эту роль, был Тиберий. Забыв про свои былые «фокусы», Тиберий исправно выполнял все, что поручал ему Август. Немалую долю теплых чувств, которые Август столь демонстративно проявлял к пасынку, составляла его признательность императору, то есть главнокомандующему армией, практически державшему в руках судьбу римского народа. Как всегда, не делая различия между личным и общественным, Август ценил в Тиберии защитника своего дела, видел в нем свое alter ego, заместителя, облеченного той же ответственностью и тем же почетом, что и он сам.

Политическая обстановка и военные сложности

Политическое положение империи внушало определенные тревоги внутри государства и еще более серьезные — за его пределами. В 5 году н. э. произошло несколько землетрясений, причинивших городу немалые разрушения. Течением Тибра снесло несколько мостов, а нижняя часть города на семь дней ушла под воду. Наблюдалось и частичное солнечное затмение. Римляне воспринимали эти события как предвестие большого несчастья. Обозначившаяся угроза голода отнюдь не улучшила их настроения.

На следующий год снова случился неурожай, и в народных кварталах вспыхнули беспорядки. Август принял решение выселить за пределы города работоторговцев с их «товаром», гладиаторов, часть рабов и всех иноземцев, исключая врачей и учителей (Светоний, XLII, 4). Он даже подумывал отменить бесплатную раздачу хлеба, недовольный тем, что народ, рассчитывая на помощь государства, не занимается земледелием. Правда, он так и не осуществил свою угрозу, объяснив это тем, что следующий принцепс в погоне за дешевой популярностью все равно восстановит хлебные раздачи. Но как знать, не боялся ли он сам утратить народную любовь?

К сложностям внутривнутриполитического характера вскоре добавились неприятности внешнего порядка — восстало население Далмации и Паннонии. Август, задумав провести широкомасштабную военную операцию на территории Германии, поручил наместнику обеих упомянутых провинций нанять из их жителей войско, которое присоединилось бы к легионам Тиберия. Но далматы отказались воевать за римские

интересы; вспыхнул мятеж, вскоре перекинувшийся и в Паннонию. Армия мятежников, насчитывавшая 800 тысяч человек, двинулась частично к Италии, частично — к Македонии. В самих восставших провинциях остались отряды, осадившие римские крепости.

В Риме началась паника. Вооруженные варвары находились уже в десяти дневных переходах от города, и Август во всеуслышание заявил, что не уверен, сумеют ли легионы их остановить. Подготовив народ к худшему, он принял ряд неотложных мер, нацеленных на укрепление войска: объявил дополнительный набор в армию из числа свободных граждан и вольноотпущенников, призвал под знамена ветеранов, а сенаторов и всадников обложил податью. В народе говорили, что со времен Второй Пунической войны, когда Ганнибал дошел до самых городских ворот, Рим никогда еще не испытывал такой реальной угрозы своей безопасности. Тиберий, вынужденный срочно вернуться из германского похода, возглавил войну с восставшими народами, которая длилась с 6 по 9 год. В конце концов он подавил их сопротивление, но, разумеется, никакой военной добычи эта кампания не принесла, и огромные расходы на ее ведение только усугубили экономический кризис, переживаемый Римом. Тем не менее Тиберий получил право на празднование триумфа.

Если мы вспомним, что приблизительно на этот же период пришлось и ссылка Агриппы Постума, и скандал вокруг Юлии Младшей, и участвовавшие городские пожары, нам станет понятно, почему Август чувствовал себя вымотанным до предела. А ведь ему еще приходилось, махнув рукой на плохое самочувствие, многократно выезжать в Римини или Аквилею, неподалеку от которых разыгрывались главные сражения.

Наступил 9 год. Август справил свое 72-летие, принял поздравления столетней актрисы и, казалось бы,

смог вздохнуть спокойнее, поскольку Тиберию наконец-то удалось стабилизировать положение в Иллирии. Но оснований для тревог оставалось еще более чем достаточно. Воспоминания о семейных неурядицах, отравивших ему жизнь в минувшем году, заставили его обратиться мыслью к ужесточению законов о нравственности, которую женщины его собственной фамилии столь беззастенчиво попирали. Новый закон, внесший существенные поправки в установления, принятые в 16 году до н. э., получил имя консулов года — Марка Папия и Квинта Поппея. Общественное недовольство не замедлило сказаться и приняло такие откровенные формы, что некоторые статьи закона пришлось смягчить или даже отменить, в частности, увеличить срок вдовства и повысить размер вознаграждений (Светоний, XXXIV). Но это мало помогло. Люди протестовали против инициативы законодателей, каждый из которых не имел ни жены, ни детей^[238]. Дошло до того, что во время одного из публичных представлений всадники громко потребовали отмены закона. Август в ответ велел привести детей Германика и Агриппины и, не имея возможности говорить из-за страшного шума, жестами стал показывать на детей и их отца, присутствовавшего здесь же, как бы стараясь внушить бушующей публике, что перед ней пример, достойный подражания. Народ оценил красоту мизансцены, но требований своих не снял, избрав для их удовлетворения другие пути. Отныне каждый искал и находил всевозможные способы обойти закон. Всем стало ясно, что реформа нравственности окончательно провалилась.

Август болезненно переживал свою неудачу, и порой случалось, что маска доброты и милосердия спадала с его лица. Он, который обычно не обращал никакого внимания на подметные письма и никогда не пытался искать и преследовать их авторов (Светоний, LV),

который дружил с Титом Ливием, не скрывавшим своих республиканских убеждений и симпатизировавшим Помпею, ближе к старости ополчился против оппозиции, сочтя ее идейным вдохновителем школы риторов, хотя до той поры относился к ним вполне терпимо. Справедливости ради отметим, что ставший его первой жертвой Лабиен с такой яростью критиковал все, что ему не нравилось, что заслужил прозвище Рабиен, то есть Бешеный. Он до последнего хранил верность памяти Помпея и в своем сочинении, посвященном современной истории, сурово осуждал установленный Августом режим. В 12 году сенат принял постановление о предании трудов Лабиена сожжению. На римскую интеллигенцию, если верить Сенеке Ритору («Контроверзы», X, Предисловие, 6–8), это решение произвело эффект катастрофы:

«Бросить в огонь плоды трудов ума и духа! Вот истинная жестокость, которой мало других жертв! Возблагодарим богов, что преследование талантов началось тогда, когда на земле не осталось больше талантов!»

Лабиен не смог пережить гибели дела всей своей жизни. Он заперся в фамильном склепе и умер там от голода и жажды. Один из его литературных соперников, Кассий Север, имел неосторожность выступить с дерзким замечанием. «Придется и меня сжечь заживо, — заявил он, — ведь я помню наизусть все написанное Лабиеном!» И отправился в ссылку.

Неудачи во внутренней политике попортили Августу немало крови, но худшее еще ждало его впереди. У него был друг — Публий Квинтилий Вар, с которым он породнился, отдав ему в жены внучку Октавии. Квинтилий Вар сделал блестящую военную и политическую карьеру и в 9 году получил назначение легатом в Германию. Недостаточно трезво оценив местную обстановку, он слишком рьяно взялся

выколачивать из германцев подати и творить над ними суд и расправу. Германцы восстали. В его окружение входил благородный юноша из племени херусков по имени Арминий, служивший в римском войске в качестве заложника. Вар считал его искренним союзником и во всем слушался его советов. Именно Арминий надомнил его совершить поход через всю Германию по направлению к реке Визург, до самого Тевтобургского леса. Арминий завел римлян в лесную чащу и... испарился. Лил проливной дождь, земля под ногами превратилась в месиво, в котором увязали воины и, что еще хуже, тяжелые повозки. Ветер дул с такой силой, что валялись деревья. Легковооруженные германцы, отлично ориентировавшиеся на местности, окружили три легиона и девять вспомогательных отрядов Вара. Римские воины пытались метать дротики, но силой ветра их уносило в сторону. Силы римлян таяли на глазах, когда же Вар и все остальные командиры покончили самоубийством, боевой дух окончательно покинул деморализованное войско. Жалкие остатки некогда грозной армии германцы безжалостно добились на месте^[239].

Арминий стал национальным героем, символом германского сопротивления римской власти. О нем снова вспомнили в XVIII веке, когда Клопшток под именем Германа сделал его героем своей драматургической трилогии. Еще столетие спустя, в годы борьбы с Наполеоном, фон Клейст посвятил ему историческую драму^[240]. Современники Арминия имели все основания прославлять его как героя, ибо одержанная благодаря ему победа положила конец мечтам Августа о великой Германии и закрепила границу римского присутствия по Рейну.

Эта мысль стала ясной и самому Августу, и всему римскому народу, едва прошел первый шок, вызванный рассказами об ужасном побоище, устроенном свирепыми

германцами, которые добивали раненых и глумились над телами убитых. Получив сообщение о разгроме своей армии, Август для предупреждения беспорядков приказал выставить по всему городу часовых и принял решение продлить срок полномочий наместников провинций. Он справедливо рассудил, что дурной пример германцев способен вызвать нежелательные настроения среди населения союзнических стран, и, чтобы справиться с ними, потребуются опыт и знание местной обстановки. Приняв необходимые меры на уровне земном, он обратил свой взор к небесам и дал клятву устроить пышные игры в честь Юпитера Капитолийского, если только положение улучшится. Внешне он вел себя, как всегда, хладнокровно, но это не значит, что он оставался спокойным в душе. Последние события заставили его пережить глубокое внутреннее разочарование. В знак траура он перестал брить бороду и стричь волосы, а когда отчаяние становилось непереносимым, бился головой о косяк и горестно восклицал: «Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!» (Светоний, XXIII).

Только единство римского народа могло помочь ему не дрогнуть перед суровыми ударами судьбы. В 10 году как раз завершилась затеянная Тиберием перестройка храма Согласия на Форуме. 16 января состоялось его торжественное освящение. На фронте храма красовались имена Тиберия и его брата Друза^[241]. Род Клавдиев, представителей которого не смогла разлучить даже смерть, взял на себя роль гаранта гражданского согласия.

Но Тиберий задержался в Риме ненадолго. Он отложил на более поздний срок празднование своего триумфа, которое в данных обстоятельствах выглядело бы неуместно, и отбыл в Германию наводить в ней порядок. С 10 по 12 год он одерживал победу за победой и добился своего. В октябре 12 года он наконец справил

триумф, который стал последним пышным празднеством, устроенном в Риме при жизни Августа. В роли триумфатора выступил Тиберий, но все понимали, что эту честь с ним в равной мере делил и Август, перед которым будущий принцепс, спустившись у подножия Капитолийского холма с колесницы, преклонил колени.

14 год

За несколько месяцев до смерти Августа умер один из его ближайших друзей Павел Фабий Максим. Ему было 60 лет, и он входил в число самых последовательных сторонников принципата. Во время траурной церемонии, размах которой соответствовал громкому имени усопшего, случилась непредвиденная заминка. Супруга покойного, нарушая заведенный порядок, принялась громко рыдать и во всеуслышание причитать, что это она сгубила своего мужа. Эту женщину звали Марция, и она приходилась внучкой Луцию Марцию Филиппу — второму мужу матери Августа Атии. Пересказывая этот эпизод, Тацит приводит ему объяснение, в достоверности которого, судя по всему, не сомневается. Итак, историк утверждает, что Август в сопровождении одного Фабия Максима ездил на Планасию проведать своего внука Агриппу Постума. Во время встречи оба пролили немало слез и выказали друг другу такую искреннюю взаимную любовь, что стало ясно: вскоре Агриппа будет призван назад в Рим. По возвращении Фабий Максим якобы рассказал об этой встрече своей жене, а та проболталась о ней Ливии. От этой детали до предположения, что Фабия Максима приказала «убрать» Ливия, оставалось сделать всего один шаг, и историк его сделал^[242].

Довольно трудно поверить, что Август мог совершить такую поездку тайком от Ливии. Разумеется, супруги иногда расставались, в частности, Ливия время от времени одна уезжала в свои загородные имения, например на виллу Прима Порты. В свою очередь Август порой на несколько дней покидал супругу. Но, учитывая обстановку взаимного недоверия, царившего в семье в

этот период, кажется маловероятным, чтобы он мог отлучиться из дому, не предупредив жену, куда едет, так что никто, кроме редких посвященных, не знал, где в эти дни находится владыка мира, вся жизнь которого протекала на виду. Чтобы версия Тацита выглядела правдоподобной, нам придется допустить, что Август, воспользовавшись поездкой на одну из своих вилл на тосканском побережье, улучил момент и уже оттуда нанес тайный и стремительный визит на Планасию.

Какой бы хрупкой ни казалась эта гипотеза, мы не имеем права с порога отметать ее. В завещании, скрепленном печатью 13 апреля 13 года, Август вообще не упоминает имени Агриппы Постума. Он даже не указывает, что запрещает хоронить внука в своем мавзолее, хотя не забывает сделать аналогичные распоряжения относительно обеих Юлий. Таким образом, если судить по завещанию, никаких изменений в составе семьи принцепса, определенном после смерти принцепсов молодежи, не произошло. Тиберий оставался его приемным сыном, а Германик — приемным сыном Тиберия. Но это означает, что с точки зрения Августа Агриппа Постум, которого он лишил всех прав, вообще не существовал. Действительно, если бы он относился к Агриппе Постуму как к реально существующей личности, которую он задумал лишить наследства, он обязательно зафиксировал бы это обстоятельство в юридически законной фирме: «Агриппа лишается наследства». В отсутствие этой формулировки его завещание могло быть объявлено недействительным. Следовательно, в апреле 13 года Агриппа для Августа умер.

Возможно, траур по живому внуку так «давил» на сознание Августа, что он захотел еще раз убедиться в справедливости наложенного им наказания. Возможно также, его обуревали опасения по поводу законности составленного им завещания. Если бы он захотел

пересмотреть свое решение относительно Агриппы и восстановить внука в правах, он бы просто внес в завещание некоторые поправки. Если же после его смерти Агриппа начал бы, опираясь на своих сторонников, добиваться признания своих прав через сенат, это привело бы к признанию завещания недействительным. И что бы тогда помешало клану Юлиев провести Агриппу к власти? Август не хотел оставлять государство внуку, это очевидно. Даже если он не сомневался в его «нормальности», он не доверял ни его молодости, ни его неопытности. В то же самое время он вполне мог сожалеть, что так круто обошелся с юношей, родным не по бумагам, а по крови.

Описанный шквал мыслей и чувств, бушевавший в голове и сердце Августа, с нашей стороны есть чистой воды домысел, допущенный с единственной целью — объяснить его поездку на Панагию. Итак, допустим, что за несколько месяцев до смерти Август испытал жгучее желание повидаться с внуком. Когда он мог осуществить эту затею?

Календарь его передвижений в последние месяцы жизни достаточно хорошо известен, так что можно попробовать поискать ответ на этот вопрос. В апреле или мае Август вместе с Тиберием в качестве цензоров совершили на Марсовом поле пятилетнее жертвоприношение. Август уже собирался произнести слова ритуальной клятвы, венчающей церемонию, когда в небе прямо над ним появился орел. Сделав над головой принцепса круг, орел устремился к соседнему храму и уселся на первую букву имени Агриппы, который когда-то и построил храм. Увидев это, Август отказался произносить клятву, исполнить которую, как он заявил, уже не успеет, и попросил Тиберия сделать это за него. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять смысл предзнаменования. С буквы «А» начиналось не только имя Агриппы, но и его собственное имя, значит,

догадался он, очень скоро он встретится со своим умершим зятем, если, конечно, его заслуги не вознесут его гораздо выше тех мест, где пребывает душа Агриппы.

В результате пятилетнюю клятву принес Тиберий. Торжественная процессия, сопровождавшая жертвенных животных — свинью, овцу и быка — обошла кругом толпу народа, собравшегося для пересчета и очищения. Круг, символизировавший век Августа, замкнулся. Животных принесли в жертву богу Марсу — в знак согласия между людьми и богами и в надежде на благополучное будущее. Августу в этом будущем места уже не оставалось.

Каким бы пронзительным ни проявил себя Август, с легкостью расшифровав послание небес, полученное им пророчество не отличалось большой точностью. Он лишь убедился, что умрет в течение ближайших пяти лет. Но тут случилось еще одно событие. «Около того же времени», как пишет Светоний, «от удара молнии расплавилась первая буква имени Caesar под статуей» (XCVII). Прорицатели объяснили ему, что он проживет еще не больше 100 дней, ибо буква С по-латински обозначает сотню, а после смерти будет причислен к богам, ибо на этрусском языке слово «aesar» означает «бог». Светоний пересказывает этот эпизод как нечто хорошо известное всем и каждому. В своей привычной манере он опускает детали, в которых его читатель-современник действительно не нуждался, и нам остается лишь гадать, почему древним римлянам предзнаменование казалось заслуживающим доверия. Из пересказа Светония не ясно, ни когда именно в стацию ударила молния, ни в какую именно стацию она ударила. Из общего контекста вытекает, что Август в это время находился в Риме, и если автор не счел нужным уточнить, о какой именно статуе идет речь, как будто на всем свете существовала одна-единственная статуя

Августа, можно предположить, что он имел в виду особенно почитаемую статую, вероятно, установленную на Форуме. Что касается даты, то ее вычислить легко. Август умер 19 августа, отнимем от этой даты ровно сто дней и получим дату 11 мая. Ошибки быть не может: если бы предсказание не исполнилось с точностью до дня, никто не стал бы выдумывать такую красивую легенду.

Итак, предполагается, что ровно за сто дней он узнал, что умрет 19 августа. Вероятно, тогда же он отметил, что свое первое консульство получил тоже 19 августа, только 43 года до н. э., то есть за 47 лет до того ^[243]. Сознавая, что жить осталось совсем немного, он, вероятно, захотел как можно скорее осуществить свой план и повидать Агриппу Постума. Известно, что 14 мая, во время ежегодного праздника арвальских братьев, постоянным членом коллегии которых он являлся, Август на церемонии не присутствовал. В тот день арвальские братья намеревались включить в свои ряды сына Тиберия Друза. Август и Тиберий часто сообщали свою волю письменно; так они поступили и на этот раз. Вместе с ними письменно высказался и Германик, тоже член коллегии, вписавший свою кандидатуру в письмо Августа. Но к этому все привыкли, и никаких оснований удивляться не возникло. Странность заключалась в том, что этим же письмом проголосовал и Павел Фабий Максим, что шло вразрез с уставом жреческой коллегии.

Это нарушение заставляет нас вернуться к гипотезе о посещении Августом острова Планасия. Возможно, Павел Фабий Максим получил разрешение проголосовать письменно, что допускалось только для членов семьи Августа, в виде исключения, вызванного необходимостью. Какой? Сопровождать Августа на Планасию.

Если все действительно произошло именно так, если Август и в самом деле ездил к внуку и нашел того раскаявшимся в былых прегрешениях, то предположение о том, что он все-таки поддался давлению Ливии и обрек Агриппу на скорую гибель, выглядит неправдоподобным. Если же в результате теплой встречи, описанной Тацитом, положение Агриппы осталось прежним, это может значить только одно: она протекала совсем не так, как изобразил историк. Очевидно, Агриппа не сумел убедить деда, что изменился к лучшему.

Жаль, конечно, потому что сама по себе сцена очень хороша, и к портрету Августа она добавляет искренний и теплый штрих. В целом же, увы, приходится признать, что гипотеза о посещении острова, скорее всего, несостоятельна.

Возможно, честь ее изобретения следует отнести на счет партии Юлиев. Не исключено также, что Фабий Максим выступил соучастником этой затеи, и последующая «утечка информации» была им организована сознательно и с двойной целью: припугнуть Тиберия и Ливию и вызвать в народе сочувствие к несчастному юноше, несправедливо лишенному наследственных прав.

Римские граждане действительно принимали близко к сердцу невзгоды, преследующие потомков правящего дома. Через два года после смерти Августа объявился некий молодой человек привлекательной наружности, внешне похожий на Агриппу Постума, который объявил, что он и есть Агриппа Постум. Ему удалось собрать вокруг себя немало сторонников и достаточно напугать Тиберия, чтобы тот приказал его арестовать и вскоре казнил. Официальное расследование пришло к выводу, что под именем Агриппы Постума выступил самозванец, в котором признали его бывшего раба. Больше об этом деле неизвестно ничего, и, что самое печальное,

неизвестно, действительно ли речь шла о самозванце. Юноша погиб, но не выдал ни одного из своих соучастников. Кем бы ни был он на самом деле, а нам кажется маловероятным, что он мог быть Агриппой Постумом, ясно одно: один он ни за что не сумел бы организовать столь смелое предприятие, преследовавшее очевидную цель пошатнуть не слишком еще твердую власть Тиберия. По всей видимости, ему помогал клан Юлиев, отнюдь не намеренный капитулировать.

Между тем Август готовился к своему последнему путешествию. Если б он действительно знал, что жить ему оставалось считанные месяцы, может быть, он и не двинулся бы из Рима. Но он настойчиво рвался в эту поездку, а жалобщикам, которые донимали его просьбами рассудить их, однажды в сердцах крикнул: «Даже если все восстанет против меня, я в Риме не останусь!» Впоследствии эту вспышку гнева, столь для него нехарактерную, поспешили объяснить его предчувствием близкой смерти. Он хотел отправиться вместе с Тиберием, который возвращался в Иллирию. Они планировали провести некоторое время в Кампании и совместно добраться до Беневента, откуда Тиберий продолжил бы свой путь один. Так они и сделали.

Светоний подробно описывает этапы этой поездки, останавливаясь на всех мало-мальски значимых событиях, случившихся в пути. В его рассказе последнее путешествие Августа приобретает черты ритуального шествия к тому месту, в котором судьба назначила ему встречу со смертью. Светоний разделяет ту точку зрения, согласно которой принцепс прекрасно знал о приближении кончины, но это не мешало ему оставаться с окружающими приветливым, остроумным, а порой даже смешливым. Если верить Светонию, Август не лишал себя никаких развлечений, не выказывал ни малейших признаков страха, одним словом, вел себя как

человек, который, зная, что жить ему осталось недолго, постепенно освобождается от навязанных ему условностей и раскрывается с лучшей стороны.

По своему обыкновению он путешествовал не торопясь, с частыми остановками, и так добрался до города Астуры, что в Латии, откуда, изменив своей привычке, отплыл ночью, дабы воспользоваться попутным ветром. В пути ему стало нехорошо: это начиналась последняя болезнь, давшая о себе знать кишечным расстройством.

Миновав побережье Кампании и близлежащие острова, он прибыл в Путеолы, где его ждала приятная неожиданность. Только что прибывшие в гавань александрийские моряки явились выразить ему свое почтение. Они пришли в белых одеждах и с венками на головах. Воскурив принесенный с собой фимиам, они обратились к нему с такой речью:

«Вашей милостью мы живем, вашей милостью плаваем по морям, вашей милостью радуемся свободе и благополучию».

В ответ растроганный Август оделил своих спутников золотыми монетами, взяв с них клятву, что они потратят эти деньги исключительно на александрийские товары. Имен этих спутников мы не знаем, известно лишь, что Августа сопровождали Ливия, Тиберий и звездочет Тиберия Фрасилл, с которым тот никогда не расставался.

Затем он, по всей вероятности, остановился в Сорренте, где велел своим близким переодеться в греческие одежды и говорить только по-гречески. В то же время жители города, обычно говорившие на греческом языке, оделись по римской моде и стали говорить на латыни.

Четыре дня он провел на Капри. Он любил этот остров, где когда-то давно стал свидетелем чуда, возвестившего ему грядущее величие и процветание.

Многие из его друзей охотно отдыхали здесь, проводя дни в ленивой праздности. Это дало ему основание назвать Капри Апрагополем, то есть «городом праздности». Одного из своих любимых друзей, некоего Масгабу, он наградил прозвищем Основателя, ибо тот достиг таких высот в искусстве ничегонеделанья, что смело мог считаться столпом райского островка. Правда, годом раньше Масгаба собственным примером доказал, что и жители Капри смертны.

Население острова все еще использовало греческую образовательную систему, основанную на эфебии. Юношей до 18 лет воспитывали в соответствии с идеалом *paideia*, соединявшим культурное развитие с физической подготовкой. Затем, продемонстрировав свои знания и умения своего рода экзаменационной комиссии, они переходили в разряд взрослых мужчин. Август побывал на их тренировках и угощал юношей фруктами, закусками и сладостями.

Там же, на Капри, обедая как-то с Тиберием и Фрасиллом, он увидел из окна, что вокруг могилы Масгабы толпится народ с факелами. Фрасилл сидел спиной к окну и ничего этого видеть не мог. Тогда Август решил над ним подшутить. Он громко зачитал стих, который сам же только что и сочинил: «Горят огни над прахом Основателя», — и обратился к Фрасиллу с вопросом, кому из поэтов, по его мнению, он принадлежит. Звездочет растерялся. Желая ему помочь, Август зачитал еще один стих: «Ты видишь: в честь Масгабы пышут факелы!» Звездочет смутился еще больше. Затем, возможно, догадавшись, кто автор стихов — для звездочета это пустяк, он осторожно заметил, что, кто бы ни написал эти строки, они превосходны. Август в ответ расхохотался и принялся осыпать его шутками. Светоний не уточняет, над чем именно подтрунивал Август — то ли над литературным вкусом Фрасилла, то ли над его крайней осторожностью,

то ли над ограниченными возможностями предсказателя. Как бы там ни было, читателю Светония нужно добраться до последних страниц его повести, чтобы наконец увидеть Августа смеющимся и отпускающим лукавые шутки. Разумеется, ему и прежде случалось бывать в хорошем настроении, и по некоторым остроумным высказываниям, которые дошли до нас из разных источников, можно составить представление об этой грани его личности, однако Светонию как биографу Августа пришлось сосредоточиться на освещении слишком серьезных вопросов, чтобы отвлекаться на такую мелочь, как чувство юмора своего героя. Если он счел необходимым заострить на этом внимание, повествуя о последних днях в жизни Августа, то с вполне определенной целью — показать, что Август, зная, что жить ему осталось считанные дни, ничуть не утратил самообладания.

С Капри его путь лежал в Неаполь, где, как в большинстве городов империи, раз в пять лет устраивали состязания гимнастов, посвященные его выздоровлению после тяжелой болезни 23 года. Он дождался окончания празднеств, после чего, по-прежнему сопровождаемый Тиберием, отбыл в Беневент. Все это время приступы кишечного расстройства нет-нет да и давали о себе знать.

Само собой разумеется, что рассказы о последних неделях его жизни появились на свет уже после того, как он умер, и наверняка действительность в них приукрашена. Август предстает в них счастливым человеком, пребывающим в уверенности, что дело, которому он посвятил свою жизнь, удалось. Александрийцы символизируют восточные провинции, а их восторги должны означать, что все народы, живущие на периферии империи, радуются возможности плавать по ставшим безопасным морям и вести торговлю. Вожде ленный мир, наступление которого он

неоднократно провозглашал, наконец-то явился во всем своем благолепии. Взаимное переодевание римлян в греков, а греков в римлян не случайно происходит в Кампании — на земле, хранящей прочные традиции эллинизма, — и символизирует слияние двух культур, которого, как казалось Августу, ему удалось добиться. Так, в «Энеиде» Юнона соглашается перестать чинить препятствия Энею при условии, что латиняне не откажутся от своего языка и будут одеваться по-своему. Разумеется, в ту пору речь шла о спасении латинской национальной идентичности. При Августе вопрос стоял иначе и упирался в создание единой греко-римской цивилизации, внутри которой царят согласие и благополучие. В свете этого особое значение приобретает тот факт, что восторженные почитатели, встреченные Августом в ПUTEОЛАХ, прибыли из Александрии — города, прежде символизировавшего восточные пороки. Присутствие на состязаниях эфебов свидетельствует о том внимании, которое принцепс уделял греческим образовательным институтам, надеясь использовать их опыт в воспитании римской молодежи. Что касается обеда на Капри, протекающего на фоне величественного пейзажа, то он нужен для того, чтобы показать принцепса в состоянии счастливой умиротворенности и подать пример народам, получившим благодаря ему возможность жить в мире. Таким образом, мы убеждаемся, что до последнего вздоха каждый шаг и каждый жест Августа исполнены глубокого смысла. Во всяком случае, такова мысль, которую старались внушить авторы, повествующие о его последних днях.

В Беневенте Август простился с Тиберием и намеревался вернуться в Неаполь. В пути ему стало плохо, и пришлось сделать остановку в Ноле. На самом деле он прибыл в конечный пункт своего путешествия. На сцене появилась последняя декорация.

Эта декорация, в которой предстояло разыгаться последним сценам спектакля его жизни, спектакля, приковавшего к себе жадные взоры всего мира, оказалась его колыбелью, тем местом, куда уходили его первые, настоящие семейные корни. Его, провинциала скромного рода, сына Октавия, всю жизнь именовавшего своим отцом Юлия Цезаря, судьба привела умирать на то же ложе, где принял смерть Октавий, преподав ему последний важный урок. Это, конечно, было лучше, чем погибнуть под ударами кинжалов. В чем же заключался урок судьбы? В том, чтобы он, забывший о своем настоящем отце при жизни, вспомнил о нем хотя бы на смертном одре? В том, чтобы на пороге смерти окунуть его в ту же скромную обстановку, в которой он родился и приверженность которой пронес через всю свою жизнь? Или в том, чтобы, вернувшись к истокам, он смог по достоинству оценить, на какую невероятную высоту вознесся?

Современников больше всего поразило то обстоятельство, что он умер 19 августа, то есть в тот же день, когда в 43 году до н. э. впервые стал консулом. Иными словами, если пространственное кольцо его жизни замкнулось в отчем доме, то временное кольцо его власти замкнулось в той же точке, откуда начался ее отсчет.

И если в плане биологическом его смерть ничем не отличалась от смерти других людей, то с точки зрения истории она знаменовала собой событие огромной важности, которому уже современники попытались дать достойную оценку. Впрочем, вокруг его кончины сразу же завязалась цепь политических интриг. Существует мнение, что Ливия и Тиберий в течение некоторого времени держали случившееся в тайне, чтобы успеть принять необходимые меры и облегчить переход власти к Тиберию.

Но можно ли было удержать в секрете новость такого значения? Ведь все знали, что принцепс болен, а летом в Кампанию, спасаясь от нездорового городского климата, съезжались все лучшие римские семейства. Близость принцепса и его семьи делала эти поездки особенно привлекательными. Чтобы избавиться от любопытных глаз, Ливии пришлось бы окружить дом плотным кордоном стражников. Именно это, как утверждают Тацит и Дион Кассий^[244], она и сделала под предлогом, что больному нужен покой. Время от времени она вывешивала бюллетени о состоянии его здоровья, в которых говорилось, что ему лучше либо что ухудшения нет. Поэтому родственники и друзья Юлиев, мечтавшие заменить Тиберия на другого наследника, оказались захвачены врасплох. Они узнали о смерти Августа слишком поздно, и переход власти к Тиберию поставил их перед свершившимся фактом.

Между тем, если источники не упоминают никого из членов семьи, кроме Ливии и Тиберия, кто присутствовал у одра умирающего, известно, что его навещали какие-то люди, приезжавшие из Рима. Он расспрашивал их о здоровье дочери Друза Ливиллы, которая из-за болезни не могла покинуть город. На глазах у этих посетителей с ним и случился последний предсмертный приступ. Поэтому его кончина никак не могла остаться тайной, если, конечно, не допустить, что все эти люди действовали заодно с Ливией, которая намеренно скрывала правду, чтобы обеспечить будущее Тиберия. В том, что некоторые близкие друзья Августа согласились участвовать в мистификации, нет ничего невозможного, особенно если они тоже видели в Тиберии лучшего из преемников. Таков случай Германика, который по отношению к Тиберию всегда вел себя предельно честно — несмотря на свою популярность в народе и честолюбие своей жены Агриппины, в конце концов вынужденной смириться с

позицией мужа. Впрочем, и Германик, и Агриппина в то время находились в Германии. Вдова Друза Антония Младшая в вопросе о передаче власти также вполне могла занять сторону Тиберия, поскольку поддерживала с ним самые дружеские отношения. Наконец, ближайšie сподвижники Августа, знакомые с текстом его завещания, наверное, тоже не стали бы возражать против того, чтобы задержать на необходимый срок сообщение о смерти Августа.

Ситуация и в самом деле складывалась сложная: речь шла о будущем установленного Августом режима, аналогов которому история еще не знала. Личную власть человека, завоеванную усилиями этого самого человека, следовало переплавить в устойчивый государственный строй. Наследственный характер власти вовсе не являлся чем-то само собою разумеющимся. В свете этих соображений и роль Ливии представляется нам более понятной. Не исключено, что она заранее обсуждала с Августом, заинтересованным в том, чтобы его дело не прервалось, возможный поворот событий. Ибо в те августовские дни и часы, когда не стало Августа, решался вопрос не о том, станет ли Тиберий владыкой империи. Решался вопрос о создании принципата.

Часть шестая
ЯКОРЬ И ДЕЛЬФИН. ИТОГИ
ПРАВЛЕНИЯ

Полномочия Августа

Создание принципата означало, во-первых, упрочение положения, которое до сих пор считалось временным (хотя таковым и не являлось), и во-вторых, передачу другому лицу полномочий, до этого признаваемых исключительной прерогативой Августа. Между тем эти полномочия он получил не сразу, а завоевывал их постепенно, в результате конкретных и тщательно продуманных действий. Август действительно совершил революцию, но ее плоды не могли созреть до его смерти. Самый яркий парадокс его жизни заключался, может быть, в том, что ему не дано было оценить весь успех своего предприятия. Ливия, олицетворявшая память о его правлении, и Тиберий, в котором воплотилось его будущее, не могли ошибиться в анализе ситуации. Судя по всему, в эти душные августовские дни 14 года они занимались тем, что снова и снова припоминали события минувших лет, оценивали масштаб власти, оставленной им Августом, по косточкам разбирали все этапы его восхождения к вершине и тонкости проводимой им политики. Тем же самым попытаемся заняться и мы и начнем с того момента, когда Август впервые получил в руки реальную власть.

7 января 43 года Цезарь Октавиан добился своего первого империя, то есть в качестве высшего магистрата обрел право формировать армию, вести военные кампании и взимать налоги на ведение войны. В интересах соблюдения дисциплины империй подразумевал также право карать непокорных смертной казнью. Только обладатель этих полномочий мог после убедительной победы рассчитывать на звание императора, открывавшее дорогу к триумфу. Свой первый триумф Цезарь Октавиан отпраздновал 16

апреля 43 года. Мы помним, что впоследствии он оставил за собой это звание, слившееся с его собственным именем, в результате чего новейшие историки стали привычно называть его «императором», а установленный им государственный строй — «империей». Однако и сам Август, и его современники, и его преемники никогда не называли свое государство иначе чем принципатом.

Одного этого расхождения в терминологии достаточно, чтобы вскрыть сущность власти Августа. Она родилась в результате войны и в дальнейшем носила по преимуществу военный характер. Ее существование целиком зависело от военных побед, в частности от победы при Акциуме, хотя Август и старался затушевать этот аспект, подведя под свое могущество гражданский фундамент.

В том же самом 43 году он вместе со своим родственником Квинтом Педием был избран консулом, сменив на этой должности обоих консулов, погибших в битве при Мутине. Консулы обладали не только империей, но и гражданской властью, например, правом созывать народное собрание и председательствовать на нем или правом законодательной инициативы.

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев 43 года Цезарь Октавиан, пока он занимал должность консула, располагал вполне законной властью, распространявшейся как на армию, так и на гражданское население. Затем, с 43 по 32 год, в качестве триумвира он стал обладателем почти всех полномочий, прежде принадлежавших высшим магистратам, — вначале захватив их силой, но вскоре легализовав. В правление триумvirата политическая жизнь, казалось бы, вошла в нормальное русло. Ежегодно избирались два консула. Но постепенно утвердилось правило назначать им в помощь коллег,

именуемых «консулами-суффектами». Цезарь Октавиан был избран консулом в 33 году.

В этот же период к власти, которой он обладал в качестве триумвира, в 36 году добавилась неприкосновенность плебейского трибуна. Трибунская неприкосновенность означала, что всякий, кто осмелится поднять руку на трибуна, должен быть проклят людьми и богами.

До сих пор все кажется ясным или почти ясным. Сложности начинаются в момент разрыва с Антонием, положившего конец прежним договоренностям, достигнутым в рамках триумvirата. В 31 году Цезарь Октавиан в третий раз стал консулом. Именно в качестве консула он повел войну против Антония, но к его легальным полномочиям в это время добавились некоторые новые преимущества, к законности которых можно относиться по-разному: вес его имени; клятва верности, которую принесла ему вся Италия; сила его армии и финансовое могущество.

Несмотря на все эти «довески», в рядах ветеранов зрело недовольство. Август понимал, что ему необходимо упрочить свою власть, и в 30 году добился того же права, каким пользовались плебейские трибуны: прийти на помощь любому гражданину, если ему угрожает опасность. Тем самым он сделал новый шаг к трибунской власти, о которой давно мечтал, но которую сенат пока не был готов ему предоставить. После январских дней 27 года помимо имени Августа, звания принцепса и империя, дающего право распоряжаться войсками, стоящими в провинциях, он получил и консульство» которое удерживал до 23 года.

В 23 году, сложив с себя звание консула, он наконец-то стал обладателем всех трибунских полномочий. Это давало ему право созывать и вести не только народное собрание, но и сенат, а главное — парализовать действия любого другого магистрата, либо душа их в

зародыше, либо пользуясь правом кассации. Власть трибуна вообще не имела ограничений, кроме самой власти трибуна. Это значит, что противодействовать решениям, принятым трибуном, мог только другой трибун. Но Август, входивший в число патрициев, формально не имел права занимать должности, предназначенные для плебеев. Из этого обстоятельства он сумел извлечь максимум пользы. В его положении он становился недостижимым для любого трибуна. Тацит, убежденный, что именно этот шаг лег в основу всемогущества Августа, пишет по этому поводу («Анналы», III, 56, 2):

«Это была находка Августа, который, не желая именоваться ни царем, ни диктатором, стремился подчинить себе все прочие властные институты под прикрытием любого удобного звания».

Это действительно так. И Август, и его преемники всегда правили под знаком трибунских полномочий. Завладев этими полномочиями, Август выхолостил содержание магистратуры, именем которой прикрывался. То же самое он проделал с империем проконсулов, завладев им навечно и в масштабах всего государства, хотя сам никогда проконсулом не был.

Мы скорее поймем глубинные устремления Августа, если вспомним, что уже в следующем, 22 году он отказался от предложенной ему диктатуры и прижизненного звания консула. Отвергая диктатуру, он разыграл очередную театральную сцену, которыми иногда позволял себе развлечься: «Он упал на колени, спустил с плеч тогу и, обнажив грудь, умолял Народ его от этого избавить» (Светоний, LII). Его отказ обретал тем большее политическое значение, что в это время в Риме свирепствовали эпидемия и голод, и в народе укрепилось мнение, что эти несчастья обрушились на город только потому, что впервые за много лет должность консула занимал не Август. Народ, таким

образом, сделал попытку наделить его вечной властью, руководствуясь суеверием^[245]. Отвергнуть это предложение значило разрушить магическую связь, которая объединяла его лично, управление государством и спасение города. Но Август не хотел, чтобы эта власть досталась ему из рук Народа.

В течение следующих нескольких лет он три раза подряд отклонил предложение занять должность цензора. В «Деяниях» (VI) он комментирует это так:

«В консульство Марка Винуция и Квинта Лукреция (19 г. до н. э.), в консульство Публия и Гнея Лентулов (18 г. до н. э.), наконец, в консульство Павла Фабия Максима и Квинта Туберона (11 г. до н. э.) вопреки единодушному решению сената и Народа наделить меня самыми широкими полномочиями, чтобы я единолично отвечал за надзор над нравственностью и законностью, я не захотел принять эту магистратуру в нарушение традиции предков. Действия, которых ждал от меня сенат, я предпринял исходя из моей власти трибуна».

Подобная щепетильность не может не удивить в человеке, на протяжении долгих лет привыкшем манипулировать государственными институтами, созданными предками, и откровенно попирает основополагающие законы прежней республики, согласно которым смена высших магистратов происходила ежегодно, а повторное избрание допускалось лишь при соблюдении ряда строгих условий. И разве не цинизмом выглядит его отказ от цензуры на фоне согласия, данного в том же 19 году, принять пожизненный консульский империй? Но он действительно не нуждался в новой должности, потому что отнюдь не ставил своей целью собрать «коллекцию» титулов и званий. Подобно тому, как он не терпел пустого многословия в речи, не выносил он и лишних титулов. Он согласился взять на себя ответственность за снабжение Рима продовольствием, но отказался от

пожизненной цензуры, предпочитая ограничиться участием в отдельных мероприятиях, например в проведении переписи населения.

Таким образом, мощь принципата покоилась на трех столпах, унаследованных от республики: всемогуществе трибуна, империи и авторитете. Разница заключалась в том, что все эти полномочия впервые оказались сосредоточены в руках одного человека.

Принцепс как личность

Вместе с тем очевидно, что одним из средств укрепления своего авторитета Август избрал умелую игру на сочетании вещей на первый взгляд взаимоисключающих. О нем никогда нельзя было с уверенностью сказать, где его истинное лицо, а где маска, когда он проявлял свою подлинную сущность, а когда действовал в рамках образа. Одним словом, когда он действительно был собой, а когда только казался собой. Выбор нужной линии поведения всегда диктовался конъюнктурой, и для его преемника главная трудность заключалась в том, чтобы продолжить его игру, постепенно освобождаясь от навязанных этой игрой правил. Наследнику Августа приходилось делать вид, что он по-прежнему только первый из равных, в то же время сознавая, что это первенство досталось ему отнюдь не в результате одних лишь его личных заслуг, а благодаря завещанию Августа. Правда, сам факт, что именно его Август избрал своим наследником, свидетельствовал и о его личных заслугах, и о благосклонности к нему судьбы. Очевидно, Ливия, лучше кого бы то ни было понимавшая своего мужа и лучше других, хотя и далеко не всегда, способная разобраться, когда он играл комедию, а когда проявлял свой истинный характер, старалась обучить Тиберия этой сложной игре и помочь ему в сложившейся беспрецедентной ситуации избрать единственно верную линию поведения.

Август и в самом деле в совершенстве владел искусством казаться «прозрачным», оставаясь непроницаемым. Он всегда был здесь, рядом, но в то же время был недосягаем. В Риме он, как и большая часть его семьи, жил на Палатине. Ядро, сложившееся в 40–39

годы и представлявшее собой его первоначальное жилище, постепенно обросло другими домами, приобретенными после побед при Навлохе и Акциуме. Каждый из этих домов соединялся с остальными, так что ни о какой уединенности его обитателям не приходилось и мечтать. Кроме принцепса с супругой здесь жило множество детей — не только внуки Августа Гай и Луций, навсегда переселившиеся к деду, но и, например, дети покоренных царей, которых отправляли в Рим в качестве заложников. Дети вырастали, но им на смену приходили другие — так, после изгнания обеих Юлий их дети тоже перебрались в дом Августа. Как и во всяком большом доме, здесь трудилась целая армия слуг-рабов, каждый из которых занимался своим делом: одни убирали комнаты, другие следили за бельем, третьи за посудой, четвертые готовили пищу, пятые обслуживали бани и так далее. Кроме слуг в доме жили и представители более благородных профессий: наставники молодых принцепсов, чтецы и чтницы, личные писцы Августа и Ливии. Если вспомнить, что в античности внутреннее пространство домов вовсе не отличалось большими размерами, легко себе представить, какая здесь с утра до ночи творилась толкотня.

Часть дома, открытая для публики, вообще никогда не пустовала. С раннего утра к Августу шли многочисленные посетители, спешившие засвидетельствовать ему свое почтение. Здесь же он принимал советников и друзей, здесь же беседовал с вольноотпущенниками, выполнявшими его поручения, и заслушивал их отчеты. Коротко говоря, за отказ открыто признать свое всемогущество и переселиться в дом, соответствующий масштабу его власти, Август расплачивался житейскими неудобствами и теснотой.

Многие из его приближенных устраивались с несравненно большим комфортом. Например, Меценат,

владевший огромным домом на Эсквiline, — кстати сказать, к нему Август перебирался, когда болел. Поместье одного из советников последних лет принципата Саллюстия, расположенное на Пинционе, считалось едва ли не самым богатым в Риме. Оно досталось ему в наследство от историка Саллюстия, известного защитника традиционных римских ценностей, который приобрел его на средства, награбленные в пору службы в Африке.

Агриппе и Юлии принадлежал дом, расположенный на правом берегу Тибра. Нам этот дом хорошо известен под именем виллы Фарнезе, основой для которой он и послужил. До наших дней сохранились фрагменты живописи и великолепной фактуры орнаментов из искусственного мрамора, имеющие огромную ценность для истории древнеримского искусства^[246]. Возможно, дом построил Агриппа, в качестве свадебного подарка преподнесший его Марцеллу и Юлии, а после смерти молодого человека получивший назад^[247].

Эта вилла позволяет нам составить представление об обитавшей здесь супружеской паре как людях образованных, с тонким вкусом и максимально приближенных к верховной власти. В отличие от традиционных римских домов вилла имела не замкнутую конструкцию, а выходила в сад, по отлогому склону спускавшийся к Тибру. Потолки четырех из комнат виллы украшали росписи. Две картины изображали посвящение в мистерии Диониса, другие — пейзажи с фигурами людей и животных или мифологические сцены, например разговор Солнца с Фаэтоном, выпрашивающим разрешения прокатиться в солнечной колеснице. Но одной из картин виден бог Гермес, у египтян именовавшийся Тотом — проводник душ в царство мертвых. Его лицо кажется точной копией портрета Августа. В целом внутренний декор помещений, очевидно, производил впечатление

святилища, одухотворенного как традиционной римской религией с ее Юпитером, Аполлоном, Меркурием и Церерой, так и мистицизмом восточных обрядов. Это яркий пример стремления Августа добиться слияния римской традиции с чувственным восточным мировосприятием.

В духе этой гармонии была выдержана и стенная живопись. Пространство между легкими колоннами заполняли картины, изображающие то выступающую на перламутровом фоне фигуру Венеры, подставившей голову причесывающей ее рабыне, и внимательно наблюдающего за сценой Эрота, то, на зеленовато-голубом фоне, юного Дионисия в окружении ласковых нимф, то, на черном фоне, ярко-зеленые листовые гирлянды. На одной из стен оставил свою подпись художник — грек по имени Селевк. Отдадим ему должное: и картины, и орнаменты, выполненные его рукой, несут печать таланта. Они позволяют предположить, что люди, жившие в этих стенах, любили роскошь и отличались тонким вкусом.

Август, сам равнодушный к роскоши, вовсе не отказывал другим в праве на эту слабость, разумеется, при условии соблюдения определенных границ. Мы не думаем, что его собственная скромность в быту диктовалась исключительно необходимостью соответствовать раз и навсегда избранному образу. Привычка к простому образу жизни укоренилась в нем с детства, лишней раз заставляя нас убедиться, что многие из его поступков, как, впрочем, и поступков прочих его современников, объяснялись происхождением, и в этих случаях за маской иногда начинали проступать черты его истинного лица. Действительно, покончив с гражданскими войнами, став обладателем почти ничем не ограниченной власти, он, казалось, мог себе позволить проявить подлинные черты своего характера. И тут оказалось, что они как нельзя

лучше соответствуют его сущности политика. Возьмем, к примеру, его литературные вкусы. Это область, в которой притворство бессмысленно, поэтому по литературным пристрастиям человека легче всего составить представление о неизменных свойствах его натуры. И здесь Август оставался верен себе, превыше всего ценя в изящной словесности меру и упорядоченность. Тиберий, отличавшийся совсем другими вкусами, не мог сразу решить, стоит ли ему их отстаивать или разумнее копировать Августа даже в этом.

Литературные вкусы

Как и все представители высшего римского общества, Август получил прекрасное образование. В те времена образование отнюдь не ограничивалось изучением риторики и литературы, но и предполагало активное участие в творчестве. Мы уже показали, что во время осады Мутины он в часы досуга упражнялся в красноречии, в Тарраконе слушал уроки Гавия Силона, вместе с Агриппой и Меценатом посещал школу Латрона. Он не чуждался сочинительства и, по обычаю того времени, нередко выступал со своими творениями перед друзьями. Подобные чтения, проходившие в богатых домах или в особых залах декламации, получили тогда широкое распространение.

Как и большинство государственных деятелей той эпохи, он начал писать «Мемуары», посвященные Меценату и Агриппе, но из-за нехватки времени не смог довести задуманное до конца и остановился на тринадцатом свитке, повествующем о войне против кантабров.

Написал он также и «Побуждение к философии», по всей видимости, выдержанное в духе стоицизма, и «Ответ Бруту по поводу Катона», в котором в соответствии с канонами литературной полемики подверг критике восторженные отзывы о Катоне Утическом, после смерти превращенном в символ республиканской свободы. Благодаря Светонию известно, что значительную часть «Ответа...» он читал близким уже в преклонном возрасте, поскольку, быстро утомившись, попросил Тиберия продолжить чтение вместо него. Но замысел этого сочинения наверняка созрел у него намного раньше, потому что прославление

Брутом Катона имело актуальное значение в пору установления нового режима.

Пробовал он себя и в поэзии. Одной из таких попыток стало сочинение трагедии о гомеровском герое Аяксе, покончившем с собой, бросившись на меч. Но работа шла туго, и в конце концов автор собственноручно уничтожил незадавшееся произведение, стерев написанное губкой. Когда друзья интересовались, что поделявает его Аякс, он с остроумием отвечал им, что он погиб, бросившись на губку. Зато он благополучно завершил работу над короткой поэмой о Сицилии. Наконец, в минуты досуга, например, отдыхая в ванне, он любил сочинять эпиграммы, по меньшей мере одна из которых дошла до наших дней.

В том возрасте, когда римские юноши отправлялись в Грецию заканчивать образование, Август с головой ушел в строительство политической карьеры. В результате свободного владения греческим языком он так и не достиг, и, если ему случалось выступать с речью по-гречески, всегда просил помощников подготовить для него перевод. Вместе с тем греческую литературу, особенно греческую поэзию, он знал хорошо, что позволяло ему в соответствии с принятым тогда обычаем расцвечивать свои письма греческими словечками, фразами или целыми цитатами из греческих авторов.

Он, бесспорно, был человеком общительным и не лишенным чувства юмора. О том, что он использовал это свое качество даже в разговорах с простолюдинами, свидетельствует следующий анекдот. Однажды во время публичного заседания к нему обратился с жалобой некий плебей-ходатай, страшно смущенный. Подсмеиваясь над неуклюжими заходами просителя, Август, обращаясь к нему, сказал: «Ты подаешь мне просьбу, словно грош слону» (Светоний, LIII, 5).

С друзьями и близкими он охотно вступал в споры на литературные темы и часто подшучивал над Меценатом, называя писания последнего «напомаженными завитушками». Иногда он даже принимался пародировать его стиль, начиная свое письмо Меценату с целого букета пышных обращений, одно изысканнее другого: «Привет тебе, о мед нации, этрусская слоновая кость, благовония Арезона, адриатический алмаз, жемчужина Тибра!^[248]» Из этого мы можем сделать вывод, что Меценат питал особое пристрастие к выпренным выражениям, редким словечкам и их причудливым сочетаниям. Точно так же вышучивал Август и Тиберия, склонного без меры употреблять устаревшие слова и всякие туманные выражения.

В разговорах и семейной переписке он часто употреблял свои излюбленные словечки. О должниках, тянущих с выплатой долга, он говорил, что они «не станут платить до греческих календ». Поскольку в греческом календаре календ — чисто римского изобретения — не существовало, выражение означало «никогда». О каком-то деле, законченном очень быстро, он говорил: «Сделали быстрее, чем сварилась спаржа». Светоний, благодаря которому нам известны эти подробности, приводит и другие образные выражения, в интерпретации Августа звучавшие по-своему. Так, вместо общеупотребительного «*maie se habere*», что значило «плохо себя чувствовать», он предпочитал говорить «*vapide se habere*», что можно перевести приблизительно как «упариться». Вместо распространенного глагола «*languere*», означавшего «быть вялым» и происходившего от слова «овощ» (то есть чувствовать себя овощем), он употреблял «*betizare*» — «чувствовать себя свеклой»...

Порой он прибегал к сравнениям, заимствованным из повседневной жизни. Заядлый рыболов, он уподоблял азартных людей тем, кто удит рыбу на золотой крючок:

сорвись крючок — никакой улов не возместит потери (Светоний, XXV, 6).

Об орфографии у него имелись собственные представления, заставлявшие его писать вопреки всяким правилам, почти фонетически, то есть так, как слышится. Обычно так писали простолюдины, таков же, кстати сказать, стиль многих сохранившихся надписей. Но иногда он сознательно настаивал на собственном написании, уверяя, что оно благозвучнее и потому правильнее. Так, внуку Гаю он высказал претензию по поводу употребления слова «calidus» вместо «caldus» («горячий»): «не потому, что первая форма не латинская, а потому, что она неблагозвучна и нарочита»^[249]. Справедливости ради отметим, что наиболее распространенным вариантом произношения был как раз второй.

Писал он очень быстро и при письме, как это свойственно многим людям, часто пропускал буквы и даже целые слоги, так что в результате получалась невнятица. При письме он не делал пробелов между словами, а если для начатого слова не хватало места, дописывал его снизу и обводил все слово чертой.

Между непосредственностью Августа в его общении с людьми и торжественной сдержанностью стиля «Деяний» лежит пропасть, что вполне естественно. Такая же пропасть разделяла в нем обычного живого человека и принцепса. Пожалуй, единственной чертой, равно характерной и для того и для другого, оставалась любовь к ясности, которой он требовал и от окружающих. Благодаря внимательному к деталям Светонию мы можем составить себе представление об Августе как о довольно заурядном, рискнем даже сказать, простоватом человеке. Тем легче нам вообразить, что он должен был чувствовать, постоянно играя перед окружающими роль. Простота вкусов с головой выдает в нем человека отнюдь не

аристократического, а, как сказали бы сегодня, буржуазного происхождения. Ничего удивительного, такими же простыми вкусами отличались и его провинциальные предки. Разумеется, при условии, что его пресловутая простота не была всего лишь очередной маской.

Стремление к примату ясности роднило его со школой аттицистов, к которой принадлежал, например, Брут, но не принадлежал Цицерон. Обратную тенденцию выражали так называемые азианисты, яростным приверженцем которых считался Антоний. Первые защищали строгий, доходящий до сухости стиль речи, почти не допускающий эффектных приемов и обращенный прежде всего к разуму читателя или слушателя. Вторые любили словесное изобилие, фигуральные выражения, причудливые украшения и старались воздействовать не столько на разум аудитории, сколько на ее чувства. Только Цицерону удалось найти между двумя этими крайностями третий путь, но по этому пути он шел практически в одиночестве. Что касается Цезаря Октавиана, то и ему случалось подобно азианистам сыграть на чувствах толпы — например, когда он поклялся народному собранию отомстить за отца, когда во время беспорядков в городе он просил нападающих о милости, когда, наконец, он умолял народ не навязывать ему роль диктатора. Но все эти эпизоды, без сомнения, разыгрывались как театральная мизансцена, тогда как по природной склонности он всегда тяготел к строгому стилю.

Даже его орфография находилась в согласии с его вкусами и проводимой им политикой. Он никогда не стремился изображать из себя высокопоставленного интеллектуала, никогда не проявлял снобизма. Его мнение о знати, наверное, дословно совпало бы с принадлежащим Лабрюйеру отзывом об аристократах

его времени: «Они презирают народ, но они сами — народ».

То же самое относится и к его литературным пристрастиям. Он, конечно, в гораздо большей степени был читателем, чем писателем, и любил красивую поэзию, каноны которой определил Гораций в «Поэтическом искусстве». Но кроме красоты и удовольствия он искал в книгах полезные советы и поучительные примеры, которые годились как в частной жизни, так и в политике. Особенно понравившиеся стихи он отдавал в переписку, а затем посылал родственникам, командующим войсками, наместникам провинций или высшим чиновникам, служившим в Риме, тем самым давая им конкретный совет.

Именно в книгах он нашел свои любимые изречения: «Спеши не торопясь» (*Festina lente*), «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрее», «Осторожный полководец лучше безрассудного». Последнее высказывание принадлежит Еврипиду («Финикиянки», 612).

Что касается первого изречения, то его вспоминает и Авл Геллий, проводя параллель с рассуждением пифагорейца Нигидия Фигула о наречии «*mature*» («своевременно»; буквальное значение латинского слова — «когда созреет»): «Этим словом называют действие, которое производят ни слишком рано, ни слишком поздно; оно подразумевает золотую середину и меру». Далее он добавляет: «Золотую середину, определенную Нигидием Фигулом, Август умел точно и емко выразить с помощью всего двух греческих слов. Тем самым он советовал приступать к каждому действию с поспешным усердием и неторопливой осторожностью»^[250].

Эта же поговорка появляется и в «Сне Полифила» Ф. Колонны, где ее смысл передают два иероглифа, обозначающих дельфина — символ скорости — и якорь — символ неторопливости. Этот образ получил

толкование в трудах Эразма Роттердамского и Франсуа Рабле^[251], а венецианский издатель и типограф Альд Мануций использовал оба иероглифа как логотип своего издательства.

Все это приводит к мысли, что внутренне противоречивый императив — спешить не торопясь — на самом деле вовсе не так банален и не так искусственен, как это может показаться на первый взгляд. Если вдуматься, в нем находит символическое выражение и судьба Августа, и весь стиль его жизни, и, что вероятно, его характер, и самый дух его власти. Краткость изречения, подчеркивающая совместимость двух взаимоисключающих понятий, в результате которой смысл его постигается не вдруг, но требует умственного усилия, идеально отвечала не только откровенной приверженности Августа к экономии, но и его менее бросающемуся в глаза стремлению проникать в самую глубь вещей и явлений. Но это стремление чаще всего и выливается в предельную упрощенность мысли, ту самую мудрую посредственность, блеск которой сводится к красоте формы.

В том же самом сочинении Авл Геллий, размышляя над наречием «*praemature*» (преждевременно), по смыслу обратным наречию «своевременно», цитирует стих комического поэта Афрания: «Безумец, ты слишком спешишь к преждевременной власти». Август наверняка слышал это изречение и, может быть, примеривал его к собственной судьбе. Достаточно вспомнить, с какой осторожностью он делал первые шаги к завоеванию власти и с каким терпением преодолевал каждую ведущую к ней ступеньку.

Нельзя завершить анализ литературных пристрастий Августа, не упомянув о том, что и в этой сфере он демонстрировал склонность навязать свои вкусы другим. Меценату, Тиберию, Гаю, Агриппине и его внукам часто приходилось выслушивать от него

критические замечания. Казалось, он хранил убеждение, что даже в такой личной, чтобы не сказать интимной области, как литературный вкус, никто не имеет права на самовыражение. Человек предельно политизированного сознания, он во всем искал всеобщего согласия — при условии, что это будет согласие с его личными вкусами и пристрастиями.

Наверное, такое беззастенчивое давление, нередко обретавшее вид мелочных придирок, не доставляло особой радости получателям его записок, которые достигали их всюду — в домашнем кругу, в далекой провинции, в солдатском биваке. Считая себя вправе с настойчивой любезностью диктовать каждому образ мыслей, Август вместе с тем надеялся, что лучшие писатели и поэты станут посвящать ему свои произведения. Он донимал Вергилия требованиями показать ему готовые куски «Энеиды», он сурово укорял Горация, который посвящал свои поэмы друзьям, но забыл о нем, Августе, владыке империи! Впрочем, ничего необычного в этом нет. История знает немало примеров, когда крупного государственного деятеля, особенно основателя нового строя, обуревают неумное желание ощутить себя великим писателем, единственно способным прославить свои подвиги. Наверное, ему хотелось бы, чтобы, перефразируя выражение античного историка, о нем сказали: «Август был великим человеком, достойным бессмертия, и, чтобы воспеть его, понадобился бы еще один Август»^[252].

Что такое добрый принцепс?

Вместе с тем он не раз доказал, что способен на настоящую дружбу и верность. Он не забывал оказанных ему услуг и легко прощал друзьям их слабости, а то и пороки. Действительно сурово он наказал лишь двоих из них — Сальвидиена Руфа и Гая Корнелия Галла. Последний был провинциалом, некоторое время прослужившим в армии Антония, но затем примкнувшим к Цезарю Октавиану, под покровительством которого сделал политическую и военную карьеру. Он оставил свой след в истории литературы, первым воспев в элегической форме радости и муки, которые дарил ему возлюбленная^[253]. Сочинители элегий долгое время считали его образцом для подражания. Он поддерживал дружеские отношения с Вергилием, который посвятил ему последнюю «Буколику» и последнюю книгу «Георгик». С точки зрения происхождения, культуры и образа действий Галл являл собой яркого представителя нового общества, начавшего складываться вокруг Августа.

Принцепс сделал его первым префектом Египта, низведенного до статуса провинции. То ли Галл не справился с обязанностями, налагаемыми высоким постом, то ли слишком много возомнил о себе, то ли оказался повинен в обоих грехах одновременно, но факт остается фактом: вскоре его сместили с должности, запретив жить на территории провинций императора^[254]. Возможно, именно тогда он попытался организовать заговор, потерпел неудачу, и в 26 году сенат приговорил его к смертной казни. Он предпочел покончить самоубийством. Август поблагодарил сенаторов за непримиримость к предателю, но горько оплакал смерть Галла, сетуя, что «ему одному в его доле

нельзя даже сердиться на друзей сколько хочется» (Светоний, LXVI), Понимая, что сенаторы, скорее всего, действовали по указке самого Августа, мы, разумеется, вправе подвергнуть сомнению искренность его слез, но не будем забывать, что Августа окружали философы, постоянно твердившие ему о необходимости уметь сдерживать свой гнев. Во всяком случае, его слова гораздо больше подходят «доброму царю», нежели тирану. В них он как будто признает, что даже в отношениях с близкими друзьями вынужден повиноваться не чувствам, а долгу.

Август и в самом деле ни в коем случае не хотел прослыть тираном. Он всегда с ужасом отмахивался от звания «государя», считая его для себя оскорбительным. Однажды, когда во время представления мимический актер произнес со сцены: «О добрый, справедливый государь!», а зрители, слыша эти слова, повернулись в его сторону и разразились шквалом рукоплесканий, он движением и взглядом тут же заставил их умерить свои восторги, дав понять, что считает столь неприкрытую лесть непристойной. Мало того, на следующий же день он выразил порицание зрителям в суровом эдикте. Детям и внукам он даже в шутку запрещал называть его господином; не разрешал и им обращаться друг к другу подобным образом. В своих поступках он избегал всего, что могло бы дать повод заподозрить его в «господстве» над кем-либо.

По этой же причине он не позволял сенаторам являться с приветствиями к нему домой, но сам ходил в сенат. Покидая заседание, он никого не заставлял подниматься с места. Путешествуя, он всегда старался появляться в том или ином городе и уезжать из него ночью, чтобы не собирать вокруг себя толп народа.

Смерть Галла еще и потому расстроила Августа до слез, что он сознавал неотвратимость наказаний, которым вынужден подвергать провинившихся друзей.

Преданный и щедрый друг, он и от друзей ждал к себе такого же отношения. Предательство Галла, как прежде предательство Руфа, казалось ему немыслимым нарушением некоего пакта о дружбе, условия которого сам он неукоснительно соблюдал. Точно так же он не скрывал огорчения, если кто-то из друзей упускал возможность выразить ему свою горячую привязанность в завещании. Так среди близких к Августу людей постепенно сложился обычай включать его в число своих наследников, и хотя завещанная принцепсу доля состояния иногда бывала значительной, интересовали его, конечно, не деньги и не имущество, а выражение благодарности и теплых чувств. Поэтому, если у завещателя оставались родственники, он передавал им свою долю наследства. Малолетним сыновьям умершего друга он возвращал завещанное ему добро в тот день, когда они надевали мужскую тогу, или в день, когда они вступали в брак, и еще добавлял что-нибудь от себя (Светоний, LXVI, 8–9).

Маску милосердия и дружелюбия он носил с завидным постоянством, объясняемым, очевидно, как политической необходимостью, так и глубоким равнодушием к чужому злословию. Вот какую историю приводит Светоний (LI, 3):

«Однажды на следствии, когда Эмилиану Элиану из Кордубы в числе прочих провинностей едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы об Августе, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу Элиану, что и у меня есть язык: ведь я могу наговорить о нем еще больше».

С рабами и вольноотпущенниками он всегда поступал по справедливости, иными словами, не переходил рубежей строгости, установленных обычаем. В качестве примера Светоний вспоминает случай с двумя вольноотпущенниками Августа (LXVII). Одного из них, по имени Пол, замеченного в любовных связях с

матронами, он покарал смертью, хотя очень любил его. Второй, которого звали Талл, служил у него писцом и однажды за взятку выболтал содержание его письма. Он также заслуживал смерти, но Август ограничился тем, что велел переломать ему ноги. Когда после смерти Гая его наставник и слуги, забыв всякий стыд, начали обирать провинцию, Август приказал швырнуть их в реку с грузом на шее.

И в светской жизни Август неизменно демонстрировал те же качества: сдержанность, любезность, простоту в обращении. Он часто давал обеды, на которых приглашенные рассаживались согласно «табели о рангах». Сам он частенько опаздывал к трапезе или покидал ее первым, однако настаивал, чтобы никто из-за этого не беспокоился. Когда он чувствовал, что из-за робости гостей разговор за столом не клеится, умело оживлял беседу (Светоний, LXXIV). Пожалуй, он сознавал, что и его, и его сотрапезников вечно подстерегает ловушка, определение которой в лучших традициях придворного этикета оставил античный ритор: «Тем, кто смеет говорить перед тобой, не дано постичь твоего величия, тем, кто не смеет, — твоей доброты»^[255]. С краткостью, свойственной новой школе риторики, это высказывание противопоставляет земное величие и величие доброты, одновременно осуждая и тех, кто предпочитает хранить перед лицом принцепса молчание, и тех, кто осмеливается говорить с ним, не скрывая подобострастия — но разве с принцепсом говорят иначе, чем с подобострастием?

Он поощрял эту робость в окружающих, когда находил, что она продиктована сознанием его превосходства над остальным человеческим родом, и осуждал ее, когда она мешала ему общаться с людьми. Стараясь оживить свои обеды, он часто приглашал для развлечения гостей музыкантов, актеров, плясунов из

цирка или шутов. Эти развлечения, носившие общедоступный, чтобы не сказать простонародный характер, казалось бы, хотя бы временно ставили его на одну доску со своими приглашенными. Впрочем, поскольку выбор «дивертисмента» всегда принадлежал хозяину, нам трудно судить, насколько искренне восхищались предложенным зрелищем гости.

Порой он испытывал их выдержку, заставляя участвовать в разных сумасбродных затеях. Так, иногда ему вдруг приходило в голову устроить за столом распродажу. Он приказывал принести тщательно запакованные свертки с неизвестным содержимым или картины, повернутые лицевой стороной к стене. Каждого гостя он заставлял купить такого «кота в мешке» и от души веселился, когда видел, как радуется тот, кто задешево приобрел ценную вещь, и огорчается тот, кому за большие деньги досталась сущая ерунда.

В праздники он преподносил близким дорогие подарки — золотые или серебряные изделия, старинные монеты, но иногда мог «пошутить», одарив родственника солдатским одеялом или губкой (Светоний, LXXV). Разумеется, подобные розыгрыши, в основе своей циничные, преследовали одну цель — дать ему ощутить свое превосходство над окружающими. Нацепив маску добродушного шутника, на самом деле он жаждал выступить в роли провидения, провоцируя друзей и близких на низкие чувства и поступки. Тем же самым увлеченно занимался Людовик XIV, когда устраивал у себя в Марли розыгрыш вещевой лотереи.

Отметим, что Светоний никак не комментирует эти эпизоды, очевидно, считая их нормальным времяпрепровождением славного, в сущности, и вполне компанейского человека, каким был Август. Но не зря говорят: в тихом омуте черти водятся. В сенате, например, он демонстрировал предельную терпимость и соглашался выслушивать критику по своему адресу. Кто-

то из сенаторов во время его речи позволил себе сказать: «Не понимаю!» Другой заявил: «Я бы возразил тебе, если б ты дал мне такую возможность!» Но стоило спорам затянуться, он просто-напросто покидал курию, отнюдь не пряча раздражения и оставляя сенаторов сколь угодно долго кричать ему вслед, что и они имеют право обсуждать государственные дела (Светоний, LIV).

Он не часто давал выход своей злости, но испытывал ее, мы думаем, постоянно. И причина его недовольства могла быть только одна — общество противилось его всевластию. Это обстоятельство обязаны были учитывать Ливия и Тиберий.

Высшее общество

Это общество, сложившееся за долгие годы правления Августа, устроилось жить в комфорте и спокойствии. В силу обстоятельств оно отличалось большой пестротой и включало как представителей старых фамилий, олицетворявших, порой уже не столько лично, сколько именами, республиканскую историю Рима, так и новых людей, пробившихся наверх и обогатившихся благодаря преданности Августу. Оно состояло как из людей пожилых, принимавших непосредственное участие в гражданских войнах и помнивших, как именно Август стал тем, кем он стал, так и из молодежи, родившейся, когда войны уже отполыхали, а потому с трудом переносившей стариков, погрязших в воспоминаниях о своих былых подвигах.

Среди тех, кто хорошо помнил старый режим, заметной фигурой был Азиний Поллион. Он дружил с Цезарем, пять лет служил у Антония, к которому относился с искренней симпатией, но затем примкнул к Цезарю Октавиану, надеясь, что тот восстановит дорогую его сердцу республику. В бытность свою проконсулом Цизальпинской Галлии он познакомился с Вергилием и понял, что перед ним большой талант. Впоследствии, когда ему стало ясно, куда метит Цезарь Октавиан, он отдалился от него. Он прожил до глубокой старости и успел написать «Мемуары», в изложении событий недавнего прошлого разительно отличавшиеся от сочинений самого Августа и Агриппы.

Он был на 13 лет старше Августа и в свое время отличился в иллирийских походах. За счет военной добычи он основал первую публичную библиотеку, осуществив то, чего не успел мечтавший об этом Юлий Цезарь. Кроме воспоминаний он писал трагедии и стихи,

выдержанные в духе эллинистической традиции. Он же первым ввел обычай читать вслух свои творения избранному кругу друзей, вероятно, не подозревая, что его изобретение переживет века. Эти читки, по-латински именуемые *recitationes*, вскоре стали одним из излюбленных занятий высшего римского общества.

Благодаря этому республиканцу интеллектуальная жизнь римлян претерпела немалые изменения. С одной стороны, он внес неоценимый вклад в появление того, что сегодня мы называем литературой, подразумевая под этим не занятия сочинительством от случая к случаю, ради развлечения или отдыха от политики, а целенаправленную, всепоглощающую деятельность. С другой стороны, он же завел в образованных римских кругах моду на упорный литературный труд, что вызвало язвительный отзыв Горация. Он писал:

Вот изменил уж народ неустойчивый мысли и
пышет
Страстью одной — сочинять, и отцы с строгим
видом, и дети,
Кудри венчая плющом, произносят стихи за
обедом.
Сам я, хотя и твержу: «Стихов никаких не пишу
я», —
Хуже парфян уж лгуном оказался: до солнца
восхода
Встану лишь, требую тотчас перо, и бумагу, и
ларчик.
Тот, кто не сведущ, корабль боится вести, и
больному
Дать абретон не дерзнет, кто тому не учен;
врачеванье —
Дело врачей; ремеслом — ремесленник только и
занят;
Мы же, — учен, неучен, безразлично, — кропаем

ПОЭМЫ [\[256\]](#).

В этом послании, адресованном Августу, принцепс не мог не узнать картины охватившего всех помешательства, распространению которого он и сам способствовал в немалой мере. Римляне практически полностью утратили политические свободы, в частности свободу политической речи, во времена республики игравшую определяющую роль в жизни города. В качестве компенсации они бросились в сочинительство или риторику, избирая для своих творений самые невероятные сюжеты, не имевшие ничего общего с реальной действительностью. И каждому из них хотелось, чтобы плоды его трудов стали известны всем, — не случайно новомодные *recitationes* пользовались таким ошеломительным успехом. Августа это устраивало. Он не возражал, чтобы римские граждане самозабвенно отдавались изящной словесности — это не оставляло им времени размышлять над политическими вопросами.

Поощряя всеобщее увлечение литературой, он открыл две библиотеки. И хотя он лишь повторил то, что первым предпринял Азиний Поллион, слава, конечно, досталась ему. Поставив во главе библиотек людей знающих и преданных его интересам, Август начал проводить в жизнь направленную культурную политику.

Первым библиотекарем нового учреждения, расположившегося в Портике Октавии, стал Гай Меценат Мелис. Человек причудливой судьбы, он появился на свет свободнорожденным, но был собственными родителями подброшен в чужой дом. Подобранный его человек дал ему блестящее образование, а потом подарил Меценату в качестве грамматика. Вскоре объявилась и мать Мелиса, которая стала требовать, чтобы сыну вернули звание

свободнорожденного, хотя, покинув его в младенчестве, сама же и лишила его гражданского статуса. Но... он предпочел остаться рабом Мецената. Очевидно, он рассудил, что жизнь раба в доме Мецената гораздо привлекательнее жизни свободного человека, лишенного высокого покровительства. Дальнейшее показало, что он не ошибся. Меценат отпустил его на волю и даже представил Августу^[257]. Мелис оставил после себя несколько комедий и сборник крылатых выражений^[258].

Руководство библиотекой, расположенной на Палатине, Август доверил своему бывшему рабу Гаю Юлию Гигину, отпущенному на волю. Этот грамматик и тонкий знаток древностей написал множество произведений, из которых до нас дошли только трактат по астрономии и сборник мифологических рассказов^[259]. Возможно, он сменил на этом посту талантливое поэта Помпея Макра. Они оба поддерживали самые тесные отношения с Овидием и вместе посещали кружок Марка Валерия Мессалы Корвина.

Так же, как Азиний Поллион, Мессала принимал личное участие в гражданских войнах, так же, как Поллион, впоследствии вошел в круг наиболее близких к Августу деятелей. Он был старше принцепса всего на год и, подобно ему, сумел сделать раннюю карьеру. Правда, от Августа его отличало одно существенное преимущество — рождением он принадлежал к одной из самых почтенных римских фамилий. В молодости он твердо поддерживал республиканцев, и от проскрипций его спасло лишь высокое семейное покровительство. В битве при Филиппах он сражался на стороне Брута и Кассия, но затем перешел на сторону Антония, подкупленный его благородством по отношению к погибшему Бруту. Напротив, жестокость Цезаря Октавиана его откровенно коробила. В 37 году он познакомился и вскоре подружился с Агриппой и, не

изменяя Антонию, в Сицилии воевал на стороне Цезаря. Понемногу его привязанность к Антонию слабела все заметнее, не в последнюю очередь из-за связи последнего с Клеопатрой, которая шокировала многих. В конце концов он примкнул к рядам сторонников Цезаря, за что последний оплатил ему быстрым ростом карьеры. В 31 году Мессала вместе с Цезарем был избран консулом, затем участвовал в битве при Акциуме. После этого он превратился в одного из виднейших деятелей нового режима. В 29 году Цезарь предложил ему вместе с Агриппой занять огромный дом, принадлежавший Антонию. Он прожил в нем четыре года, пока дом не сгорел в пожаре. В 26 году Август доверил ему вновь созданный пост городского префекта. В его обязанности входило «сдерживать рабов и ту часть граждан, дерзость которых, не подавляемая страхом, могла бы толкнуть их на возмущение»^[260]. Но Мессала счел «полицейские» функции несовместимыми со своими по-прежнему глубокими республиканскими убеждениями и уже через несколько дней взял отставку. Август не проявил ни тени недовольства. Он ввел Мессалу в жреческую коллегию арвальских братьев и до самой его кончины, случившейся в 8 году н. э., продолжал оказывать ему покровительство.

Пример Мессалы остается одним из ярких свидетельств того, с какой ловкостью Август сумел перетянуть на свою сторону представителей старинной римской знати, превратив бывших противников в друзей. Одних он «подловил» на преданности идее государственности, других — на личном тщеславии, но тем и другим предоставил высокие и почетные должности. Искушенный политик, Мессала вместе с тем горячо интересовался литературой, в часы досуга сам сочинял стихи и прозу и принимал у себя в доме многих талантливых поэтов, которым оказывал поддержку.

Из всех его подопечных наибольшей известности добился Тибулл. В 31 году, когда разыгралась битва при Акциуме, он был 24-летним молодым человеком. Тибулл стал выразителем настроений той части молодых италийцев, которые прожили достаточно, чтобы постичь весь ужас гражданских войн, но слишком мало, чтобы отказаться от надежд на радости мирной жизни. Он писал:

Пусть другой проявляет в бою свою доблесть;
Пусть другому сражаться с врагом помогает
воинственный Марс.
Мне же слаще стократ разделить с боевым
ветераном
Добрую чашу вина и взирать с нетерпеньем,
Как, в вино обмакнув грубый палец, он чертит
По столу боевые порядки;
Слаще подвигов мне ветерана рассказ.
Лишь безумец способен стремиться на поле
сраженья,
Где за ним по пятам угрюмая гонится смерть.
Нет, мне больше по нраву дожить до глубоких
седин
И, состарясь в свой срок,
О минувших деньках вспоминать иногда [\[261\]](#).

Увы, дожить до седых волос Тибуллу было не суждено. Он скончался в 19 году, почти одновременно с Вергилием, не дотянув и до 40 лет. С собою в могилу он унес и мечты молодого поколения о безоблачной мирной жизни, наполненной радостями любви и свободной от необходимости участвовать в военных и политических распрях.

Не желал умирать молодым и другой поэт, еще один друг Мессалы и Тибулла. Он заклинал богов подземного

царства не забирать его к себе слишком рано:

Да будет мне дано узреть как можно позже
Поля Элисия, ладью, скользящую по водам Леты,
И Киммерийские озера, —
Не раньше, чем когда поблекшее чело
Изрежут многие морщины
И, дряхлый старец, стану я рассказывать
любезным внукам
Истории минувших лет...
Какое счастье без причин
Выдумывать себе горячку и понапрасну
волноваться!
Увы, уж пятый день пошел, как болен я... [\[262\]](#)

Этот поэт писал под псевдонимом Лигдам и, возможно, приходился старшим братом Овидию. Как и Тибуллу, ему не довелось поговорить с внуками — он умер в возрасте 20 лет.

У Мессалы была племянница по имени Сульпиция, которой он одновременно был и опекуном. Эта девушка, влюбленная в человека много ниже себя по происхождению, может быть, даже раба, лишь в стихах осмеливалась излить свое чувство:

Вот, наконец, пришла любовь,
Но ждет меня позор, коли о том прознают;
Позор и то, что я ее скрываю.
Венера, моим стихам внимая благосклонно,
Послала мне любовь в награду.
Я дорожу своей виною,
И мне претит из страха пред молвою,
Любовь встречая, каменеть лицом.
Нет, я была его достойна,
Как он достоин был меня,

И что за дело нам до глупых пересудов!^[263]

Сульпиция — единственная римская поэтесса, чьи творения дошли до нас. Никаких доказательств того, что она и в самом деле любила человека, стоящего на социальной лестнице много ниже себя, не существует, однако, смело заявляя о возможности такой любви в стихах, она проявила вольномыслие, прочертившее бездну между ней и образцом добродетельной матроны, которому служила Ливия.

К этому же обществу принадлежал еще один поэт, родившийся в 43 году до н. э. Свои первые стихи он написал в возрасте 20 лет. Звали этого поэта Овидий. В отличие от Тибулла и Лигдама, которые умерли, не успев испытать на себе все строгости нового времени, он имел несчастье прожить долгую жизнь.

Овидий не зря пользовался репутацией эксперта в сердечных делах. Вначале он издал «Героиды» — поэтический цикл, написанный в форме писем, которые героини известных мифов адресовали своим возлюбленным^[264]. Затем поведал миру о перипетиях своей любви к некоей молодой особе. Наконец, выпустил в свет «Искусство любви» — настоящий трактат, посвященный науке обольщения и предназначенный как мужчинам, так и женщинам^[265]. Прячась за улыбкой опытного сердцеда, Овидий сумел показать, что римской молодежи, лишенной всяких гражданских прав, не оставалось ничего иного, как только обратить всю свою жажду деятельности и весь жар своего красноречия на любовные битвы. Уйдя с головой в достижение побед на сердечном фронте, на величие режима молодые римляне взирали со стороны, как зрители смотрят на актеров. Рисуя в воображении будущий триумф внука Августа Гая, Овидий давал своим ровесникам такие советы:

«Если какая-нибудь юная особа станет спрашивать у тебя имена царей и названия стран, гор и речек, изображения которых проносят мимо, отвечай не задумываясь, а еще лучше — не жди вопросов и начинай рассказывать про них сам. Даже если ты ничего про них не знаешь, говори так, словно знаешь все на свете»^[266].

Около 1 года до н. э. Овидий охладел к жанру элегии и написал «Метаморфозы» и поэтический календарь, озаглавленный «Фасты». Казалось, он отказался от роли бунтаря и изо всех сил старался прославить режим, но это плохо у него получалось. Его поэзия не желала укладываться в узкие рамки официальной идеологии, и, какую бы тему он ни затрагивал в своих сочинениях, за внешним смирением автора все равно упрямо проглядывал его мятежный дух. Он истощил терпение Августа, и тот примерно наказал поэта, столь верно выразившего настроения, владевшие молодым поколением, выросшим за годы его правления.

Словно сознавая, что после гражданских войн с их массовыми жертвами счастливая жизнь невозможна, молодая римская знать с бездумным отчаянием пустилась во все тяжкие. Примерно то же самое происходило и во Франции времен Директории. Впрочем, в кругу поэтов, близких к Мecenату, царили не совсем похожие настроения. Мecenат познакомился с Вергилием в 40 году, во время кампании по конфискации земель, и с тех пор начал оказывать покровительство не только ему, но и другим писателям, подарив свое имя целому направлению в общественной жизни, заключающемуся в поддержке людей искусства. Вергилий познакомил Мecenата с Горацием, который вскоре сделался его другом. Чуть позже к этому кружку присоединился Проперций. Мecenат отлично понимал, насколько важна роль поэтического слова в разработке образа принцепса, но в то же время, будучи убежденным эпикурейцем, дружбу он считал высшей ценностью на

земле. В подражание Платону Меценат написал диалог «Пир», выведя в качестве действующих лиц Вергилия, Горация и Мессалу. Последний, в частности, воздал на его страницах хвалу вину, которое «отворяет нам взор, делает все вокруг прекрасным и возвращает нас в сладкие годы юности»^[267].

Меценат, конечно, побуждал опекаемых им поэтов славить Августа, однако делал это ненавязчиво, и, если встречал колебания или твердый отказ, никогда не настаивал. Вергилий, даже согласившись написать эпопею, все-таки не стал делать Августа ее героем. Что касается Горация и Проперция, то оба они не раз и не два решительно отвергали предложения Мецената, нисколько не рискуя его благосклонностью.

Проперций воспевал любовь к красавице, которая звалась Цинтией и рядом с которой поэт мечтал наблюдать, как в городе устанавливается торжество новой власти. В конце концов Меценат уговорил Проперция прославить в стихах величие своего древнего города. Результатом явилась поэма, в которой автор превозносил радости любви и вспоминал старинные легенды. Но, как и Тибулл, Проперций не задержался в мире, прелести которого описывал. Он умер, не дожив и до 40 лет.

Высшее римское общество охотно сложило с себя всякие обязанности, связанные с политикой, и окунулось в жизнь, полную неги и удовольствий. Излюбленным местом времяпрепровождения римской знати стала Кампания, привлекавшая к себе мягкостью климата и красотами природы. Особенной популярностью пользовался в этом земном раю город Байи, имевший репутацию восхитительного и вместе с тем чуть «крамольного» уголка, немного напоминающую недавнюю репутацию Сен-Тропеза в современной Франции. Здесь казались возможными самые увлекательные приключения, здесь завязывались самые

смелые любовные романы. Здесь, вдали от Рима и любопытных глаз толпы, можно было не стесняясь купаться в умопомрачительной роскоши, не отказывая себе решительно ни в чем. Здесь возводились просторные виллы, больше похожие на дворцы, комнаты в которых располагались таким образом, что из них открывался вид и на море, и на окрестные холмы; днем они спасали от палящего зноя, в сумерки дарили мягкое вечернее тепло. Со всех сторон дома окружали тенистые портики, увитые цветущими растениями. Гуляя, обитатели вилл на каждом шагу встречали беседки, домики и бельведеры. В них они отдыхали, наслаждаясь красотой окружающей природы, казалось, нарочно собранной богами со всего мира в этом благословенном краю. Морская вода плескалась в бассейнах и живорыбных садках, а на Лукринском озере с начала века стали устраивать и устричные садки, так что рыба и устрицы попадали к столу свежими, только что из моря. На склонах Везувия рос виноград, из которого давили превосходное вино, но никто не вспоминал, что виноград растет на склонах вулкана. Нежась в ленивой роскоши возле самого подножия спящей огнедышащей горы, никто не думал, что превращает свою жизнь в символ хрупкости человеческого бытия.

Римляне съезжались в Кампанию ранней весной и оставались до конца сентября. Когда здесь появлялся Август, сюда же временно перемещалась столица империи. Принцепс устраивался на вилле в Сорренте, иногда, вероятно, перебираясь на Капри. Его обиталища отнюдь не затмевали роскошью все остальные, ибо он предпочитал собирать всякие диковины, а не статуи и не картины. Так, на вилле на Капри у него хранилась коллекция останков ископаемых животных, которые современники называли «костями гигантских чудовищ», а также доспехи героев (Светоний, LXXII). Очевидно, разглядывая их, он убеждался, что в древности землю и

в самом деле населяли исполины, которых, состарившись, земля перестала рождать [\[268\]](#).

Семейству Августа принадлежало в этом краю несколько вилл. Так, Октавия выкупила имение оратора Гортензия в Бавлах. Рассказывали, что прежний владелецвиллы умел приручать мурен, и они ели из его рук. Очевидно, страшные рыбыны, а может, их потомство, не забыли уроков дрессировки, потому что однажды дочь Октавии Антония Младшая ухитрилась нацепить свои серьги на жабы мурене. Поглядеть на это чудо сбежалась целая толпа любопытных соседок. Если вспомнить, каким зловещим развлечением предавался Ведий Поллион, то придется признать, что забавы Антонии отличались детской невинностью. Своими домами владели в этих землях также Юлия и Агриппа, оставившие их в наследство детям.

Одним из излюбленных занятий римского высшего общества были азартные игры. Сам Август питал к ним непобедимую слабость. Впрочем, он не скрывал этого, о чем свидетельствует одно из сохранившихся его писем Тиберию:

«За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще пришли Виниций и Силий Старший. За едой и вчера и сегодня мы играли по-стариковски: бросали кости, и у кого выпадет «собака» или шестерка, тот ставил на кон по денарию за кость, а у кого выпадет «Венера», тот забирал деньги» [\[269\]](#).

В другом письме он рассказывал:

«Милый Тиберий, мы провели Квинкватрии [\[270\]](#) с полным удовольствием: играли всякий день, так что доска не остывала. Твой брат (Друз) за игрой очень горячился, но в конечном счете проиграл немного: он был в большом проигрыше, но против ожидания помаленьку из него выбрался. Что до меня, то я проиграл тысяч двадцать, но только потому, что играл не скупясь, на широкую руку, как обычно. Если бы

стребовать все, что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на все пятьдесят тысяч. Но мне это не нужно: пусть лучше моя щедрость прославит меня до небес».

Писал он и дочери:

«Посылаю тебе двести пятьдесят денариев, как и всем остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости» (Светоний, LXXI).

Шутка про «славу до небес» звучит довольно двусмысленно. В том, что это именно шутка, мы не сомневаемся, но за этой шуткой явственно проступает желание Августа взять на себя роль провидения, твердой рукой поправляя ошибки слепого случая. Обычно люди играют с единственной целью — выиграть. Однако Август умел извлекать из игры двойное удовольствие: и от выигрыша, и от возможности возместить проигрыш партнерам. Его поведение снова заставляет нас вспомнить о Людовике XIV, который, никогда не принимая личного участия в игре, превратил азарт приближенных в инструмент своей власти над ними, ведь именно он, если пожелает, оплачивал колоссальные проигрыши своих родственников и придворных.

Если судить исключительно по сохранившимся текстам, перед нами встает образ высококультурного общества, живущего под ненавязчивым руководством доброго и снисходительного принцепса. Разумеется, это представление поверхностно. Август действительно любил казаться снисходительным, но под бархатной перчаткой своей доброты он прятал железную руку власти. Светские любезности составляли лишь одну, далеко не единственную грань его истинного политического облика.

Принцепс и его власть

Логично предположить, что создаваемый им в массовом сознании образ силой и мощью намного превосходил его человеческие возможности. Мы уже высказали догадку, что, публикуя против воли автора «Энеиду», Август прежде всего стремился утвердить в обществе именно тот образ властелина, который создал на страницах своей поэмы Вергилий. Поддавшись уговорам Мецената и Августа сочинить эпопею, Вергилий избрал ее героем Энея — сына Венеры, от которой, по преданию, произошел род Юлиев, следовательно, и сам Август, но все-таки не лично Августа. Такой подход позволил поэту оторваться от современности, подняться выше сиюминутных событий и предложить свое видение римской истории и истории человечества в целом.

«Энеида» начинается описанием бури, свирепостью своей напоминающей ту, что потопила возле берегов Сицилии флот Цезаря Октавиана, а заканчивается смертью одного из героев, символизирующей поражение италиков. Бурю насылает Юнона, которая ненавидит троянцев и не желает, чтобы они расселились на италийской земле. После долгой кровопролитной войны она наконец меняет гнев на милость, но ставит жесткое условие — троянцы должны принять язык и обычаи италиков. Именно благодаря Юноне происходит рождение Рима, впитавшего в себя италийские добродетели и забывшего свое восточное происхождение. В этом образе Вергилий выразил сущность римского духа, вечно разрывающегося между добродетелью Запада и соблазнами Востока.

Опираясь на этот образ, поэт пускается в более общие рассуждения о природе миропорядка. Юнона

олицетворяет яростную силу, сталкивающую между собой людей в непримиримой схватке, но ярость ее, при всей своей мощи, бесплодна, ибо Риму самой судьбой давно уготовано стать величайшей державой мира. Юнона знает о предначертании судьбы, и войны, которые она разжигает, приводят лишь к массовым жертвам как среди победителей, так и среди побежденных. Но жестокость Юноны не просто неизбежна, она оправдана, ведь только благодаря богине Рим может стать тем, чем он должен быть. Итак, в мире существует две силы. Первая, именуемая судьбой, определяет общую линию развития событий, которая, извиваясь и петляя, все равно в конце концов приводит в единственно возможную точку: Рим возникнет и станет властвовать над миром. Вторая сила сознательно пытается противостоять неизбежному, но, не способная отменить его, лишь задерживает его приход, обогащая костяк событий подробностями и деталями. В результате первое утверждение принимает вид: да, Рим возникнет и станет властвовать над миром, которому подарит италийские законы и обычаи.

Именно вторая сила, защищающая установленный людьми и одобренный богами миропорядок, приводит к историческим потрясениям и заставляет историю течь по самому извилистому руслу. Ничего не ведая об управляющих миром законах, люди спешат возложить вину за свои страдания на неведомую силу, которую называют Фортуной, тогда как на самом деле источник страданий кроется в столкновении между неизбежностью наступления исхода, определенного судьбой, и косным началом. Тот, кому удастся проникнуть мыслью в тайны мироздания, поймет, что исторический прогресс зиждется на принципе, который может быть сформулирован следующим образом: основание чего бы то ни было нового требует сохранения старого.

В конце поэмы, как и следует ожидать, гибнет противник Энея — Турн. Эней, уже готовый убить его, замирает в нерешительности, потому что Турн умоляет пощадить его из сострадания к старику-отцу, который не переживет смерти сына. Что должен делать Эней? Покончить с Турном или оставить ему жизнь во имя чувства, которое по-латински называлось *pietas* и выражало одновременно и жалость, и почтение? На этом месте повествование замедляется, чтобы вновь ускорить свой ритм, когда Эней заметит на плечах Турна доспехи, снятые, согласно боевому обычаю, с убитого врага, и поймет, что это доспехи его любимого друга. В этот миг охватившая его ярость заставит *его* забыть о *pietas* и подстегнет к убийству. Описывая эту сцену, Вергилий не искал дешевого эффекта. Он формулировал страшный закон истории: основание чего бы то ни было нового требует убийства старого.

Сведя воедино оба закона, поэт приходит к выводу: основание нового требует и беречь, и убивать.

Но какая роль во всем этом отводится людям? Что остается на их долю? Покориться неизбежному и молча страдать? Нет, не этим печальным уроком наполнена «Энеида». Ведь дело шло о создании Рима, а согласно мировому закону цена такого предприятия и должна быть высокой. Значит, людям придется страдать, и страдания их будут тем горше, что конечная цель их судеб остается им неведома. Порой, и даже довольно часто, им даже начинает казаться, что самые несчастные — вовсе не те, кто погиб во цвете лет.

В самый разгар бури, с которой начинается поэма, герой, ведущий за собой троянцев, восклицает:

О, трижды, четырежды счастлив,
Кто на глазах у отцов, под высокими стенами
Трои,

Смерть удостоился встретить![\[271\]](#)

Во все время, пока длится поход, Энея не покидает глубокая печаль, которую не в силах рассеять даже пророчество отца, предсказавшего грядущее величие римской державы. Став помимо своей воли орудием в руках судьбы, Эней переносит тысячи испытаний и свершает тысячи подвигов, без которых основателю нового государства никак не обойтись. Избранник богов, носитель миссии, обрекающей его на страдание, в своей героической ипостаси он выступает новым Гектором. Но его другая, человеческая ипостась заставляет его испытывать все соблазны плоти и чувствовать себя вторым Парисом. Он — основатель, он обязан быть великодушным, значит, он должен принести себя в жертву своему делу. Если дело требует кровопролития, он прольет эту кровь, хотя все в нем восстает против насилия. Но без насилия нельзя исполнить предначертанное судьбой — нельзя основать новый город.

Вергилий объяснял Августу природу его власти, как и природу политической власти вообще. Он показал необходимость преодоления противоречий, внутренне присущих миропорядку, открыл, что осуществление власти означает почтительное сохранение основ и умение, каким владел Эней, подчинить себе мировой хаос и людей, навязав им свой порядок, умение примирить между собой движение и неподвижность, умение сочетать противоположности, одним словом, умение всю жизнь заниматься решением неразрешимых задач.

Если в «Буколиках», а затем в «Георгиках» Вергилий идеализировал Августа, то в «Энеиде» он придал его образу поистине вселенский размах, сопоставимый с величием его победы при Акциуме. Подробно описывая

щит, который Вулкан выковал для Энея, поэт задерживает взгляд читателя на римской истории и роли в ней Августа. По краю щита бог поместил картины, напоминающие о событиях прошлого, но центр отдал битве при Акциуме:

Можно было узреть в середине обитые медью
Флоты, актийскую брань и как оружием Марса
Весь закипает Левкат и сверкают золотом волны.
Италов движущий в бой здесь Август Цезарь, с
ним рядом

И отцы, и народ, и Пенаты родные, и боги
Все на высокой корме: его виски извергают
Радостный пламень; звезда родовая над теменем
блещет.

В месте другом при ветрах и богах
благосклонных Агриппа

Гонит полки, у него, отличие гордое брани,
Блещут корой виски, морской, с золотыми
носами,

С ратью варварской здесь и оружием разным
Антоний,

Всех победитель племен Авроры и красного
брега,

Силы Востока везет, и Египет, и дальние Бактры,
И — о нечестье! — за ним супруга египтянка —
следом.

[...]

Систром царица родным средь судов призывает
отряды

И не чует еще двух змей за своими плечами.

Чудища разных богов и лающих дерзко Анубис
Против Нептуна царя, Венеры и против Минервы
Копья держат свои...

Последние строки книги VIII, в которой описано это сражение, снова возвращают нас к Энею:

Этим узорам щита Волканова, матери дара,
Он дивится и образам рад, не зная событий
И поднимая плечом потомков славу и судьбы^[272].

Изображая Августа в облике Энея, Вергилий словно предчувствовал, какую душевную муку предстоит пережить принцепсу, и заранее помогал ему подняться над своим страданием и не дать ему сломить себя. Августу, далекому потомку Энея, выпало на долю довершить то, что начал его легендарный предок. И история Рима стала для него личной историей, историей его семьи. Именно он стал завершающим звеном великого цикла, всем своим существованием подготовившего его приход и ожидавшего его. Август наследовал Энею, но вместе с тем он наследовал и римским царям, и великим деятелям республики. Вергилий хотел убедить Августа, что его долг — исполнить свою миссию и тем самым оправдать все связанные с ней страдания и жертвы. Мириться с человеческой историей можно лишь на этих условиях.

Но не один Вергилий посвятил свой гений тому чудесному превращению, благодаря которому рядовое сражение при Акции обрело масштаб чуда, сотворенного при прямом участии богов. У Проперция, например, к Цезарю Октавиану обращается сам Аполлон:

Сын Альбы Лонги, мира спаситель, о Август,
Доблестью ты превзошел дальних троянских
прадедов;
Властвуй же, Август, на море, ибо суша тебе уж
подвластна.
Для тебя натяну я свой лук, для тебя свой

наполню колчан,
Ибо должен от страха свою ты избавить отчизну.
Помни, вера в тебя осенила корабль твой обетом
народным!
Если нынче ее защитить не сумеешь,
Значит, Ромул ошибся, свое совершая гаданье,
Сидя здесь, на холме Палатинском,
Как посмели челны их приблизиться к этому
берегу?
Стыд, о стыд, латиняне, вы видите в ваших
волнах
Царским знаком украшенный парус!
Много весел у них, у них воинов многие сотни —
Не робей! даже море, и то негодует, на волнах
их качая суда.
Приглядись, на носу кораблей
Ты увидишь кентавров и грубые камни —
Не путайся раскрашенных пугал из пустотелого
гипса!
Знай, тогда побеждает врагов своих воин,
Когда бьется за правое дело.
Пробил час, слышишь, Август, снаряжай же свои
корабли!
Нынче собственной лавром украшенной дланью
Стану юлиев флот направлять [\[273\]](#).

Разумеется, никто не верил, что Аполлон обращался к Августу с подобной речью, однако все поняли, что имел в виду поэт. Римская мысль искала символическое выражение сущности новой власти, и в числе одного из самых ярких символов использовала благословенный образ вождя, который вернулся из глубины веков, чтобы защитить и подтвердить римское могущество.

Алтарь мира

Едва ли не самым показательным примером самоопределения власти стал Алтарь мира. Решение о его возведении, принятое сенатом в 13 году, сопровождалось торжественной церемонией, в ходе которой священное пространство обнесли деревянной оградой, украшенной скульптурными бычьими головами и жертвенными сосудами — патерами. Впоследствии воспроизведенная в мраморе, эта ограда еще и сегодня окружает алтарь по прямоугольному периметру. Внутри ограды ведут довольно широкие ворота, устроенные с обеих коротких сторон прямоугольника. На внутренней поверхности стенок можно видеть такие же бычьи головы и патеры, какие некогда красовались на деревянной ограде, только теперь они тоже изваяны из мрамора. Внешняя поверхность украшена барельефами, выдержанными в духе идеологии режима.

Через всю поверхность стен ограды проходит декоративная поперечная полоса, как бы делящая ее пополам. Нижняя часть заполнена орнаментальной вязью, в причудливых изгибах которой прячутся фигуры птиц, ящериц, ужей. Больше всего здесь лебедей. Лебедь считался птицей Аполлона, и здесь их присутствие напоминает зрителю, что Август пользовался покровительством этого бога и благодаря его вмешательству одержал победу в битве при Акциуме. В целом эта часть декора производит впечатление изобилия, которое, кажется, готово вырваться за грани стены, чтобы растечься по окружающему пространству.

Четыре свободных прямоугольника, оставшихся сбоку от ворот по обеим сторонам ограды, заполняют картины, выполненные каждая на свой сюжет и в своем

стиле, но объединенные внутренней связью. На первой Эней приносит в жертву Пенатам свинью с тридцатью поросятами, появление которой возвестило ему, что он наконец достиг земли обетованной. Картина, занимавшая пространство по другую сторону ворот, сохранилась очень плохо, но все же можно догадаться, что она изображала Луперкал, где волчица вскормила Ромула и Рема.

Картины, обрамляющие ворота с противоположной стороны ограды, выдержаны в символическом духе. Одна из них изображает пышногрудую женщину, держащую на коленях двух младенцев. Справа и слева от нее видны еще две женские фигуры — одна сидит на лебеде, вторая — на морском чудище. Аллегорический смысл картины очевиден: женщины олицетворяют землю, воздух и море, но земля-кормилица, помимо того, символизирует Италию, мать и защитницу своих детей. К сожалению, последняя, четвертая картина почти не сохранилась, и сегодня трудно сказать, что она изображала. Мы можем лишь предположить, что здесь была представлена богиня Рома в окружении фигур, символизирующих победоносные войны и воцарившийся после них мир.

Полностью смысл этих четырех картин становится ясен лишь после внимательного изучения изображений, украшавших длинные стороны ограды. Мы видим здесь длинный ряд рельефных фигур — это процессия, участвовавшая в освящении алтаря 4 июля 13 года. Особенно интересно приглядеться к барельефу одной из стен, потому что это — ценнейший исторический документ, дающий представление не только о семье Августа, но и о том, какой эта семья, с его точки зрения, должна была выглядеть в глазах современников. Художник запечатлел процессию в тот миг, когда она ненадолго остановилась, а ее участники, пользуясь моментом, спешат переброситься несколькими словами

или просто взглядом. Этот прием, нарушающий торжественность церемонии, придает изображению живость и непосредственность и заставляет легонько колыхаться тяжелые складки мужских тог и длинных женских платьев.

Возглавляет процессию Август. На нем одежды верховного понтифика, хотя мы знаем, что в 13 году он еще не занимал этой должности. Перед ним шествуют ликторы, за ним — фламины в своих забавных островерхих колпаках, за фламинами — снова ликторы. Дальше в строгом иерархическом порядке следуют члены семьи. Первым идет Агриппа, рядом с ним Гай, его старший сын, дальше видна женская фигура — очевидно, это Юлия, впрочем, может быть, и Ливия. Дальше мы узнаем Тиберия, за ним следует дочь Октавии Антония Младшая. За руку она держит маленького Германика и, полуобернувшись, смотрит на своего мужа Друза. За Друзом видна еще одна женская фигура — возможно, это Октавия, ради такого случая согласившаяся прервать свое добровольное заточение. Она прижимает палец к губам, словно призывая дочь и зятя прекратить неуместные разговоры. За ней следует Антония Старшая с мужем, Луцием Домицием Агенобарбом, и двумя детьми.

Благодаря оживленным позам некоторых из участников процессии эта семейная картина, не теряя торжественности, выглядит естественной и человеческой. Из-за того, что шествие остановилось, люди стоят довольно тесно, и это подчеркивает их внутреннее единство. Даже складки одежды колышутся у них в унисон. Освящение достроенного алтаря состоялось в 9 году, и мы легко можем представить себе, с каким волнением разглядывали члены семьи фигуру Агриппы, умершего три года назад. Через несколько месяцев после открытия алтаря умер Друз, и взгляд, которым он

обменивается на барельефе с женой, кажется нам прощальным...

Алтарь мира выражает в мраморе те же идеи, что в поэтической форме высказал Вергилий. Август, выступающий под видом жреца, подчеркивая свою преемственность и с Энеем, и с Ромулом, воплощает образ того, кто снова привел Италию к процветанию. Даже стилистическое богатство оформления ограды алтаря служит подтверждением восстановленной гармонии. Так, символические картины выдержаны в духе эллинистической традиции, тогда как барельефы, изображающие участников процессии, — излюбленный римлянами жанр изобразительного искусства, — выполнены скорее в классическом греческом стиле. Характерные особенности «источников», послуживших образцом для создания алтаря, — орнаментальная вязь с включенными в нее фигурами животных, заимствованная из главного алтаря Зевса в Пергаме, и рельефное изображение человеческой процессии, повторяющее шествие на празднике Панафиней на стенах Парфенона, — сопрягаются здесь в органичном единстве.

Сочетание греческого классицизма с эллинистической вычурностью, вообще характерное для искусства эпохи Августа, прослеживается не только в барельефах, но и в архитектуре, и в живописи. В настенной живописи исчезают широко распространившиеся в последние годы республики приемы оптического обмана, благодаря которым казалось, что стена комнаты открывается в некое несуществующее пространство. Этот потусторонний мир, затягивая в себя погибшие иллюзии и рухнувшие надежды, словно предлагал последовать за ними, лишь бы не видеть окружающей действительности, переносить которую становилось все труднее.

Но с приходом к власти Августа эта мода постепенно сошла на нет. Отныне художники обратили свои взоры к реальным лицам и событиям, а картины, которые они писали, заказчик предпочитал вешать на настоящую, а не на воображаемую стену. И внутренний декор помещений стал подстраиваться под новые веяния. Ложные колонны утратили свою тяжеловесную основательность, украсились цветочными мотивами, а затем и вовсе переродились в канделябры. Все то, что в жизни предшествующего поколения побуждало к бегству от действительности, теперь воспринималось как простая декорация. Да и к чему, в самом деле, бежать от жизни, если благодаря небесами ниспосланному принцепсу наступил золотой век?

Образ героя

Итак, Август явился Риму и новым Энеем, и новым Ромулом — дважды героем. Во времена античности в это слово вкладывали вполне определенный смысл. Героем называли того, кто с самого рождения принадлежал и миру людей, и миру богов, а после кончины становился божеством. Благодаря усыновлению Август стал отпрыском божественного Юлия, возможно, был он и сыном Аполлона, значит, имел все основания претендовать на звание героя. Новое имя, которое он взял себе в 27 году, вплотную приблизило его к небожителям, а в народном представлении он стал все больше восприниматься не как человек, а как божество, и это происходило не только в провинциях, но и в самом Риме. От благосклонности, с какой он принимал поклонение своему имени — *numen*, до согласия позволить народу поклоняться его божественной воле — *numen* — ему оставалось сделать один-единственный шаг: заменить гласную в корне слова, и в некоторых надписях встречается именно второй вариант обращения к Августу. Этот шаг узаконил бы проявившуюся тенденцию, возможно, возникшую в массовом сознании инстинктивно. Но Август удержался от этого шага. Он предпочел готовить свое обожествление политическими методами, очищая его от конъюнктуры и народных суеверий, потому что только этот путь гарантировал формирование нужных ему представлений не только на уровне неосознанных верований, но и на уровне сознания. Как и могущество Августа в целом, так и тщательно планируемое посмертное его обожествление зиждились на синтезе римских и эллинистических традиций, на сочетании философских концепций и народных суеверий.

Ни одна из римских традиций, связанная с обожествлением государственных деятелей, не ускользнула от его внимания. Для некоторых из них существовали свои строго установленные правила. Так, высшие магистраты, имевшие доступ к участию в ауспициях, то есть имевшие право вопрошать небеса о том, что следует предпринять в том или ином конкретном случае, уже в силу этого считались связанными с миром божественного. Но Август, помимо этой привилегии, располагал и другими преимуществами. Причастность к высшим сферам сообщало ему и звание императора, — ведь, как и всякий триумфатор, он переживал кратковременное отождествление с Юпитером, — и священная неприкосновенность, какой он пользовался в качестве плебейского трибуна.

Кроме того, он стремился занять как можно больше постов в жреческих коллегиях и, как свидетельствует нижеприведенная надпись, непременно включал их все, наряду с прочими официальными званиями, в полный перечень своих титулов:

«Императору Цезарю Августу, сыну божественного Юлия Цезаря, Великому понтифику, Отцу отечества, авгуру, члену коллегии пятнадцати, ответственной за проведение священных обрядов, члену коллегии семи, ответственной за устройство пиров, тринадцатикратному консулу, семнадцатикратно чествуемому императору, тридцатикратному обладателю трибунской власти»^[274].

Следовательно, Август входил сразу в три жреческие коллегии. Коллегия семи занималась организацией публичных пиршеств, по тому или иному поводу устраиваемых в честь богов. В момент основания коллегии, в 196 году до н. э., число жрецов ограничивалось тремя, но впоследствии увеличилось до

семи, и название «семь эпулонов» закрепилось за коллегией навсегда, даже когда жрецов стало десять.

На коллегии пятнадцати лежала обязанность консультироваться с сивиллиными книгами. По преданию, эти книги, содержавшие греческие оракулы, были выкуплены царем Тарквинием Гордым у Сивиллы Кумской. Они хранились в крипте храма Юпитера Капитолийского, но в 83 году погибли во время пожара. Сенат приказал восстановить книги, которые отправились на хранение в крипту заново отстроенного храма. В то время книги представляли собой сборник оракулов различного происхождения, предписывающих проведение тех или иных обрядов в ответ на то или иное чрезвычайное событие или чудо. Книги сыграли существенную роль в истории римской религии, поскольку служили удобным инструментом, открывавшим путь внедрению греческих обрядов.

Происхождение коллегии авгуров восходило к Ромулу и Рему. Специальностью этих жрецов, число которых при Юлии Цезаре с пятнадцати увеличилось до шестнадцати, были ауспиции, то есть толкование предзнаменований, сообщаемых людям богами при помощи птиц. В их обязанности входили также поддержание согласия с богами и освящение тех мест, где проходили религиозные и политические мероприятия^[275].

Но этим Август не ограничился. Он входил также в коллегию титиевых товарищей (Titii sodales) и в коллегию арвальских братьев. Первая из них, по одной из бытовавших версий, появилась по инициативе царя Альбы Тита Татия, стремившегося насадить в Риме сабинский культ; впрочем, существовало мнение, что первоначально жрецы коллегии отвечали за ежегодное поминовение памяти Тита Татия, устраиваемое на его могиле^[276]. На самом деле об этом культе нам известно очень мало.

Происхождение второго культа уходит еще дальше в глубь веков, ибо состав коллегии воспроизводил семью Акки Ларентии — кормилицы Ромула, имевшей двенадцать сыновей. Вместе с ними она ежегодно совершала жертвоприношения, призванные повысить плодородие полей. После смерти одного из братьев его место занял Ромул. Август восстановил эту коллегию и, подобно Ромулу, вошел в число ее членов. Арвальские братья совершали обряды в честь богини, называвшейся Деа Дия. Очевидно, они чествовали в ее лице покровительницу сева^[277]. Вместе с остальными жрецами коллегии Август каждый год в мае, надев претексту, повязав вокруг лба белую ленту, закрыв лицо сеткой и водрузив на голову венок из колосьев, выходил танцевать священный танец, исполнявшийся со счетом на три, и одновременно декламировать вслух старинный гимн, написанный в том же размере и местами уже тогда утративший свой смысл. Гимн начинался с троекратного повторения заклинания:

«Enos Lases invate»^[278].

Членство в коллегии арвальских братьев было пожизненным, а это значит, что и жрецам-старикам приходилось участвовать в пляске. Можно представить себе, с каким трудом давалось это Августу, у которого в последние годы жизни одна нога почти не гнулась. Но, несмотря ни на что, он не пропускал ни одной церемонии, старательно исполняя все требования ритуала, малейшее отклонение от которого в слове или жесте сводило на нет весь смысл обряда. Точно такое же скрупулезное внимание к точности каждого слова он проявлял и в политике.

Повторяя хором слова заклинаний, арвальские братья действительно начинали чувствовать себя связанными узами братства — идеальной модели того братства, в которое Август мечтал превратить все высшее римское общество. В состав коллегии входили

знатные патриции, в 29 году обозначившие ее ядро, и плебеи — представители старинной республиканской аристократии. Социальный состав арвальских братьев ясно показывает, какое политическое значение придавал Август возрождению коллегии, начавшей активно действовать, по всей вероятности, не позже 29 года.

Наконец, Август возродил две коллегии луперков и две коллегии салиев. Возникновение первых относили к доисторическим временам и связывали с именем Ромула. Каждый год 15 февраля жрецы коллегии, из всей одежды оставив только набедренную повязку, обегали вокруг города, заклиная несчастья покинуть Рим вместе с уходящим годом и призывая на его земли плодородие в году наступающем. Между тем в древности празднества луперков включали в себя и обряд обновления царской власти, вот почему в 44 году Антоний, входивший в эту коллегию, воспользовался праздником как поводом, чтобы предложить Цезарю царскую корону. Август совсем не стремился увековечить это событие, однако коллегии луперков распускать не стал, ограничившись тем, что членство в них сделал достоянием преимущественно молодежи всаднического сословия, возложив на нее задачу ежегодного обновления утомленных сил природы и власти. Через коллегии луперков и римская молодежь получила право участвовать в формировании официальной идеологии режима.

Август принадлежал к сословию патрициев и воплощал собой идею превосходства мужской зрелости над юношескими порывами. Однако членом коллегий луперков и салиев он не стал совсем по другой причине. Так, салии, считавшие своим основателем царя Нуму, набирались из патрициев, однако участие в этой коллегии исключало возможность занимать какую бы то ни было военную или политическую должность ^[279]. Но

даже не являясь жрецом коллегии, Август добился включения своего имени в перечень божеств, которых салии упоминали в своих молитвах. Этот перечень выглядел весьма солидно, но салии, служившие богу Марсу, совершали свои обряды, повторявшие древний ритуал открытия и закрытия «военного сезона», только дважды в год — в марте и в октябре^[280].

В целом мы видим, что Август не пренебрег ни одной из сторон старинной религиозной традиции и сосредоточил в своих руках весьма значительную долю священных обязанностей. Помимо прочих преимуществ это давало ему возможность стать на одну доску с древними царями Рима и Альбы — в качестве авгура и арвальского брата с Ромулом, в качестве титиева собрата — с Титом Татием, в качестве жреца коллегии пятнадцати — с самим Тарквинием. Очень долго ему не хватало сана и должности верховного понтифика, но отнимать их насильно у Лепида он не хотел. Лепид же, лишенный всякой власти и изгнанный из Рима, все еще оставался жив, заставляя Августа мучиться нетерпением.

Коллегию из пяти жрецов, как считалось, впервые создал Нума, нуждавшийся в помощниках. Постепенно число помощников росло, и к последнему периоду существования республики достигло 15 человек. Юлий Цезарь увеличил коллегию понтификов, как и коллегию авгуров, до 16 жрецов.

С падением монархии большая часть религиозных полномочий, прежде принадлежавших царю, оказалась сосредоточена в руках великого понтифика. Древность происхождения этого института подтверждается уже перечнем обязанностей и ограничений, накладываемых на его главу. Так, великий понтифик не имел права покидать Италию, а жить должен был в доме, расположенном по соседству с храмом Весты на Форуме, являвшимся собственностью государства. Он никогда не

клялся жизнью своих детей, но только богами. Фламины и весталки подчинялись ему как отцу, он же назначал и смещал тех и других. Таким образом, он воплощал одновременно и наследника царей, и представителя богов и надзирал за отправлениями культа в государственном масштабе, как отец семейства надзирал за отпращиванием домашнего культа. В каком-то смысле государство и являлось его домом^[281].

Великий понтифик советовался с членами своей коллегии, но окончательные решения принимал единолично. Между тем понтифики вмешивались во многие стороны жизни общества, отнюдь не ограничиваясь религиозной сферой. Они следили за соблюдением обрядов и еще в классическую эпоху сохраняли за собой право корректировать религиозный календарь, что изначально, в момент создания коллегии, считалось всецело их прерогативой. После реформы Цезаря, лишившей их функции установления промежуточных дней, за ними осталась власть назначать дату нефиксированных праздников. Точно так же, даже перестав олицетворять собой высшую судебную инстанцию, они по-прежнему пользовались влиянием в решении семейных споров, и даже Август в молодости, задумав жениться на Ливии, не мог обойтись без их поддержки.

Одним словом, великий понтифик обладал значительным моральным авторитетом и, служа своего рода посредником между людьми и богами, воплощал самый дух римской религии. Не случайно Август, участвуя в жертвоприношениях и других обрядах, требовавших его присутствия, появлялся на них в облачении великого понтифика, прикрыв голову поллой тоги.

Добившись вождя звание, он поспешил извлечь из него максимум пользы для укрепления своего, как мы сказали бы сегодня, имиджа. Не желая

переселяться в дом на Священной дороге, он воздвиг небольшое святилище Весты, соседство с которой предписывалось правилами, на принадлежавшем ему земельном участке на Палатине и отдал его в общее пользование. Так самое древнее римское божество, чей огонь символизировал жизнь города, в чьем храме нашли приют Пенаты — хранители домашнего очага, совершило переезд на Палатинский холм, чтобы устроиться по соседству с Ромулом, Аполлоном и самим принцепсом.

Кроме того, Август произвел ревизию сивиллиных книг, в результате которой около двух тысяч оракулов были признаны апокрифами и уничтожены. Остальное отправилось на хранение в цоколь статуи Аполлона Палатинского. Так, поручая свое добро заботам вдохновителя богов, он, будучи поблизости, мог и сам следить за надежностью хранилища.

Отныне место, где он жил, стало самым священным в Риме. Корни древнейших традиций, связанных с Ромулом и Вестой, соседствовали здесь с греческим тайным знанием, позволявшим заручиться благословением богов. И сам он превратился в хранителя святилища, в котором прошлое и будущее встречались, образуя вечность.

Трибунской неприкосновенности и священного ореола, окружавшего звание верховного понтифика, вполне хватило бы, чтобы придать фигуре принцепса величие, возвышавшее его над всеми прочими людьми. Но земная его оболочка оставалась смертной, и, какие бы усилия сродни героизации он ни предпринимал, стараясь казаться вечным, не в его силах было побороть ее эфемерной сущности. Впрочем, древнеримский менталитет допускал существование в человеке неизменного и неподвластного времени начала, именуемого гением. Именно на него и опирался

терзаемый болезнями Август, готовя свое посмертное обожествление.

Сделав основой этого обожествления официально признанные добродетели, он так же оставался в русле ортодоксального мышления. Его предтечей на этом пути можно в некотором смысле считать Цицерона, который в последней книге трактата «О государстве» показал, что великих деятелей после смерти ждет другая жизнь — на небесах. Не превращаясь в богов, они попадают в эмпиреи — страну вечного блаженства. Так, стремясь придать своей личности и своей власти священный ореол, подобный ореолу древних эллинистических правителей и современных ему восточных царей, продолжавших владычествовать под римским господством, Август поставил себе на службу весь священный потенциал традиционных институтов и философских концепций, принятых римской мыслью.

Завоевание пространства

Завершив разработку образа правителя, который Август стремился внедрить в сознание современников, он занялся его распространением по всем пределам Римской империи. Прежде всего следовало показать самим римлянам, которые очень плохо представляли себе, на что похож завоеванный ими мир, его огромные размеры и бесконечное разнообразие. Нам сегодня нелегко поверить в существование мира, не знавшего, что такое географическая карта, но на самом деле римляне в подавляющем большинстве понятия не имели, где расположена, например, Британия и как она соотносится с Испанией, не говоря уже о Фессалии, которую путали с Македонией^[282]. Да что там говорить, если даже география Италии оставалась для многих загадкой! Работу над составлением карты мира начал Агриппа, намеревавшийся разместить ее в особом портике на Марсовом поле. Смерть помешала ему довести до конца начатое дело, о котором он поведал в своих «Мемуарах» и по поводу которого оставил распоряжения в своем завещании. Завершил его Август. При нем население города (по-латински «urbis») наконец-то увидело, как выглядит окружающий мир («orbis»), и убедилось, что первое — часть второго, но такая часть, которая способна заменить целое. Именно это имел в виду Дю Белле, когда писал:

Рим был весь мир, и нелый мир был Рим,
И если вещь одну звать именем одним,
То имя Рим позволено отринуть
И называть его землей, водой, эфиром,
Тогда весь мир сожмется до пределов Рима,

Как Рима план являл собою карту мира^[283].

Карта, заключив, как по волшебству, необъятность мира в свои рамки, создавала иллюзию полного господства над ним. Мало кто заметил, что на карте Агриппы расположение Бетики^[284] было указано неправильно, зато каждый римлянин мог по достоинству оценить размах империи и, следовательно, величие своего принцепса. Теперь любой, только взглянув на карту, представлял, в каких местах бились римские легионы в старину и где они бьются сегодня. Теперь ничего не стоило проследить взглядом за течением Рейна, обозначавшего границу Косматой Галлии, или обозреть береговую линию Средиземного моря, очертившую Нарбон, Испанию, обе Африки, Египет, Сирию, Киликию, Азию, Вифинию, Македонию, Грецию, италийские земли. Бесчисленные острова, разбросанные там и сям по огромным просторам этого моря, все признали римское владычество — Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит, Кипр, все Киклады. Рим подчинил себе и приручил волшебные страны, в которых когда-то разворачивались события, запечатленные в греческих мифах. И этот неисчерпаемый источник поэтического вдохновения вместе с картой перенесся в Рим.

На подступах к этому гигантскому образованию теснились покоренные царства и варварские народы. Одного взгляда на карту было довольно, чтобы вздрогнуть от опасной близости Иллирии и Паннонии, — каждому становилось ясно, что эти земли следовало завоевать, объединить Македонию с Венетией, тем самым укрепив единство империи и обеспечив безопасность Италии. Точно так же обывателю грело сердце созерцание невероятной, фантастической отдаленности Парфии, угрожавшей лишь отодвинутым глубоко на восток границам покоренного мира.

Составление карты преследовало не только зримые, конкретные, но и более отвлеченные, идеологические цели. Разумеется, карта служила наглядным подтверждением величия принцепса и в этом смысле выполняла назначение символа власти. Но в то же время карта приносила большую пользу. В годы правления Августа, когда от завоевания новых провинций империя перешла к насаждению в них своей модели управления, небывалое прежде значение приобрела география. География отвечала за «инвентаризацию» мира, объясняя, почему одни военные походы необходимы, а другие — те, которые не удавалось довести до победного завершения, — не нужны. Так, современник Августа географ Страбон утверждал, что Британия, в которой принцепс потерпел фиаско, не представляет для Рима никакого интереса.

В пространстве, описанном географами и выставленном на всеобщее обозрение в портике на Марсовом поле, Рим занимал центральное место. Из Рима разбегались по миру все дороги, в Рим же они возвращались. Эта идея получила зримое воплощение в 20 году, когда Август воздвиг на Форуме колонну, символизировавшую место слияния всех дорог империи. Выбитые на колонне надписи указывали, какое расстояние отделяет Рим от всех крупных городов мира.

Город, ставший средоточием мира, не мог не быть достойным своей великой миссии. На всем протяжении своего правления Август не жалел усилий, украшая Рим. Рассказ о его градостроительной деятельности занимает немало место в «Деяниях»:

«Курия с прилегающим вестибулом^[285], храм Аполлона на Палатине с портиками, храм божественного Юлия Цезаря, Луперкал, портик близ Фламиниева цирка, которому я оставил имя Октавия, соорудившего первый портик на том же самом месте, императорскую ложу в Большом цирке, храмы Юпитера Феретрия и Юпитера

Громовержца на Капитолийском холме, храм Квирина, храмы Минервы, Юноны царицы и Юпитера Освободителя на Авентинском холме, храм ларов на Священной дороге, храм Пенатов на Велии, храм Юности, храм Великой матери богов на Палатинском холме были реставрированы мною.

Я осуществил дорогостоящую перестройку всего Капитолия и театра Помпея, но не стал давать ему свое имя. Я восстановил акведуки, которые во многих местах обветшали и пришли в негодность; я вдвое увеличил мощность Марциева водопровода, напав его от нового источника. Я закончил постройку Юлиева форума и базилики, расположенной между храмом Кастора и Поллукса и храмом Сатурна, — обе стройки начал мой отец и почти довершил их. Когда та самая базилика погибла в огне пожара, я от имени моих сыновей приказал ее перестроить, увеличив, и, если мне не дано будет завершить начатое, завещаю наследникам сделать это. В год своего пятого консульства (29 г. до н. э.) я с благословения сената отремонтировал 82 храма, не обойдя вниманием ни один из нуждавшихся в переделке. В год своего седьмого консульства (27 г. до н. э.) я починил Фламиниеву дорогу, ведущую из Рима в Аримин, и все мосты, кроме моста Мульвия и моста Минуция.

На средства от военной добычи я воздвиг на принадлежащем мне земельном участке храм Марса Мстителя и Форум Августа. По соседству с храмом Аполлона я воздвиг театр, выкупив большую часть земельного участка у частных лиц, и дал театру имя своего зятя Марка Марцелла»^[286].

Как видим, размах немалый. И в самом деле, Август действовал в русле традиции великих триумфаторов прошлого, которые по возвращении из победоносного похода часть военной добычи жертвовали на сооружение новых или реставрацию старых памятников

архитектуры. Но за внешним сходством таились глубокие внутренние различия. Некоторые из построек, затеянных Августом, действительно носили триумфальный характер, то есть осуществлялись за счет военной добычи, например Марсов форум. Но многие другие он оплачивал из своего собственного кармана, что решительно меняло дело. Август превратил градостроительство в дело политической важности, на каждом шагу подчеркивая свою щедрость по отношению к горожанам. Мало того, право благоустраивать Рим он оставил исключительно за собой, предлагая остальным магистратам и даже членам своей семьи проявлять градостроительную инициативу в провинциальных городах.

Так Рим постепенно превращался в место, где любое благодеяние исходило только от принцепса. Август не забывает упомянуть, что он не стал всем вновь появившимся памятникам присваивать свое имя, но разве он в этом нуждался? Разве не ясно было всем и каждому, что чудесное превращение, которое переживал город, происходило исключительно благодаря ему? Впрочем, некоторым новым сооружениям он присваивал имена своих родных. Мы уже говорили о театре Марцелла, но такой же чести удостоились Октавия и Ливия, каждая из которых получила по портику.

Чтобы подчеркнуть свое повсеместное присутствие в городе, Август нашел иной способ. Он разделил Рим на 14 районов, в свою очередь поделенных на 265 кварталов. Согласно старинному обычаю на городских перекрестках всегда устанавливали жертвенники богам Ларам, происхождение которых оставалось загадкой даже для ученых того времени, но которым поклонялись все жители Рима, включая рабов и вольноотпущенников, считавших Ларов богами-покровителями. Получив звание верховного понтифика, Август ввел обычай

поклоняться Ларам — хранителям его собственного домашнего очага, а также его личному гению. В 12 году он впервые испробовал это новшество в одном из римских кварталов, но постепенно распространил его на весь город, заставив участвовать в его домашнем культе такие категории жителей, которые всегда считались самыми опасными с точки зрения возмущения общественного спокойствия.

Наконец, именно к Риму относится один из самых известных афоризмов, сказанных Августом. Он утверждал, что получил Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Мы уже показали, что, по мнению Диона Кассия, это заявление следует понимать в фигуральном смысле, но даже если мы попытаемся придать ему буквальный смысл, то убедимся, что в отношении к Риму оно не соответствует действительности. При Августе и в самом деле появилось несколько сооружений из мрамора, например храм Аполлона на Палатине, но все-таки большая часть из них возводилась традиционным для Рима способом — из камня, добываемого в окрестностях города, или из кирпича, лишь снаружи прикрытого мраморной облицовкой. С другой стороны, архитектурные сооружения, возводимые во времена республики, отнюдь не всегда строились из кирпича. Для них чаще всего использовали камень или грубый цемент под каменной или даже мраморной облицовкой, ведь разработка мраморных карьеров Каррары началась уже при Цезаре. Так что Август, во-первых, получил Рим вовсе не кирпичным, а во-вторых, оставил его не мраморным, а лишь прикрытым мрамором.

Подобная оговорка в устах человека, всегда тщательно следившего за точностью выражений, не может объясняться простой небрежностью. Август понимал, как важно для него придать Риму величественный вид. Мраморные декорации были

необходимы для героической пьесы, в которой все актеры, и в первую очередь он сам, выступали в торжественных нарядах, скрывавших скромный примитив реальности. Впрочем, когда в 64 году н. э., во время правления Нерона, в Риме вспыхнул пожар, этот «мраморный» город «стал легкой добычей огня, бушевавшего на узких извилистых улочках, вкривь и вкось застроенных домами»^[287]. Август действительно придал Риму монументальный вид, но он и не прикоснулся к жилым кварталам, беспорядочностью своей застройки обязанным, как считалось, торопливости, с какой город восстанавливался после страшного пожара, учиненного галлами в 385 году до н. э.

Что же двигало Августом — стремление приукрасить истинное значение своего правления или честное осознание того, что он больше заботился о соблюдении внешних атрибутов, чем о структурной прочности возведенного им здания? Трудно сказать. И даже если вслед за Дионом Кассием мы попытаемся истолковать его заявление в переносном смысле, все равно оно будет означать, что Август в первую очередь думал о внешней устойчивости империи. Впрочем, разве мраморное сооружение прочнее кирпичного? И Дион Кассий, упоминая, что Август отпустил это замечание про мрамор и кирпич как раз перед тем, как пошутить на тему театра жизни, заставляет нас серьезно усомниться в том, что принцепс еще питал какие-то иллюзии по поводу реальных результатов своих свершений. Может быть, он просто надеялся, что, сотворив очередную иллюзию, сумеет убедить потомков в ее реальности?

Образ принцепса, довлевший над новым Римом, не менее широко распространился и по просторам империи. И Запад, и Восток, раз увидев Августа, уж не могли его забыть, — такими многочисленными были статуи, представлявшие его в полном блеске стати и красоты, и

жертвенники, и монеты, и надписи. Каждый эдикт имперского или местного значения содержал полное перечисление его титулов, достойных высокого почитания. Население провинций очень рано, с 26–25 годов охотно признало в нем полубога, если не просто бога. В провинции Азия, например, по предложению проконсула Павла Максима Фабия с 10—9 года отсчет нового года начали вести со дня рождения Августа. Но даже более сдержанные в этом отношении жители Италии понемногу стали смешивать культ его гения с культом богини Ромы. Это явление достигло даже Рима, где Августа отныне славили на каждом перекрестке.

Одним словом, Август стал вездесущ. Дошло до того, что папирус наивысшего качества, прежде именовавшийся иератическим, то есть священным, переименовали в «август», тогда как папирус качеством чуть похуже, но все-таки хороший, называли «ливией»^[288]. Что ж, империя чтит священный облик своего принцепса, и не удивительно, что писать о вещах священных она теперь предпочитала на «августе».

Завоевание времени

Подчинив себе пространство, занимаемое городом и империей, Август не забыл овладеть и второй важнейшей составляющей бытия — временем. Составление календаря издавна считалось прерогативой коллегии понтификов. Заняв должность верховного понтифика, Август наконец-то мог ощутить себя властелином времени, впрочем, времени, которое Юлий Цезарь привел в соответствие с астрономическим. Теперь функция понтификов сводилась к тому, чтобы отслеживать возможные расхождения между ритмом, в котором жил город, и космическим циклом. Вначале они допустили ошибку в расчетах и объявили високосным каждый третий, а не каждый четвертый год. Это выяснилось через 36 лет после смерти Цезаря, и в 8 году до н. э. Август издал эдикт, согласно которому на протяжении следующих 12 лет ни одного високосного года в календарь не включалось. «Убедившись в надежности системы, он приказал выбить календарь на бронзовых таблицах». Тем самым он выступил наследником своего божественного отца и увековечил реформу.

В древности год начинался в марте, и только четыре первых и два последних месяца имели собственные наименования (март, апрель и т. д.). Месяцы, оказавшиеся между ними, обозначались просто порядковым номером в календаре^[289]. Юлий Цезарь первым удостоился чести дать свое имя месяцу года, и тогда пятый месяц древнего года перестал быть «квинтилием» и стал «юлием» — нашим июлем. Такой же почести добился и Август, и начиная все с того же 8 года до н. э. шестой месяц года из «секстилия» превратился в август. Август предпочел его сентябрю, в

котором родился, потому что именно в секстилии он впервые был избран консулом и в секстилии же одержал свои самые громкие победы. Так что именно этот месяц претендовал на право самого благополучного в истории империи^[290].

Тогда же было решено, что цирковые зрелища, впервые устроенные в 13 году, по его возвращении из западных провинций, отныне будут проводиться регулярно, дабы лишний раз напомнить римлянам, какими опасностями чревата жизнь в отсутствие принцепса и как славно, когда он дома, рядом с ними.

Но еще до того, как Август занял собой целый месяц, он вполне успешно внедрил в старинный римский календарь немалое число дат, связанных со знаменательными событиями его собственной жизни и жизни его родственников. Эти дни стали отмечаться как праздничные, в некоторые из них запрещалось заниматься делами, в другие — напротив, рекомендовалось. В своей поэме, посвященной календарю, Овидий пишет:

Здесь ты увидишь и то, что извлек я из древних сказаний,
Здесь ты прочтешь и о том, чем каждый день знаменит.
Здесь ты преданья найдешь о домашних праздниках ваших,
Часто прочтешь об отце, часто о деде своем.
Лавры, которых они в расписных удостоены фастах,
Также получишь и сам с Другом ты, братом своим^[291].

Действительно, если проанализировать все сведения о римском календаре, дошедшие до нас, окажется, что

римский год представлял собой краткую биографию принцепса. С его именем было связано примерно 50 дней в году. Первую веку встречаем 7 января:

«В консульство Гиртия и Пансы император Цезарь Август впервые получил фасции. День воздаяния благодарений вечному Юпитеру».

Еще 10 январских дней связаны с той или иной знаменательной датой. Это и день рождения Ливии (30 января 58 г.), который начал отмечаться с 9 года, одновременно с открытием Алтаря мира, и день рождения Антония (14 января). По решению сената этот день считался нечистым. Это и дата освящения храма Согласия (16 января 10 г. до н. э.), и памятный день 27 года, когда Цезарь Октавиан взял себе имя Августа, и дата закрытия храма Януса (11 января), и прочие события того же рода.

В секстилии, позже превращенном в август, также хватало знаменательных дат. Например, первое число месяца календари характеризуют так:

«День подчинения Египта власти римского народа. Поклонение Деве Победы на Палатине. Поклонение Надежде на площади Герба. Праздничный день в честь принятия сенатус-консультума, потому что в этот день император Цезарь Август спас республику от смертельной опасности».

Дни 13, 14 и 15 секстилия напоминали о триумфах 29 года; 19 секстилия — о первом консульстве Августа, полученном в 43 году, а впоследствии — о дне его смерти. Тогда 19 секстилия стало «черным днем календаря». Таким образом, если прогулка по Риму могла быть приравнена к экскурсу в жизнь Августа, то просмотр римского календаря превращался в перечитывание бесконечной книги о нем же.

Но Август не просто сумел войти в повседневную жизнь горожан, он замахнулся на владение временем как универсальной категорией. В отличие от

большинства античных философов, поддерживавших концепцию циклического времени, Вергилий предложил современникам, в том числе и Августу, несколько иной взгляд на категорию времени, в котором идея вечного возврата в одну и ту же точку оказалась несколько смазанной. Разумеется, золотой век вернется, но благодаря Августу отныне он воцарится навсегда, предрекал Вергилий. Здесь мы встречаем мотив утраченного рая, характерный для многих культур, и аналогичный ему сюжет о потерянном и вновь обретенном предмете, давший основу многим мифам, вспомним, например, миф о Эросе и Психее. В изложении Вергилия римская история выглядит чередой суровых испытаний, через которые надо пройти, чтобы вновь обрести счастье доисторических времен. Август в череде героев стоит последним, он как бы завершает цикл. Да, ему предстоит преодолеть жестокие испытания, но эти испытания будут последними в истории. Следовательно, речь идет не о циклической, а о повторяющейся модели времени, которую легче всего сравнить с театральной репетицией. Таким образом, в историческом времени Август являет собой завершающий виток спирали, по которой идет развитие событий.

Реставрация прошлого

Миссия, выпавшая на долю Августа, казалась ясной: покончив с последними испытаниями гражданских войн, заняться восстановлением золотого века. Впрочем, поэты, начиная с Гесиода, снедаемые тоской по золотому веку, всегда видели в нем лишь некий идеализированный образ. В отличие от них Август, прочно стоявший на земле, под золотым веком понимал прежде всего то реальное историческое время, когда республика олицетворяла силу и добродетель. На протяжении последнего столетия языческой эры деятели науки и культуры не переставали твердить, что Рим гибнет, и причина его гибели — в измене себе самому. Чтобы спасти Рим, говорили они, ему необходимо вернуть его сущность. Поиски путей спасения шли во всех направлениях, и лучшие умы не жалели усилий, чтобы разобраться в римской истории, понять смысл древних римских институтов, старинных религиозных обрядов и дошедших из глубины веков законов. Римской душой овладел жар познания. Ярким примером его проявления стал энциклопедический труд, изданный Варроном. Конечно, Древний Рим, встающий со страниц его сочинения, больше напоминает умозрительную конструкцию, нежели объективный и точный снимок. Но разве это имело значение? Усилиями Варрона и других деятелей римляне получили образец, с которым могли сравнить свою жизнь, понять, что она далека от идеала, и убедиться, что разрыв между тем и другим огромен.

Август поставил своей целью возродить Древний Рим, вернуть ему утраченную добродетель и оживить обряды предков, когда-то спаявшие римлян в единый народ. Именно эту идею он положил в основу своей

политики, но для него она имела еще и немалое личное значение. Такие пороки, как любовь к роскоши и безнравственность, в основном охватили Рим, тогда как остальная часть Италии еще сохраняла верность традициям, а населявшие ее «буржуа» отнюдь не разделяли владевшей римской аристократией страсти к излишествам. Но ведь и сам Август, как мы знаем, происходил из провинциальной, зажиточной, но отнюдь не аристократической семьи. Мы видели, с какой решимостью он поставил собственный дом на патриархальную ногу, требуя от жены и дочери своими руками ткать материю для его тоги. Мы убедились в простоте его вкусов, постоянство которых, демонстрируемое на протяжении всей жизни, доказывает, что в данном случае он, скорее всего, вел себя искренне, а не ломал комедию.

Собственные склонности и политические устремления подвигли его на попытку восстановить патриархальную мораль, основы которой он заложил в 18 году с помощью законов о браке и супружеской измене, и религию предков, которую он начал защищать еще раньше, в 31 году, объявив войну Клеопатре. Революционер, окончательно «добивший» республику, он открыто провозгласил восстановление ценностей этой самой республики. Этот кажущийся парадокс на самом деле служит свидетельством его политического таланта, поскольку взятый им курс, полностью отвечавший, напомним, его личным убеждениям, доказал свою бесспорную эффективность. И действительно, он нуждался в ценностях прошлого, чтобы на их фундаменте установить новый порядок. Современники прекрасно понимали его устремления, не видя в них ни малейших противоречий, хотя далеко не все поддерживали его. Особенно недовольство проявляла молодежь, не пережившая на личном опыте ужасов гражданской войны, а потому отнюдь не

настроенная мириться с чем угодно, лишь бы избежать ее повторения.

Мы не станем здесь подробно останавливаться на укреплении религиозных институтов, сыгравшем такую значительную роль в обожествлении Августа. Огромное число восстановленных им храмов и извлеченных из забвения священных обрядов говорит лишь о том, что главные инициаторы гражданских войн, продолжавшие традиционно искать покровительства богов, почти совсем не уделяли внимания официальной религии. Мы уже показали, с каким мастерством Август проводил религиозную политику, что позволило ему не только заслужить репутацию правителя, озабоченного реставрацией ценностей прошлого, но и заложить основу своего посмертного обожествления.

Отношение к официальным институтам

Точно так же вел себя Август и по отношению к официальным институтам: при внешнем к ним уважении он лишил их существование всякого смысла. Он старался поднять престиж сената и оказывал сенаторам внешние признаки почтительности. Так, по его инициативе каждые полгода путем жеребьевки набирались специальные сенаторские комиции, с которыми он консультировался по некоторым вопросам внешней и внутренней политики, прежде чем вынести их на обсуждение всего сената. Тем не менее формированием сената занимался он сам, он же не раз проводил в рядах сенаторов «чистки». Во время заседаний, если он и обращался к сенаторам за советом, то руководствовался при этом не уважением к традиционным правилам, а собственной прихотью: «словно затем, чтобы каждый был наготове и решал бы сам, а не присоединялся бы к мнению других» (Светоний, XXXV, 4). Как мы видим, Светоний по-своему истолковывает манеру поведения Августа, которая нам кажется больше похожей на стремление учителя постоянно держать аудиторию в напряжении, не давая ей расслабиться.

Август и в самом деле держал себя с сенаторами как учитель с учениками. Он предпринял ряд мер, направленных на поддержание в них должного прилежания, и строго регламентировал частоту заседаний. Особым эдиктом он предписал вновь избранным сенаторам, чьи кандидатуры он лично утверждал, перед заседанием приносить жертву вином и ладаном на алтарь того бога, в храме которого происходило собрание, чтобы они «несли свои

обязанности с большим благоговением». Это означает, что усердие сенаторов оставляло желать лучшего, что неудивительно: лишенные какой бы то ни было реальной инициативы, многие из них старались увильнуть от необходимости присутствия на собрании. От Августа требовалась немалая ловкость, чтобы, ни в грош не ставя мнение сенаторов, делать вид, что он относится к ним с уважительным почтением. С его точки зрения, сенаторов следовало постоянно опекать, иначе ни один из них не справился бы с возложенной на него ответственной ролью.

Впавший в детство сенат утратил доступ к рычагам реальной власти, когда потерял контроль над армией и чеканкой монеты. Даже разделение власти, законодательно утвержденное в 23 году, на практике не соблюдалось. Документы, найденные в Кирене, которая входила в senatorскую провинцию, подтверждают это. Вот что говорится в одном из них:

«Император Цезарь Август, верховный понтифик, в семнадцатый раз облеченный властью трибуна, повелевает: «Жителям провинции Киренаики, получившим права гражданства, предписывается не уклоняться от участия в священных обрядах эллинского культа...»

Тон эдикта говорит сам за себя: авторитет Августа безоговорочно признавался даже в провинции, официально управляемой сенатом.

Ограничив полномочия сената, Август в то же время заложил основы новой администрации, поделив ответственные должности между сенаторами и всадниками, которые впоследствии оформились в высокопоставленную чиновничью прослойку. Но именно принципс, от которого напрямую зависело, примет ли карьера того или иного политика стремительный ход или зайдет в тупик, брал на себя все принципиальные

решения, опираясь на сенаторские комиции, но главным образом на узкий круг близких друзей.

Перечисление реформ, предпринятых Августом в сфере политики и управления Римом, Италией и империей, заняло бы здесь слишком много места. Отметим главное: все они были нацелены на упорядочение того, что до той поры пребывало в хаосе, все осуществлялись с опорой на постоянно действующий «аппарат», работавший под неукоснительным контролем вездесущего принцепса.

Очертив рамки деятельности двух высших сословий, Август обратил взор на реорганизацию и еще одной политической силы, именуемой Народом и требовавшей сдерживания. С этой силой он справился теми же методами, что применил и к сенаторам: лишил Народ юридических полномочий, оставив за ним формальное право избирать магистратов. Поэтому народные собрания по-прежнему имели место, и даже сам принцепс принимал участие в голосовании как обычный гражданин. Однако реальной власти у народного собрания не осталось, поскольку принцепс вначале утвердил свое право предлагать угодных себе кандидатов и, напротив, вычеркивать из избирательных списков негодных, а затем, после 5 года н. э. и вовсе ввел практику «назначений», которая заключалась в том, что он просто представлял список кандидатур, подлежащих голосованию.

Август не отказался от принятой во времена республики практики раздачи населению денежных сумм и организации зрелищ, веком позже заслужившей суровое осуждение Ювенала. Он, конечно, понимал, что этот обычай развращающе действует на людей, лишая их жизненной энергии, и, не в силах поломать его, старался проявить максимум придирчивой строгости, выступая в роли отца, выдающего отпрыскам карманные деньги. Так, однажды, когда народ требовал обещанной

выдачи, он ответил: «Я свое слово держу». В другой раз, когда плебс настаивал на выдаче, хотя принцепс ничего не обещал, он издал особый эдикт, в котором заявил: «Не дам ничего, хотя и собирался». Когда же жители города стали жаловаться на недостаток и дороговизну вина, он высокомерно бросил: «Мой зять Агриппа построил довольно водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды» (Светоний, XLII).

Эти анекдоты служат яркой иллюстрацией как отношения Августа к народу, так и менталитета последнего. Август сожалел, что народ деградирует, но при установленном им режиме, лишившем людей какой бы то ни было ответственности за свои поступки, эта деградация только усиливалась. Ему хотелось бы, чтобы народ, попавший в рабскую зависимость от подачек власти, в то же время проявлял величие, когда-то выражавшееся формулой «Сенат и римский Народ» и определявшей его политическую волю. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах, он негодующим жестом велел им убраться прочь и процитировал вслух стих Вергилия: «Вот они, Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу!» («Энеида», I, 282). После этого он запретил кому бы то ни было появляться на Форуме и близ него без традиционной тоги (Светоний, XL).

Но тщетными оставались его попытки вернуть былое достоинство народу, готовому на любую низость ради подачки и научившемуся хитрить с принцепсом. Так случилось в день, когда в преддверии обещанной выдачи многие римляне отпустили на волю своих рабов и внесли их в списки граждан, надеясь таким образом урвать куш побольше. Принцепс прознал про этот трюк и уменьшил размер выдачи «на душу» (Светоний, XLII), но, вынужденный пойти на этот шаг, не мог тем самым не признать полного провала своей политики.

В отношении зрелищ он также старался соблюдать заложенные в республиканские времена традиции. Мало того, при Августе число устраиваемых зрелищ и их пышность достигли небывалого размаха. Он сам составил перечень развлечений, которыми ублажал народ за годы своего правления:

«Трижды я устраивал гладиаторские бои от своего имени и пять раз — от имени своих сыновей или внуков; в этих боях сражались около десяти тысяч человек. Дважды от своего имени и в третий раз — от имени своего внука — я показал народу состязание атлетов, которых собрали со всего мира. Четырежды от своего имени и 18 раз от имени других магистратов я устраивал игры. В консульство Гая Фурния и Гая Силана (17 г. до н. э.) я как глава коллегии пятнадцати провел Столетние игры. Помогал мне в этом Марк Агриппа. В год своего 13-го консульства я впервые справил игры в честь Марса. Либо от своего имени, либо от имени своих детей и внуков я 26 раз устраивал в цирке, на форуме или в амфитеатре звериную травлю, во время которой было убито примерно три с половиной тысячи африканских зверей»^[292].

Десять тысяч человек, три с половиной тысячи зверей... Масштаб цифр дает нам ясное представление о том, с каким размахом проходили зрелища. Они собирали огромные толпы народа, так что Августу приходилось на время их проведения значительно усиливать городскую охрану, чтобы предохранить от грабежей опустевшие дома. Он старался также показывать народу всякие диковины, например, молодого карликалийца, ростом едва достигавшего 60 сантиметров, весившего меньше шести килограммов и при этом обладавшего громовым голосом, или носорога, или змею длиной 22 метра (Светоний, XLIII).

Ни в коем случае не мог он допустить, чтобы в местах проведения зрелищ начались беспорядки.

Напротив, он мечтал превратить их в зеркало идеально выстроенного общества, где каждый занимает свою ячейку, определенную строгой иерархией. В театре, цирке или амфитеатре публика рассаживалась по определенному ранжиру. Снова обратимся к рассказу Светония:

«...И было постановлено сенатом, чтобы на всяких общественных зрелищах первый ряд сидений всегда оставался свободным для сенаторов. Послам свободных и союзных народов он запретил садиться в оркестре, так как обнаружил, что среди них бывали и вольноотпущенники. Солдат он отделил от граждан. Среди простого народа он отвел особые места для людей женатых, отдельный клин — для несовершеннолетних и соседний — для их наставников, а на средних местах воспретил сидеть одетым в темные плащи. Женщинам он даже на гладиаторские бои не позволял смотреть иначе как с самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только девственным весталкам он предоставил в театре отдельное место напротив преторского кресла. С атлетических же состязаний^[293] он удалил женщин совершенно: и когда на понтификальных играх народ потребовал вывести пару кулачных бойцов, он отложил это на утро следующего дня, сделав объявление, чтобы женщины не появлялись в театре раньше пятого часа» (Светоний, XLIV).

В этой системе запретов, относящихся к поведению во время зрелищ, выразилась вся социальная политика Августа и вся насаждаемая им мораль. Если мы еще вспомним, что в театре сенаторы всегда садились в оркестре, а всадники занимали 14 следующих рядов, то нашему взору предстанет картина строго разделенного общества, в котором каждому в зависимости от общественного положения, возраста, половой принадлежности, заслуг, семейного положения, манеры

одеваться и умения держать себя отводилось свое определенное место. В театре или цирке можно было воочию увидеть, что такое общественное согласие, и наслаждаться им в такой же мере, как и самим зрелищем.

Развлекаться следует не теряя достоинства, проповедовал Август и первый показывал тому пример. В Большом цирке он с семьей всегда занимал особую ложу, по случаю празднества украшаемую статуями богов. Иногда он смотрел представление отсюда, иногда предпочитал устроиться в одном из домов, расположенных рядом с цирком и принадлежавших кому-нибудь из его друзей или отпущенников. Если он уходил с представления до его окончания, непременно просил его извинить, если же оставался, наблюдал за действием очень внимательно. Он хорошо помнил, какое раздражение вызывала в горожанах привычка Юлия Цезаря во время представления читать или писать письма. Впрочем, ему не приходилось себя принуждать, потому что, по собственному его признанию, он любил смотреть на игры, особенно на состязания борцов (Светоний, XLV). Даже болезнь не мешала ему присутствовать на играх — в этих случаях он просто смотрел на происходящее лежа в носилках.

Но никакие усилия Августа насадить мораль не могли иметь успеха в обществе, которое эту мораль отвергало. Известно, что актеры всегда считались в Риме низким сословием и не пользовались гражданскими правами. Август, хоть и не сделал их гражданами, все же заметно смягчил законы, регламентирующие отношение к актерам. Некоторые из них, пользуясь популярностью не меньшей, чем у нынешних кинозвезд, порой позволяли себе забыться. Так, некоему Стефаниону прислуживала за столом матрона, остриженная под мальчика. Август сурово наказал Стефаниона, приказав высечь его во всех трех

римских театрах. Но никакая порка не могла заставить горожан забыть, что римская матрона не только согласилась на позорное переодевание, но и впала перед актером в добровольное рабство.

Даже высшее общество насмеялось над устаревшей моралью и не желало видеть в былых доблестях мерило ценностей. Очень скоро Август убедился, что идеалы мужества подверглись необратимому разрушению. Однажды Азиний Поллион обратился в сенат с жалобой на то, что его внук Эзернин во время Троянских игр упал и сломал себе ногу. Август очень дорожил этой старинной забавой, позволявшей мальчикам из лучших семейств блеснуть ловкостью и сноровкой, но после случая с внуком Поллиона ему под давлением сенаторов пришлось отменить эти игры. За несколько лет до этого произошел еще один подобный случай. Другой мальчик, по имени Ноний Аспренат, тоже получил во время игр травму, и Август в качестве утешения подарил ему золотой ошейник и повелел ему и его потомкам впредь именоваться Торкватами. Прозвище Торкватов (от латинского *torques* — ошейник) издавна носило известнейшее в Риме семейство Манлиев, обязанное им одному из своих далеких предков, который в поединке сумел сорвать с галльского воина его ошейник. Поистине, заслуга юного Нония Аспрената по сравнению с этим древним подвигом выглядела смехотворной. Как ни старался Август, ему так и не удалось возродить былую римскую славу, — может быть, по той простой причине, что эта слава существовала лишь в виде поучительных легенд, а современный ему Рим решительно отказывался выслушивать чьи бы то ни было поучения...

Если коротко суммировать все сказанное, то придется признать: дело Августа свелось в основном к тому, что он умело прикрыл мрамором иллюзий суровые кирпичи реальной жизни.

Военное могущество

Но с особым тщанием Август следил, чтобы не выплыла наружу самая основа его власти, состоявшая в военном могуществе, о грозной силе легионов ни на миг не забывал ни один из его подданных. К концу жизни принцепса безопасность империи обеспечивали 25 легионов, численность которых вместе с конными соединениями составляла 150 тысяч человек. Все они подчинялись своим военачальникам, а через них — непосредственно Августу. Это была профессиональная армия, формируемая на добровольной основе и главным образом из граждан. Но добровольцев под военные знамена толкал отнюдь не патриотизм, а прежде всего соображения материальной выгоды. Поэтому Августу, мечтавшему о воссоздании старой армии Древнего Рима, с доблестью пронесшей по миру римское право и римскую культуру, за отсутствием патриотического порыва пришлось завести в войсках суровую дисциплину. Примерно равную по численности личного состава силу представляли вспомогательные войска, набираемые из населения провинций, не имевшего гражданских прав.

В самой Италии ни легионы, ни вспомогательные корпуса никогда не стояли. Однако Август позаботился о создании почетной гвардии, в которую вошли бывшие республиканские военачальники, а также особой «преторианской» гвардии, насчитывавшей 4500 воинов, поделенных на девять когорт и усиленных конными отрядами. Эти формирования подчинялись двум командирам, именуемым «префектами претории». Август всячески старался затушевать революционный характер своих военных преобразований: в Риме по его приказу были расквартированы только три когорты,

причем не в казарме, а на частных квартирах, по несколько человек на квартире, а остальные размещались в казармах, выстроенных в близлежащих городах. Он не случайно ограничил число когорт девятью. Дело в том, что обычный легион состоял из десяти когорт, а Август ни в коем случае не хотел допустить разговоров о том, что он держит в Италии легион. Но разве могли эти предосторожности обмануть хоть кого-нибудь? Каждый житель Рима прекрасно понимал, что, случись в городе волнения, преторианские когорты немедленно вмешаются и подавят их в зародыше.

Преторианцы в любую минуту были готовы прийти на помощь воинам четырех городских когорт, набираемых из римских граждан и призванных следить за общественным порядком. Они подчинялись так называемому городскому префекту. Военную службу несли в городе также семь когорт караульщиков, которые набирались из рабов и вольноотпущенников. Под командованием префекта ночной стражи они следили за пожарной безопасностью и обеспечивали порядок на ночных улицах. Таким образом город оберегал свой покой от всевозможных неприятностей, какими чревато скопление в одном месте почти миллиона человек: и от огненной стихии, и от собственных страстей.

Наконец, за личной безопасностью принцепса следила особая охрана, состоявшая из 500 воинов-германцев, по преимуществу батавов, — своего рода прообраз королевской швейцарской гвардии во Франции старого режима или наполеоновских мамелюков.

Как ни тщился принцепс мира скрыть сущность своей власти, каждому было очевидно: он создал военный режим. Впрочем, так ли уж он это скрывал? Установленный им мир нуждался в строгом надзоре, и никакая иллюзия мягкости не могла поколебать

всеобщей уверенности в том, что страной правит твердая рука, способная пресечь любую попытку нарушить устоявшийся порядок.

Вот такое наследство и получил Тиберий. Теперь ему предстояло доказать армии и сенату свое право распоряжаться им.

ЭПИЛОГ ПЬЕСЫ

Сразу после кончины Августа Тиберий. обратился с воззванием к легионам. Первыми клятву верности ему принесли преторианские когорты. Вскоре их примеру последовали консулы, префект претории и префект продовольственного снабжения. Оставалось заручиться поддержкой сената.

Для этого прежде всего следовало вернуться в Рим. Туда же с частыми остановками, по ночам — из-за жары — везли тело Августа. В Бовиллах — на родине Юлиев — печальную заботу об останках принцепса взяли на себя римские всадники, которые и доставили их в Рим. Тело поместили в вестибule его собственного дома.

На следующий день, 4 сентября, Тиберий, пользуясь своим правом трибуна, собрал заседание сената. На повестке дня стоял единственный вопрос — о погребении Августа. Весталки вручили собранию хранившееся у них завещание. Оно представляло собой две тетради, заполненные частично рукой Августа, частично — двумя из его отпущенников, и три или четыре запечатанных свитка. Вольноотпущенник Августа зачитал завещание^[294]. Главными наследниками принцепс объявлял Тиберия и Ливию, которую он посмертно удочерил с тем, чтобы отныне она именовалась Юлией Августой. Затем упоминались кровный сын Тиберия Друз и его приемный сын Германик, родственники и друзья и следовали распоряжения о подарках народу, преторианцам, воинам городских когорт и легионерам. Далее излагалось подтверждение запрета хоронить обеих Юлий в мавзолее Августа (Светоний, СI). Исполнителем завещания назначался муж Антонию Старшей Домиций Агенобарб^[295].

Под предлогом волнения Тиберий препоручил зачитать свитки своему сыну Друзу. В первом из них содержался рассказ о свершениях Августа — «Деяния», которые впоследствии согласно завещанию были выгравированы на бронзовых таблицах; во втором — отчет о состоянии дел в империи; в третьем — описание похоронной церемонии^[296].

Сенаторы наперебой сыпали предложениями о том, как с достойным размахом почтить память усопшего принцепса. Тиберий несколько охладил их пыл. В числе отвергнутых им предложений фигурировала, в частности, идея именовать промежуток между рождением и смертью принцепса «веком Августа» — будущее, как мы знаем, согласилось не с Тиберием, а с выдвинувшим ее сенатором.

«Затем двинулся погребальный кортеж. На ложе из слоновой кости и золота, украшенном златотканым пурпуром, возлежала восковая фигура покойного, одетая в триумфальную тогу. Само тело помещалось в гробу, установленном снизу ложа. С Палатина фигуру принцепса вынесли недавно назначенные магистраты; вторую его фигуру, отлитую из золота, вынесли из здания курии; третью с помпой везли на колеснице. Следом несли изображения предков и умерших родственников Августа (кроме Юлия Цезаря, который был причислен к сонму богов), а также знаменитых римлян, начиная с Ромула. Среди них видели даже фигуру Помпея Великого. Каждый из народов, присоединенных Августом к империи, был представлен какой-нибудь фигурой, одетой в туземный наряд»^[297].

Так воля Августа вызвала из описанной Вергилием преисподней тени великих людей прошлого, которые, шествуя фантастическим парадом перед глазами римлян, напоминали им о военных и гражданских подвигах, совершенных за всю долгую историю государства. Почести, воздаваемые в равной мере

представителям обоих высших сословий, наглядно свидетельствовали о гражданском согласии, которое установилось в обществе благодаря усопшему принцепсу. Участие в шествии завоеванных народов, напоминая о могуществе и прочности империи, превращало похоронную процессию в своего рода триумф.

Август сам детально проработал всю организацию траурного церемониала, так что все его участники лишь послушно исполняли его точные указания. Зрелище, которое они разыгрывали, уже мало походило на комедию, скорее оно напоминало финал одной из пьес Невия — поэта, прославлявшего память великих героев прошлого, повествуя об их славных подвигах и устраивая на сцене настоящие триумфальные шествия. Первым подобной чести удостоился Марк Клавдий Марцелл, в 222 году до н. э. разбивший при Кластидии, что в Цизальпинской Галлии, галльскую армию. Впрочем, изображение Марцелла — далекого предка юного Марцелла, едва мелькнувшего на сцене принципата, также участвовало в параде, венчающем земной путь Августа. Как и на страницах «Энеиды», древний Марцелл «шествовал» в почетном кортеже рука об руку с молодым Марцеллом, которому принцепс мечтал верить империю.

Траурное ложе установили на Форуме. Поднявшись на ростры — этот атрибут республики, Друз произнес похвальное слово усопшему, поведав о том, каким был принцепс в частной жизни и как он относился к своим близким. Еще одно похвальное слово произнес Тиберий, выступивший перед храмом Юлия Цезаря. Он посвятил свою речь — практически слепок с «Деяний» — карьере Августа и его качествам политика. Дион Кассий приводит свою реконструкцию этой речи, выдержанную в форме обращения к Народу:

«Вот почему вы оказались правы, назвав его своим правителем и отцом, вот почему вы отметили его таким множеством почетных званий и многократно избирали его консулом, вот почему вы в конце концов объявили его бессмертным и причислили к сонму богов. Отныне вы больше не должны его оплакивать, но, возвращая его тело Природе, должны восславить его душу, его бессмертную божественную душу»^[298].

Затем погребальное ложе двинулось в путь к Марсову полю, где высился погребальный костер. По обе стороны от носилок шли жрецы, за ними шагали всадники. Воины-преторианцы в парадном облачении обежали вокруг костра, после чего центурионы поднесли к нему горящие факелы.

Замерев в благоговейном молчании, толпа смотрела, как языки пламени начинали лизать сложенную из дров конструкцию и вскоре добрались до парадного ложа. От едкого дыма слезились глаза, и при желании эти слезы можно было принять за выражение горя.

Некто Нумерий Аттик, сенатор, в этот момент бросил взгляд в небеса. Позже он клятвенно заверял, что своими глазами видел, как из костра взлетел орел. Он и унес на небо душу Августа. В свое время, когда хоронили Ромула и Юлия Цезаря, не менее надежные свидетели клялись, что видели то же самое.

Но вот костер догорел, и публика понемногу разошлась. Возле пепелища остались только Ливия и несколько наиболее именитых всадников. Они не уходили отсюда в течение пяти дней, возможно, ночуя в походных палатках. По прошествии этого срока Ливия собрала остывший пепел и в сопровождении всадников, босых и одетых в тунику без пояса, перенесла его в мавзолей^[299].

Свидетельство Нумерия Аттика лишь укрепило сенат в решимости причислить Августа к сонму бессмертных богов, а Ливия стала жрицей нового культа, не забыв

отблагодарить зоркость очевидца миллионом сестерциев. Пока шла постройка храма новому божеству, золотую статую Августа установили в храме Марса Мстителя^[300].

Воздав божественные почести праху Августа, сенат вплотную занялся решением вопроса о наследовании власти. Вопреки всеобщему ожиданию Тиберий вовсе не спешил заявить о своих правах — то ли из страха перед огромной ответственностью, то ли из стремления восстановить республику, то ли просто из лицемерия. Скорее всего, в его колебаниях сыграли роль все три фактора. Римский аристократ с вековой родословной, республиканец по семейной традиции и воин по призванию, он, конечно, прекрасно понимал, сколь мало в нем сходства с провинциальным «буржуа», замаскированным монархом и изощренным политиком, преемником которого ему предстояло стать. Вполне вероятно, что он сомневался в своих способностях соответствовать этой роли. Но сенаторы проявили твердость и, отмахнувшись от терзающих душу Тиберия сомнений, уговорили его принять наследие божественного отца. Этот шаг означал установление принципата, а личная судьба Августа отныне обретала универсальное значение.

Рим горячо обсуждал последние события. Одни соглашались, что к участию в гражданских войнах Августа вынудили долг сыновней почтительности и желание спасти государство, другие утверждали, что эти мотивы послужили ему лишь удобным предлогом, позволившим дать волю жестокости и утолить честолюбие^[301]. В целом уже современники заложили основу той двойственности в понимании личности принцепса, которую впоследствии подхватили и их потомки. Но все-таки взгляду современников не хватало перспективы, необходимой, чтобы понять, что у них на глазах закончил свое бытие обыкновенный человек,

добившийся власти на волне мести за отца и взваливший на свои плечи едва ли осуществимую миссию, которую ценой невероятного упорства он все-таки осуществил, посвятив этому всю жизнь.

Август упрямо отстаивал идею гражданского и семейного согласия. Расписывая организацию собственных похорон, он не забыл еще раз напомнить о должном распределении ролей между представителями двух высших государственных сословий. На сенаторах лежала обязанность довести до всеобщего сведения его последнюю волю, тогда как всадники принимали деятельное участие в проведении обряда. Эта схема политического согласия пережила Августа, что же касается семейного согласия, которое и при жизни принцепса оставалось проблематичным, то после его смерти оно нарушилось окончательно.

Некоторое время казалось, что Тиберий и Ливия превосходно ладят друг с другом. Обращаясь к Тиберию с письмами, его адресаты обращались и к Ливии; подпись Ливии стояла и на письмах, написанных Тиберием. Но постепенно Ливия взяла привычку без конца напоминать сыну, что именно ей он обязан своим возвышением, и стала требовать для себя власти, немыслимой для женщины. Сенаторы, стараясь то ли подольститься к Ливии, то ли насолить Тиберию, предложили ему именоваться «сыном Ливии», от чего он решительно отказался. Не менее решительно он воспротивился тому, чтобы Ливии присвоили вновь изобретенное почетное звание «матери Отечества». Отношения между ними становились все более прохладными, и, когда Тиберий внезапно уехал из Рима, никто не сомневался, что он сделал это в том числе и из-за беспрестанных раздоров с матерью^[302]. Когда Ливия заболела, он не приехал ее навестить, а когда она умерла, не позволил сенату оказать ей особые почести. Обожествление Ливии^[303] состоялось уже в годы

правления Клавдия, который настоял на нем, повинуюсь долгу сыновней почтительности.

Несмотря на многие смерти, изгнание дочери Юлии, внучки Юлии Младшей и внука Агриппы Постума, семейство Августа все еще оставалось многочисленным. Среди прямой его родни числились Агриппина, жена Германика, имевшая от него троих детей: Нерона Цезаря, Друза Цезаря и Гая Цезаря — будущего Калигулу, соответственно, в возрасте 8, 7 и 2 лет, и потомство внучки Юлии Младшей, внук которой Марк Силан родился в самый год смерти Августа^[304].

Благодаря замужеству Агриппина вошла в фамилию Клавдиев^[305], представленную Тиберием и его сыном Друзом Младшим, жена которого, Ливилла, бывшая невеста «принцепса молодежи» Гая, а ныне мать новорожденной дочери, приходилась ей двоюродной сестрой. Клавдиев представляла и Антония Младшая, вдова Друза Старшего, от которого у нее осталось трое детей — уже упоминавшийся Германик, будущий император Клавдий и Ливилла, супруга молодого Друза. Это были ближайшие потомки, но кроме них оставались еще Антония Старшая с семейством, обе Марцеллы и множество более отдаленных родственников.

Таким образом, к 14 году в живых оставалось еще немало прямых потомков Августа. Но судьба, казалось, поставила своей целью стереть их с лица земли — во всяком случае, после смерти принцепса на их семьи несчастье обрушивалось за несчастьем с пугающей неотвратимостью. В 14 году не стало Юлии и Агриппы Постума. Внук Августа был казнен сразу после кончины деда, а его дочь, покинутая бывшим мужем Тиберием, умерла от голода и нищеты.

Смерть Агриппы до сих пор окутана завесой тайны. Юридически его вообще больше не существовало, так кому же понадобилось его убивать? Когда Тиберию сообщили о его гибели, он поспешил заявить, что не

имеет к ней никакого отношения, и даже потребовал, чтобы расследованием этого дела занялся сенат. Разумеется, античные историки серьезно сомневались в его непричастности к убийству, возможно, подозревая, что Агриппу «убрали» по приказу Ливии или Саллюстия Криспа — ближайшего советника Августа. Кое-кто даже предполагал, что сам Август распорядился, как только его не станет, расправиться с внуком. Другие возражали: Август сурово карал непокорных детей и внуков, отправляя их в изгнание, но никогда их не убивал. Как бы там ни было, дело так и осталось не расследованным. Саллюстий Крисп сумел внушить Ливии, что не следует посвящать сенаторов в тайны дворцовых интриг, ибо в результате может пострадать авторитет Тиберия. Очевидно, Ливия согласилась с ним и убедила в его правоте сына. Об Агриппе Постуме благополучно забыли и не вспоминали до той поры, пока, два года спустя, в Риме вдруг не объявился лже-Агриппа (или настоящий?). Очень скоро распространился слух, что центурион, приставленный его стеречь, убил его, безоружного, но отчаянно сопротивлявшегося^[306].

Дочь Юлии Агриппина, чье будущее, пока жив был Август, казалось безоблачным, вскоре потеряла мужа. Отстаивая наследные права двух своих старших сыновей, она проявила такое упорство, что это крайне не понравилось Тиберию. По воле Августа, желавшего, чтобы все трое сыновей Агриппины последовали примеру Германика, они были причислены к сословию всадников. Но всех троих ждала несчастливая судьба. По приказу Тиберия в 31 году Нерона Цезаря заключили под стражу и вскоре казнили. В 33 году его брат Друз Цезарь умер голодной смертью в подземелье Палатинского дворца. Говорили, что он пытался грызть тюфяк, на котором лежал... В том же году умерла Агриппина, добровольно заморившая себя голодом. О кровавом правлении Калигулы известно всем, и умер он

от руки убийцы. Клавдий стал принцепсом и, возможно, тоже умер не своей смертью, — во всяком случае, есть версия, что его отравили. Что касается молодой особы, о чьем здоровье Август беспокоился на смертном одре, то ее обвинили в убийстве собственного мужа и, согласно старинному закону, передали под надзор матери, Антонии, которая и уморила ее голодом^[307]. Марк Силан был убит в самом начале правления Нерона.

Повествуя об истории этой семьи, трудно отделаться от ощущения, что пересказываешь древний миф. Впрочем, так оно и есть, ведь основные участники этих драматических событий вели свое происхождение от Венеры. Разумеется, настаивая на своей божественной родословной, они имели в виду лишь одно — убедить окружающих, что именно их фамилии свыше предначертано править Римом. Но с богами играть опасно, особенно тому, кто в них не верит. Август до последнего часа держался в образе потомка Венеры, каковым сделался благодаря усыновлению. Легитимность его власти базировалась на имени, полученном от Юлия Цезаря, единственным наследником которого он являлся. Но после его смерти институт усыновления уже не мог играть прежней роли — ведь на свете существовали прямые потомки принцепса, в жилах которых текла кровь божественных предков — Юлия и Августа.

И семья отныне разделилась на два лагеря. В одном оказались кровные родственники, в другом — все остальные. Тиберий принадлежал как раз к этим остальным, и не случайно первой же предпринятой им в качестве правителя акцией стала казнь Агриппы Постума — носителя священной крови, обвиняемого — справедливо или безосновательно — в безумии. У Тиберия был родной сын Друз, по крови совершенно чужой обожествленным Юлию и Августу, и приемный сын Германик, который через бабуку — Октавию —

принадлежал к благословенному роду Юлиев. Но главное, дети Германика от брака с Агриппиной приходились Августу родными правнуками, как, впрочем, и дети Эмилии Лепиды — дочери Юлии Младшей.

И Друз, и Германик умерли преждевременной смертью, и обстоятельства их смерти не исключали, что и тот и другой погибли от яда. Особенной популярностью в народе пользовался Германик, которого часто называли лучшим из возможных принцепсов. Действительно ли он стал бы лучшим, доведись ему получить в свои руки власть? Ответа на этот вопрос мы, конечно, никогда не узнаем. Мы уже показали, какая страшная судьба постигла двух его сыновей. Третий, Калигула, добился власти и приказал убить единственного оставшегося в живых внука Тиберия. Клавдий избавился от некоторых знатных граждан, связанных отдаленным родством с его собственной семьей и в силу этого подозрительных. Наконец, Нерон казнил всех детей Эмилии Лепиды, кроме одной дочери, и только болезнь, унесшая жизнь другого его соперника — Британника, сына Клавдия и внука Октавии, остановила еще одно готовое свершиться убийство. Точно так же преждевременная смерть спасла от убийства Мессалину, как по отцовской, так и по материнской линии приходившуюся внучкой Октавии^[308].

Одним словом, на семью обрушились такие трагедии, что к 79 году в живых осталась всего одна продолжательница рода Августа. Ее звали Юния Кальвина и она была единственной из детей Эмилии Лепиды, кто уцелел после гонений Нерона. Детей у нее не было, никакой опасности она собой не представляла и после 79 года умерла естественной смертью^[309]. Античные историки уделили ей мало внимания, но их

небрежность частично искупил Расин, сделавший ее прототипом Юнии в своем «Британнике».

Если генеалогическое древо семейства Августа напоминает лабиринт, то мы не удивимся, обнаружив в его глубине страшное чудовище, наводившее ужас на римлян еще во времена республики. По натуре своей это чудовище было химерой, а питала его семейная политика Августа, одержимого идеей согласия всех со всеми и упорно пытавшегося соединять между собой вещи принципиально несовместимые.

Антоний, чье поражение и гибель стали последней искупительной жертвой, заложившей основу принципата, оставил Октавии двух дочерей. Мы уже упоминали, что младшая из них вышла замуж за Друза, а трое ее детей приходились внуками и Антонию, и Ливии. Дети ее сына Германика и Агриппины стали правнуками Антония, но одновременно и правнуками Августа. Одним из них был Калигула.

Антония Старшая вышла замуж за Луция Домиция Агенобарба — отпрыска известной семьи республиканцев. Одна из их дочерей произвела на свет Мессалину, а сын женился на Агриппине Младшей, правнучке Августа. В жилах ребенка, родившегося в этом браке, текла кровь и Августа, и Антония, а правил он под именем Нерона.

Известно, что Калигула отменил торжественное празднование побед, одержанных при Акциуме и на Сицилии, утверждая, что их последствия оказались губительными и пагубными для римского народа^[310]. Победу в Сицилии он не желал чествовать потому, что одержал ее Агриппа, которого он не признавал своим дедом, уверяя, что его мать Агриппина родилась на свет в результате инцеста между Августом и Юлией. Что касается битвы при Акциуме, то праздновать он отказывался не победу Августа, а поражение Антония. Именно память об Антонии заставила его принять

обычаи, царившие при дворе фараонов, объявить родную сестру своей законной супругой и завещать ей империю и все свое состояние. Когда она умерла, он настоял на ее посмертном обожествлении. История поспешила вырядить его в сумасшедшие, но все его безумие заключалось в том, что он стремился утвердить монархическую сущность режима и открыто претендовал на царский титул. Он всего лишь довел до логического завершения и откровенно выразил внутренние противоречия установленного строя.

Нерон, верный последователь Калигулы, которому он доводился племянником, также постарался избавить режим от внешних республиканских атрибутов и в поисках пути к достижению этой цели обратил свой взор к Египту, откуда заимствовал идею и образ царя, ведущего свое происхождение прямо от Солнца.

Таким образом, мы видим, что трагикомедия, которой обернулась жизнь Августа, на самом деле была лишь первым актом гораздо более продолжительной пьесы. Следующие четыре акта, озаглавленные «Тиберий», «Калигула», «Клавдий» и «Нерон», уже не несут в себе ничего комического и принадлежат чистому жанру трагедии. С появлением Августа создаются предпосылки будущей интриги — это, пользуясь терминологией древнегреческого театра, пролог пьесы. При Тиберий происходит завязка интриги, при Калигуле — ее неожиданный поворот, направляющий развитие событий к катастрофе, которая благодаря Клавдию оттягивается, чтобы осуществиться при Нероне. Действительно, в 68 году длинная цепь несчастий приводит к роковой развязке — во всяком случае, роковой для династии, основанной Августом.

В бесчисленных убийствах, сопровождавших историю этой фамилии, казалось, возродилась традиция искупительной жертвы, заложенная Ромулом, убившим своего брата Рема и на его крови основавшим новое

государство. Признавая своей прародительницей Венеру, члены семьи брали на себя ответственность и за это древнее убийство, от бремени которого они считали своим долгом освободить римлян. Вряд ли Август сознательно планировал подобное развитие событий, но тем не менее его фамилия совершила, в античном понимании этого слова, акт самопожертвования, взяв на себя роль козла отпущения за все несчастья, проклятием давившие на Рим со времени его основания.

Ответственность за преступления, совершенные в ходе гражданских войн, также легла на семью Августа. В империи наступил мир, воцарившийся повсюду, кроме императорского дома. Август мечтал, чтобы его фамилию окружал священный ореол, и он добился своей цели, но помимо его воли она стала жертвой культа исторического проклятия. Внутри этой семьи смешались отпрыски старинной республиканской знати, представленные Клавдиями, и новые люди, выступавшие в лице Юлиев. Даже сакрализация не смогла полностью уничтожить следы провинциального и «буржуазного» происхождения Августа и особенно Агриппы. С другой стороны, Август, мечтавший о мирном слиянии тех и других в единое целое, сделал попытку породниться с Антонием. Иллюзорность этих мечтаний стала очевидной после заговора Юла Антония и Юлии и, в еще большей степени, после прихода к власти Калигулы и Нерона.

Почему благие намерения Августа привели к столь плачевным результатам? Устанавливая единственный режим, способный спасти империю от анархии, он не смог разработать стройной системы наследования власти — абсолютно необходимого условия для его выживания. Его беспрестанные колебания в решении этого вопроса и породили те катастрофы, которые после его смерти следовали одна за другой. В глубине души он всегда мечтал передать власть своему кровному

потомку, то есть одному из отпрысков Юлии. Но провозгласить это во всеуслышание он не мог, потому что это означало бы открыто признать царскую сущность своей власти, тем более что наследование по женской линии было принято в Риме во времена царей. И он избрал окольный путь. Мы почти убеждены, что он считал Марцелла идеальной кандидатурой, при котором Агриппе отводилась бы роль регента, правящего страной до той поры, пока наследник не достигнет зрелости. Очевидно, что впоследствии он надеялся передать бразды правления принцепсам молодежи, хотя непонятно, каким образом он намеревался осуществить между ними разделение власти. Наконец, усыновив Тиберия, он, по всей видимости, полагал превратить его в «и.о. принцепса»^[311], который останется у власти до тех пор, пока не повзрослеет и не наберется достаточного жизненного опыта желанный наследник — Германик, супруг Агриппины. Не зря он вынудил Тиберия усыновить Германика.

Август, так ценивший ясность во всем, в вопросе наследования власти оставил полную неразбериху, обрекая свою семью на бесконечные раздоры, точку в которых через 54 года после его смерти поставил отпущенник, надавивший рукой на кинжал, приставленный слабавольным Нероном к своему горлу.

Но не только семья первого принцепса пала жертвой этого проклятья. После года правления трех императоров — Гальбы, Отона и Вителлия, каждого из которых ждала трагическая кончина, воцарилась династия Флавиев, угасшая в 96 году после убийства Домициана. Династия Антонинов продержалась до 196 года, когда последний ее представитель Коммод также был убит.

Тацит воспроизводит на своих страницах речь Гальбы, якобы произнесенную в 68 году по случаю

усыновления Луция Кальпурния Пизона, которого он избрал своим наследником («История», I, XV–XVI):

«Твои выдающиеся заслуги и любовь к родине подвигли меня, призванного с согласия богов и людей править империей, вручить тебе принципат, ради которого наши предки сражались друг с другом с оружием в руках; я получил его в боях, тебе же передаю в мире; так божественный Август возвысил до себя сына своей сестры Марцелла, затем зятя своего Агриппу, затем своих внуков, наконец, своего пасынка Тиберия. Но Август искал наследника среди родни, я же ищу его среди сынов республики. Я делаю это не потому, что у меня нет родственников или соратников; но, поскольку сам я не домогался власти, то хочу, чтобы выбор в твою пользу перед моими и твоими близкими стал свидетельством моей беспристрастности. Если б гигантское тело империи могло сохранять устойчивость без руководства в лице одного человека, мне достало бы достоинства, чтобы восстановить республиканский режим. Но мы уже давно пришли к неизбежному выводу, что это невозможно, и лучшее, что может предложить римскому народу моя старость — это хороший преемник, как лучшее, что может предложить ему твоя молодость — это хороший принцепс. В годы правления Тиберия, Калигулы и Клавдия мы все, так сказать, достались в наследство членам одной семьи. Сегодня, когда дом Юлиев-Клавдиев прекратил свое существование, с помощью усыновления мы сможем всякий раз выбирать в преемники лучшего из лучших. Ведь рождение в семье принцепса — дело слепого случая, и, вручая власть кровному наследнику, мы отказываемся от поисков иных кандидатов. Усыновление сохраняет нам свободу выбора, в котором мы должны руководствоваться всеобщим одобрением».

Но спустя очень короткое время Гальба пал от руки подосланных Отоном убийц. Едва дорвавшись до власти,

Отон, напуганный усилением Вителлия, покончил с собой. В свою очередь Вителлий был убит сторонниками Веспасиана.

Веспасиан настолько верил в свою счастливую звезду, что не побоялся заявить сенату, что «наследовать ему будут или его сыновья, или никто»^[312]. Тит провластвовал всего два года, и, возможно, только своей преждевременной кончине он обязан званием «любви и отрады рода человеческого»^[313], которым его наградили современники. Зато его брат Домициан, который правил 15 лет (81–96), показал себя настоящим тираном, заслужил всеобщую ненависть и погиб в результате заговора собственных прислужников.

Тогда-то и вспомнили о программе, провозглашенной Гальбой. Отныне было решено, что каждый принцепс обязан избрать лучшего из возможных преемников власти и усыновить его. Это решение знаменовало отказ от кровного наследования, уже ставшего причиной стольких смертей. Старик Нерва, избранный наследником Домициана по той причине, что достиг преклонного возраста и не имел детей, усыновил Траяна. Траян усыновил Адриана. Адриан усыновил Антонина. Антонин усыновил Марка Аврелия. Марк Аврелий усыновил... Нет, Марк Аврелий никого не усыновил. Предыдущие принцепсы действительно свято блюли принцип усыновления, но рукоплесканий по своему адресу они не заслуживают: ни у одного из них не было сыновей, во всяком случае законнорожденных. Как они поступили бы, если бы сыновья у них были? Очевидно, точно так же, как поступил Марк Аврелий. Назначили бы наследником родного сына. В результате Коммод, первый в истории империи принцепс, родившийся «в пурпурной тоге», поскольку к тому дню, когда он появился на свет, его отец уже несколько

месяцев правил страной, наследовал Марку Аврелию, стал тираном и пал жертвой убийц.

Как видим, чудовище, притаившееся в глубине лабиринта, нисколько не утратило своей бдительности и всякий раз, когда на его глазах начинали разыгрывать карту кровного наследования, уничтожало наследника, словно поставило своей целью доказать несовместимость естественного родства и власти. И не случайно самым положительным персонажем «Жизнеописаний» Светония выглядит Германик, обязанный своей привлекательностью тому факту, что он никогда не правил Римом.

Если мы согласимся со Светонием, утверждающим, что Август обладал даром пророчества, то из всех высказываний последнего наше внимание привлекут два. Абстрагируясь от конкретных обстоятельств, в которых они были произнесены, отметим, что принцепсу удалось сформулировать, в чем выражается главное зло, внутренне присущее принципату. Итак, он говорил:

«Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть!»

«Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!»

Первое из этих восклицаний, вырвавшееся у него в связи с огорчениями, причиненными ему дочерью и внуками, можно считать лозунгом, под которым впоследствии разворачивалась вся исполненная драматизма история жизни принцепсов.

Второе, в исторической достоверности которого мы не уверены, так же приложимо к принцепсам, унаследовавшим власть Августа. Упоминание о челюстях вновь возвращает нас к образу чудовища из лабиринта, только лабиринтом в этом случае придется считать весь созданный Августом режим. Август установил в стране единственно возможный и жизнеспособный в его время строй, но существовать этот строй мог только вместе со

своим основателем — талантливым актером, жрецом идеи, свято верившим в нее и готовым ради ее торжества и себя, и других принести в жертву, но не на алтарь личного честолюбия, а на алтарь общественных интересов.

К счастью для себя, Август не стал богом. Он не верил в свое обожествление и не стремился к нему. Как и все римляне, он считал, что Юпитер существует постольку, поскольку стоят возведенные в его честь храмы. Он добился того, что и ему воздвигли храмы, что появились жрецы его личного культа, но и храмы, и жрецы нужны были ему с единственной целью — обеспечить сохранность и долгую жизнь установленного им режима. Одна мысль о том, что воздвигнутое им здание непрочное, ввергла бы его в глубокое отчаяние. И если бы он действительно стал богом и увидел с небес, во что превратилось дело всей его жизни, его ждала бы горькая участь несчастного бога, вечно и безнадежно мечтающего о смерти. Или, быть может, участь бога-насмешника, который весело смеется, глядя на игру новых поколений актеров в написанной им пьесе...

А актеров было много... Давно сошли с исторической сцены принцепсы, но их последователи, именовавшие себя кайзерами или царями, самый титул свой унаследовавшие от его приемного отца Цезаря, по-прежнему не могли совладать с притягательной силой власти и по-прежнему платили за эту власть ценой личных драм и трагедий.

История все расставила по своим местам. И не случайно имя Августа, которого принцепс удостоился за исключительную добродетель, в конце концов досталось самому отчаянному насмешнику — клоуну европейского цирка^[314]. Впрочем, чему удивляться? Вспомним, что сказал Август перед смертью. «Хорошо ли я сыграл?..»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СОСТОЯНИЕ АВГУСТА

Успех предприятия Цезаря Октавиана в значительной степени объясняется тем, что с самого начала своего политического восхождения он располагал существенными финансовыми ресурсами, доставшимися ему в виде наследства родного отца и Юлия Цезаря. С течением времени его финансовая мощь усилилась за счет военных трофеев, в частности за счет казны Птолемеев и массовых конфискации. В «Деяниях» он приводит достаточно полные сведения о своих расходах, каждый раз уточняя, идет ли речь о его наследственном имуществе или о военной добыче, так что мы можем составить себе представление о размерах его личного состояния.

В исполнение завещания Юлия Цезаря он передал римскому плебсу в составе 250 тысяч человек по 300 сестерциев на каждого, что в целом составило 75 миллионов сестерциев.

В 30 году он потратил 860 миллионов сестерциев на приобретение земель в Италии и провинциях для раздачи солдатам.

В 24 году по меньшей мере 250 тысяч плебеев получили от него по 400 сестерциев каждый, что в сумме равняется 100 миллионам.

В 23 году он израсходовал 60 миллионов сестерциев на покупку зерна для бесплатной раздачи.

В 18 году он из личных средств оказал материальную помощь 100 тысячам человек.

В 12 году он выдал по 400 сестерциев не меньше чем 250 тысячам плебеев, итого 100 миллионов.

В 7, 6, 4, 3 и 2 годах он потратил 400 миллионов сестерциев на вознаграждение демобилизованным

солдатам. В 5 году он раздал 76 миллионов сестерциев 320 тысячам плебеев. Во 2 году он снова оказал плебсу материальную поддержку в размере 48 миллионов сестерциев.

В 6 году н. э. он выделил 170 миллионов сестерциев на создание военной кассы, предназначенной для материального поощрения воинов, прослуживших в армии 20 и более лет.

Эти цифры, почерпнутые из «Таблицы деяний» Августа, дают приблизительное представление о его расходах, но именно приблизительное, поскольку в них не включены 150 миллионов сестерциев, выделенных на четырехкратное пополнение государственной казны, а также суммы, потраченные на приобретение земельных участков для городского строительства, на ремонт и восстановление акведуков и на организацию массовых зрелищ.

Наконец, необходимо упомянуть о выплатах, произведенных из военной добычи, например, о 220 миллионах сестерциев, выданных в 29 году плебеям, и о 80 миллионах, израсходованных в 29-28 годах на восстановление храмов и возведение памятников.

Таким образом, Август за свою жизнь истратил более двух миллиардов сестерциев. Много это или мало? Чтобы проникнуться масштабом его расходов, приведем для сравнения несколько цифр.

Государственный бюджет в те времена составлял 400 миллионов сестерциев.

Для того чтобы войти в сословие сенаторов, необходимо было обладать капиталом в миллион сестерциев; для вхождения в сословие всадников достаточно было капитала в 400 тысяч сестерциев.

Легионер получал ежегодно 900 сестерциев, разделенных на три части, и 12 тысяч сестерциев единовременно при мобилизации. Преторианцы

получали ежегодно по три тысячи сестерциев и «выходное пособие» в размере 20 тысяч.

Стоимость 1 буасо (8,788 л) зерна равнялась 1 сестерцию.

Предметы роскоши, дороговизна которых выглядела скандально уже тогда, обходились покупателям в кругленькие суммы. Известно, например, что Антоний заплатил 200 тысяч сестерциев за двух молодых рабов, которые так походили друг на друга, что их принимали за близнецов, а Сеян, фаворит Тиберия, «отвалил» 50 миллионов за евнуха. В конце века набор столового серебра тонкой работы мог стоить миллион сестерциев.

Состояние, которое Август получил в наследство от родного и приемного отцов, оценивалось примерно в 100 миллионов сестерциев, но из них 75 миллионов он почти сразу выплатил плебеям. Умирая, он завещал своим родственникам 150 миллионов сестерциев и еще 96 миллионов — плебсу. Таким образом, он более чем удвоил свое личное состояние. Верно, Август не стремился к присвоению военной добычи и личному обогащению за счет конфискаций, но логично предположить, что Цезарь Октавия не проявлял особой щепетильности в денежных вопросах и, столкнувшись с необходимостью огромных трат в начале своей политической карьеры, он наверняка щедрой рукой черпал из этих источников. Но даже и в этом случае, очевидно, не обошлось без материальной поддержки со стороны финансовых воротил того времени. Став Августом, он приумножил свое состояние за счет сумм, завещанных ему друзьями и знакомыми, а также за счет процентов с капитала и дохода, поступавшего из имений.

Приложение 2

ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ

В соответствии с требованиями жанра биографии автор проследил жизненный путь Августа во всех его изгибах, но оставил в стороне события, в которых тот не принимал личного участия. Так, в этой книге ничего не говорится об Африке, которая после договоренностей, достигнутых в Болоний, попала под его управление, — просто потому, что он никогда не бывал в Африке. Точно так же автор ни словом не упоминает о суровых боях, которые полководцы Августа вели в Альпах, добившись в результате замирения 45 народов, чьи имена перечислены в надписи, украшающей трофей в Турбин^[315]. Чтобы у читателя сложилось более ясное впечатление о военных достижениях Августа, предлагаем их краткий обзор.

Дохристианская эра

29–27 гг. — Гай Корнелий Галл подавил восстание на юге Египта и заключил соглашение с эфиопами.

25 г. — Мавритания и часть Нумидии перешла под власть царя Юбы I, женатого на Клеопатре Селене, дочери Антония и Клеопатры.

Аннексия Галатии (государства, располагавшегося на территории современной Турции, между Вифинией и Каппадокией).

21–20 гг. — военный поход против гарамантов (африканского народа, населявшего юг Нумидии; ныне Фес).

20 г. — царь парфян вернул Риму значки, захваченные у Красса и Антония. Тиберий венчал на царство Тиграна II Армянского.

В промежутке между 29 и 19 годами римляне усмирили Испанию, на территории которой вспыхнули восстания кантабров и астуриков. Август посетил эти земли и пробыл здесь с 27 по 25 год.

15 г. — совместный поход Друза и Тиберия против ретийцев.

12-9 гг. — во время поездки по западным провинциям Август задумал отодвинуть границы империи до берегов Эльбы. Друз дошел с войском до Эльбы. Тиберий в это время усмирял Паннонию.

9-7 гг. — Тиберий продолжал дело своего брата.

В это же время, с 9 по 6 год, были покорены альпийские народы (свидетельство трофея в Турбин).

Христианская эра

1 г. до н. э. — 6 г. н. э. — походы против берберских племен.

Приблизительно в это же время, со 2 г. до н. э. по 4 г. н. э., римляне под предводительством Гая вторглись в Армению.

С 4 по 6 г. Тиберий вел войну с маркоманами, но вынужден был оставить поле битвы и поспешить в Паннонию и Далмацию, где подавил вспыхнувший бунт.

6-9 гг. — пока Тиберий усмирял население Паннонии, Вар погубил свои легионы в Германии.

10—12 гг. — Тиберию удалось нормализовать положение в Германии.

В целом мир Августа — *пак Августеа* — характеризуется следующими чертами. С начала до конца его правления империя вела войны, направленные

на завоевание и усмирение соседних народов, и эти войны зачастую бывали сопряжены с большими человеческими жертвами. Однако ценой этих войн Август сумел создать внутренне устойчивую империю, заключенную в рамки естественных границ, двойной защитой которым служили государства Африки и покоренные западные царства. Тем не менее его планы захватить оба берега Рейна потерпели провал.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВГУСТА

ДОХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

23 сентября 63 — рождение Гая Октавия, будущего Августа.

59 — смерть Гая Октавия, отца Августа. Мальчика отдают на воспитание бабке Юлии, сестре Юлия Цезаря.

51 — смерть Юлии, сестры Юлия Цезаря.

49 — переход Цезаря через Рубикон. Начало гражданской войны между Цезарем и Помпеем.

9 августа 48 — победа Цезаря при Фарсале.

19 октября 48 — Октавий надевает мужскую тогу.

Июль 46 — Юлий Цезарь празднует в Риме триумф. Октавий получает военные награды.

Декабрь 46 — отъезд Юлия Цезаря в Испанию. Октавий следует за ним.

13 сентября 45 — Юлий Цезарь пишет новое завещание и назначает своего внучатого племянника Октавия главным наследником.

Декабрь 45 — отъезд Октавия в Аполлонию.

15 марта 44 — убийство Юлия Цезаря.

Апрель 44 — Октавий прибывает в Кампанию.

Начало мая 44 — приезд Октавия в Рим.

20-30 июля 44 — Октавий устраивает игры в честь победы Цезаря. Появление кометы.

10 ноября 44 — демонстрация военной силы, устроенная Цезарем Октавианом в Риме.

20 декабря 44 — Цезарь Октавиан получает право участвовать в заседаниях сената.

16 апреля 43 — Цезаря Октавиана впервые приветствуют как императора.

21 апреля 43 — Цицерон произносит 14-ю «Филиппику». Победа Цезаря Октавиана и Гирция в битве при Мутине.

Август 43 — Цезарь Октавиан подходит к Риму.

19 августа 43 — Цезарь Октавиан избран консулом.

Октябрь 43 — встреча Лепида, Антония и Цезаря Октавиана. Образование триумvirата.

Декабрь 43 — проскрипции. Цезарь Октавиан женится на Клавдии, дочери Клодия и Фульвии.

17 декабря 43 — смерть Цицерона.

1 января 42 — провозглашение Юлия Цезаря божеством.

23 октября 42 — поражение Брута при Филиппах.

16 ноября 42 — рождение Тиберия.

Январь 41 — возвращение Цезаря Октавиана в Рим. Начало Перузийской войны. Цезарь Октавиан дает развод Клавдии.

15 марта 40 — убийство 300 сенаторов и всадников в Перузии, преподнесенное как жертва Цезаря Октавиана манам Юлия Цезаря (?).

Осень 40 — соглашения в Брундизии. Женитьба Антония и Октавии. Женитьба Октавиана и Скрибонии.

Октябрь — ноябрь 40 — первая орация Цезаря Октавиана.

Лето 39 — Мизенский мир, заключенный Антонием, Цезарем Октавианом и Секстом Помпеем.

Конец 39 — рождение Юлии, дочери Цезаря Октавиана и Скрибонии. Цезарь Октавиан дает развод Скрибонии и строит планы женитьбы на Ливии.

14 января 38 — рождение Друза, сына Ливии.

17 января 38 — женитьба Цезаря Октавиана и Ливии. Поражение Цезаря Октавиана в морском сражении у берегов Сицилии.

Весна 37 — встреча Антония и Цезаря Октавиана близ Тарента и возобновление триумvirата.

1 июля 36 — флот Цезаря Октавиана покидает порт Байи.

13 ноября 36 — вторая орация Цезаря.

35 — Цезарь Октавиан ведет войну в Иллирии. Октавия выезжает в Афины, но, получив приказание от мужа, возвращается в Рим.

34 — Цезарь Октавиан ведет войну в Далмации.

33 — II консулат Цезаря.

1 января 33 — Цезарь Октавиан официально объявляет о разрыве с Антонием.

33 — Цезарь Октавиан находится в Далмации. Агриппа исполняет обязанности эдила.

Февраль 32 — Цезарь Октавиан демонстрирует сенаторам свою военную силу.

Май — июнь 32 — Антоний разводится с Октавией. Цезарь зачитывает завещание Антония.

Июль 32 — объявление войны Клеопатре. Италия приносит клятву верности Цезарю.

31 — III консулат Цезаря.

2 сентября 31 — битва при Акциуме.

30 — IV консулат Цезаря.

1 августа 30 — Цезарь входит в Александрию.

Зима 30/29 — Цезарь на Востоке.

29 — V консулат Цезаря.

1 января — Цезарь в Самосате.

11 января 29 — торжественное закрытие ворот храма Януса.

Весна 29 — получение Цезарем титула императора.

13-15 августа 29 — тройной триумф.

18 августа 29 — Цезарь дает обет построить храм божественного Юлия Цезаря на Форуме.

29 — начало строительства мавзолея. Открытие Юлиевой курии. Расширение списков патрициев.

28 — VI консулат Цезаря (вместе с Агриппой).

9 октября 28 — открытие храма Аполлона Палатинского. Перепись населения.

27 — VII консулат Цезаря (вместе с Агриппой).

13 января 27 — передача власти сенату.

16 января 27 — Цезарь Октавиан берет имя Августа и получает золотой щит.

26-24 — VIII, IX и X консулат. Отъезд в Испанию (до 24 г.).

23 — XI консулат. Отказ от консульства.

1 июля 23 — Август получает полномочия трибуна.

23 — заговор с участием Мурены. Болезнь. Империй проконсула и трибунская неприкосновенность.

1 сентября 22 — Август дает обет построить храм Юпитеру Громовержцу.

22 — Август отказывается от диктатуры и прижизненного консульства.

21 — женитьба Юлии и Агриппы. Август и Ливия отбывают на Восток.

20 — парфянский царь возвращает Риму значки, захваченные у Красса и Антония. Рождение Гая.

12 октября 19 — возвращение Августа в Рим.

15 октября 19 — Август дает обет построить храм Фортуне Возвращения. Август отказывается от звания цензора.

19 — рождение Юлии Младшей. Первые законы о морали.

18 — Агриппа получает полномочия трибуна и становится соправителем Августа. Законы о морали. Август вторично отказывается от звания цензора.

17 — рождение Луция. Усыновление Гая и Луция.

31 мая — 3 июня 17 — Столетние игры.

16 — Друз, сын Ливии, женится на Антонии Младшей, дочери Антония и Октавии. Август отбывает в поездку по западным провинциям.

15 — поездка по Западу.

24 мая 15 — рождение Германика.

4 июля 13 — возвращение Августа в Рим. Объявление о сооружении Алтаря мира.

6 марта 12 — избрание Августа великим понтификом.

Март 12 — смерть Агриппы.

28 апреля 12 — в доме Августа проходит освящение жертвенника Весты. Рождение Агриппы Постума.

11 — смерть Октавии. Август в третий раз отказывается от звания цензора.

10 — рождение будущего императора Клавдия.

30 января 9 — освящение Алтаря мира. Смерть Друза, сына Ливии.

8 — смерть Мецената и Горация.

7 — Август осуществляет реформу культа ларов.

6 — Тиберий получает полномочия трибуна и отбывает на Родос.

5 — XII консульство Августа. Представление Гая Цезаря сенаторам.

2 — XIII консульство Августа.

5 февраля 2 — Август получает звание Отца отечества. Представление Луция сенаторам. Открытие Форума Августа. Изгнание Юлии.

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

1 — Август благополучно переживает 63-й год жизни.

20 августа 2 — смерть Луция Цезаря в Массилии.

9 июля 3 — Гай на Востоке попадает в военную засаду.

21 февраля 4 — смерть Гая Цезаря.

26 иди 27 июня 4 — Август усыновляет Тиберия и Агриппу Постума. Тиберий снова получает полномочия трибуна. Заговор Цинны (?). Пожар в доме Августа.

5 — землетрясения в Риме. Голод.

11 июня 7 — Ливия дает обет воздвигнуть алтарь Конкордии — богине Согласия. Изгнание Агриппы

Постума.

8 — ссылка Юлии Младшей и изгнание Овидия.

9 — разгром Вара. Новые законы о морали.

16 января 10 — освящение Тиберием храма Конкордии. Тиберий уезжает в Германию.

11 — Тиберий в Германии.

12 — рождение Калигулы. Тиберий празднует триумф.

14 — перепись населения.

Май 14 — возможная поездка Августа на Планасию.

19 августа 14 — смерть Августа.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

«Буржуа» — это слово употребляется в тексте не в своем историческом значении, а для передачи консервативного мироощущения, свойственного провинциальным зажиточным кругам. Разумеется, в применении к античному обществу термин лишен какого бы то ни было политического или социального содержания.

Весталки — семь девственниц патрицианского рода, на которых лежала обязанность поддерживать огонь в очаге богини Весты, олицетворявшей римский очаг. (Ошибка автора. Весталок, жриц Весты, было шесть, а не семь. Их служение продолжалось тридцать лет. В течение этого периода они хранили обет целомудрия. — *Прим. ред.*)

Ветераны — солдаты, отслужившие в армии положенный срок или демобилизованные после войны. Сыграли огромную роль в противостоянии Антония и Цезаря Октавиана. Часть из них селилась в специально для них основанных колониях.

Всадники — римские граждане, члены второго из двух высших государственных сословий. Имущественный ценз всадников составлял 400 тысяч сестерциев. Август превратил всадническое сословие в кузницу кадров для высшего чиновничества.

Гаруспики — первоначально: этрусские жрецы, обученные искусству толковать волю богов на основе изучения внутренностей жертвенных животных и ответственные за проведение очистительных обрядов. После поглощения Этрурии Римом потомки этрусков продолжали практиковать древнее искусство

гаруспиков до последних лет существования Римской империи.

Диктатор — магистрат, избираемый в условиях чрезвычайного положения, объявленного сенатом, из числа консулов и консуляров. Полнота власти диктатора ограничивалась твердо установленным сроком (полгода) и наличием заместителя, именуемого начальником конницы.

Игры — совокупность зрелищных и религиозных мероприятий, организуемых в честь божества. Включали в себя состязания на колесницах, гладиаторские бои и театральные представления.

Император — звание, присваиваемое армией полководцу, одержавшему крупную победу, и изначально не имевшее никакого официального веса. Постепенно стало составной частью титулатуры военачальников. Юлий Цезарь первым использовал звание императора в качестве личного имени. Его примеру последовал Август, а после него — и последующие принцепсы.

Империй — власть, включающая командование армией, руководство судопроизводством и право созывать собрания. Империй вручался консулам и преторам.

Искупительное жертвоприношение — торжественный обряд очищения, совершаемый цензорами раз в пять лет.

Квестор (квестура) — первая ступень почетной карьеры. В обязанности квесторов входило заведование государственными финансами.

Квинкватрии — празднество, устраиваемое с 19 по 23 марта и получившее свое имя потому, что начиналось на пятый день после ид. Праздник посвящался Марсу и входил в цикл древних обрядов, совершаемых на протяжении всего месяца и связанных с подготовкой к возобновлению войн, прерываемых на зимнее время.

Ложная интерпретация этимологии слова привела к тому, что торжество растянулось на пять дней, превратившись в «профессиональный» праздник людей труда от канатчиков и штукатуров до учителей и поэтов. (Праздник был посвящен Минерве, а не Марсу. На этот период приходилось рождество богини. Центром празднества был храм Минервы на Авентине. Богиня считалась покровительницей ткачей, сукновалов, учителей и школьников, а также женщин. На Квинкватрии приходились школьные каникулы. — *Прим. ред.*)

Квириты — имя римлян как обладателей гражданских прав.

Колония — город, основанный римскими гражданами или ветеранами *ex nihilo* (буквально: «из ничего», то есть на пустом месте) или поблизости от уже существующего поселения. Жители колоний являлись римскими гражданами.

Комиции — название различных народных собраний.

Консулы (консулат, консул-суффект) — два высших магистрата республики, обладавшие высшим военным и гражданским империем. Именами консулов называли год. С целью ограничения размаха этой власти республиканский закон ограничивал срок консульских полномочий одним годом, а вторичное избрание допускал не ранее чем через 10 лет. В случае смерти или явного провала консула на его место избирался другой, именуемый консулом-суффектом. Именно это и произошло в 43 г., когда после гибели обоих консулов Август стал консулом-суффектом. Еще раньше, в 47 г. Юлий Цезарь, стремившийся урезать реальную власть избранных консулов, не нанося ущерба их тщеславию, ограничил срок их реальных полномочий тремя месяцами. То же самое он проделал и в 45 г., положив начало процедуре, которая начиная с 40 г. до н. э.

обрела постоянный характер, сохранившийся на весь имперский период.

Консуляры — бывшие консулы. Из их числа избирались цензоры и диктаторы.

Куриатные комиции — собрание в эпоху царей. В классическую эпоху за куриатными комициями сохранились религиозные функции, связанные с политикой (подтверждение вручения империя магистратам, избранным народным собранием) и с судопроизводством (в частности, одобрение решений об усыновлении).

Курия — наиболее древнее объединение патрициев для участия в голосовании, сложившееся в царскую эпоху. Во времена республики, а затем и империи курией называли здание, расположенное на Форуме, где проходили заседания сената; курией назывался иногда и сам сенат.

Легион — со времени создания Марием постоянной армии (104-101 гг.) численность легиона составляла 6 тысяч человек, разделенных на 10 когорт, каждая из которых делилась на три манипулы. К концу жизни Августа империя содержала 28 легионов.

Народ — употребляемое с большой буквы, это слово обозначает совокупность римских граждан, принимавших участие в голосовании в соответствии с цензом. Именно в этом значении оно фигурирует в выражении «Сенат и римский Народ», характеризующем законность власти. Даже во времена империи, полностью утратив политический смысл, слово продолжало употребляться в этом значении. Народ с маленькой буквы означает просто скопление граждан, участвующих в том или ином массовом мероприятии.

Начальник конницы — звание начальника штаба при диктаторе. Диктатор не имел права распоряжаться властью без начальника конницы.

Нобилитет — общественный слой, возникший после того, как плебеи получили доступ к магистратурам. Нобилиями считались роды, имевшие в числе предков высшего магистрата, как правило, консула.

Овация — торжественная встреча, по решению Народа или Сената устраиваемая победоносному полководцу. Последний получал право вступить в Рим в военном облачении, конным либо пешком. Овация — скромная репетиция триумфа.

Оптиматы — в последние годы республики название сторонников консервативной политики, защитников сенаторских полномочий. Оптиматам противопоставлены популяры.

Патриции (патрициат) — наиболее древняя прослойка римской аристократии, отдельные представители которой утверждали, что ведут свое происхождение от спутников Энея. Вся история первых веков существования республики отмечена конфликтами патрициев с плебеями. После того как плебеи добились политического равенства с патрициями, последние сохранили за собой некоторые привилегии в религиозной сфере. Именно поэтому Юлий Цезарь, а за ним и Август тщательно следили за тем, чтобы численность патрициев не уменьшалась ниже определенного предела, а если это случалось, включали в их списки новых лиц.

Плебс — совокупность граждан, не входящих ни в одно из двух высших государственных сословий, но образующих вместе с ними единое целое — Народ. С упадком республиканских институтов слово утратило свое первоначальное значение, отголоском которого осталось звание «плебейского трибуна», и стало обозначать беднейшие слои населения, пользующиеся материальной поддержкой принцепса.

Плебейские трибуны — магистраты, избиравшиеся исключительно из числа плебеев. Впервые появились в

493 г. до н. э. для защиты интересов плебса. Обладали огромной властью, основанной на праве вето, применимом к любому решению другого магистрата, кроме диктатора, и на личной священной неприкосновенности.

Популяры — в последние годы республики название сторонников политики, выражающей народные интересы. Противопоставляли себя оптиматам.

Почетная карьера (cursus honorum) — иерархия должностей в политической системе, в соответствии с которой осуществлялось ступенчатое назначение магистратов (квестура, эдилитет, претура, консулат) и устанавливался возрастной ценз для каждой должности.

Претор (претура) — магистрат, занимающий высшую ступень почетной карьеры, не считая консулата. Преторы, число которых равнялось четырем, были председателями суда. Они владели империем, позволявшим им командовать армией или осуществлять управление провинцией. (Ошибка автора. В позднереспубликанский период число преторов равнялось восьми. Цезарь увеличил их количество до десяти. — *Прим. ред.*)

Преторианцы — воинское подразделение, состоящее из девяти когорт по тысяче воинов в каждой. Гвардия принцепса.

Провинция — завоеванная территория, управляемая бывшим магистратом. Начиная с 27 г. Август проводил различие между сенаторскими провинциями, завоеванными давно и надежно усмирёнными, а потому не нуждавшимися в присутствии легионов (например, Нарбоннская Галлия, Испания, Греция), и вновь присоединёнными землями, в которых стояли римские войска и которые подчинялись лично ему (в частности Египет).

Проконсул (проконсулат) — бывший консул, сохраняющий консульский империй для ведения войны

или управления провинцией. Продление властных полномочий высших магистратов стало привычной практикой начиная с III в. до н. э.

Пролетарии — название римских граждан, не имевших состояния и способных предложить государству только своих детей.

Род — совокупность лиц, имеющих общего предка, носящих одно имя (nomen) и отправляющих одни и те же домашние культы. Род делился на семьи (фамилии), во главе каждой из которых стоял отец семейства (pater familias), в том числе старейшина и глава всего рода. Родовая структура прежде всего соблюдалась среди патрициев.

Сенат (сенаторы) — древнейший совет, появившийся в царскую и сохранившийся в республиканскую эпоху. Обладал властью (auctoritas) одобрять решения магистратов и других собраний. В императорскую эпоху насчитывал 600 человек и не имел никакой реальной власти.

Сенатус-консультум — в республиканскую эпоху ответ сената на запрос кого-либо из магистратов по конкретному делу, носивший рекомендательный характер. Во времена империи, когда народного голосования больше не существовало, сенатус-консульты обрели силу закона.

Триумф — парад победоносного полководца и его войска, проходивший по улицам Рима с демонстрацией военной добычи и пленников. Триумф был единственным событием, позволявшим вооруженному войску вступить в Рим на законных основаниях. Поскольку это являлось нарушением законности, решение о проведении триумфа принималось народным голосованием с последующим одобрением сената.

Цензор (цензура) — один из двух магистратов, избираемых из числа бывших консулов (консуляров) раз в пять лет. В обязанности цензора входило проведение

переписи населения, составление списков сенаторов и контроль за государственными расходами. Каждый цензор исполнял свои обязанности в течение полутора лет. Август отказался от звания цензора, но взял на себя его функции. (Цензор осуществлял также надзор над нравами: он мог удалить недостойного гражданина из сената на пять лет. — *Прим. ред.*)

Центурия — группа численностью около ста человек. Поскольку в народном собрании принимали участие граждане, подлежащие мобилизации, это слово употреблялось и в военном, и в гражданском значении. Центурией называли и боевой отряд в сотню воинов, и политическое образование, объединяющее 100 граждан для участия в голосовании.

Центурион — младший офицер легиона, командир центурии. Как правило, назначался из числа солдат, выделившихся особой боевой доблестью.

Эдил (эдилитет) — один из четырех магистратов, обязанный следить за продовольственным снабжением Рима, состоянием дорог и общественным порядком. В должностной иерархии эдил занимал следующую за квестурой ступень. (Эдилы занимались также устройством празднеств и различных зрелищ. — *Прим. ред.*)

БИБЛИОГРАФИЯ

Античная лирика. М., 1968.

Аппиан. Римские войны. СПб., 1994.

Буассье Г. Общественное настроение времен римских Цезарей. Пг., 1915.

Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., б. г.

Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря. СПб., 1993.

П. Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971.

Машкин Н. А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.-Л., 1949.

Овидий. Наука любви. Новосибирск, 1990 (Любовные элегии; Героиды; Наука любви; Лекарство от любви; Фасты).

Овидий. Метаморфозы. М., 1977.

П. Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. М., 1982.

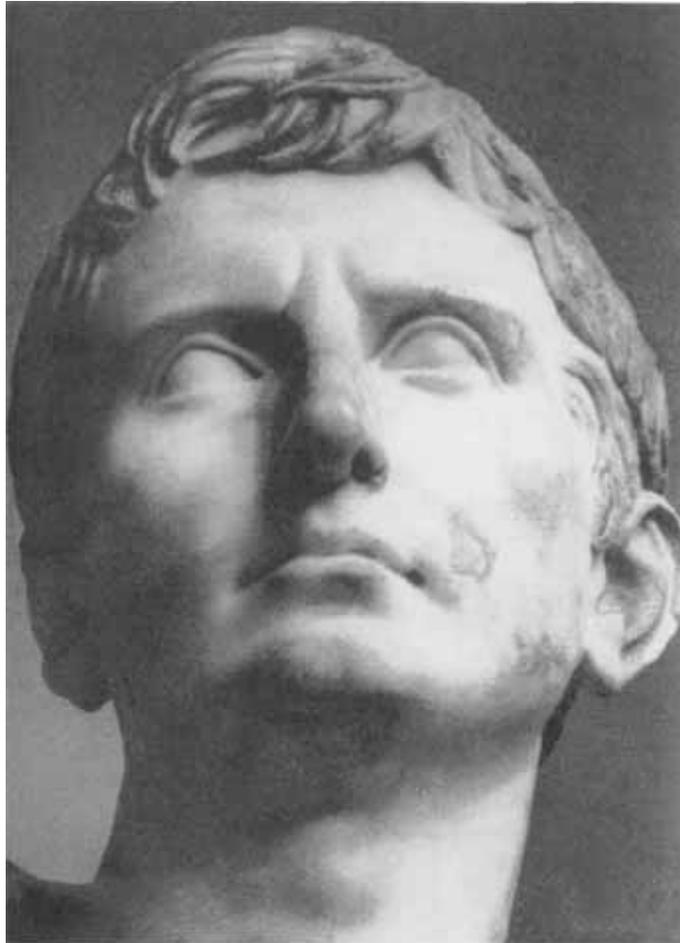
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. 2-е изд. Под ред. С. С. Аверинцева, М. Л. Гаспарова, С. П. Маркиша. М., 1994.

Г. Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1964 (переизд., 1994).

Т. Корнелий. Сочинения в двух томах. Л., 1969.

Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979.

Иллюстрации



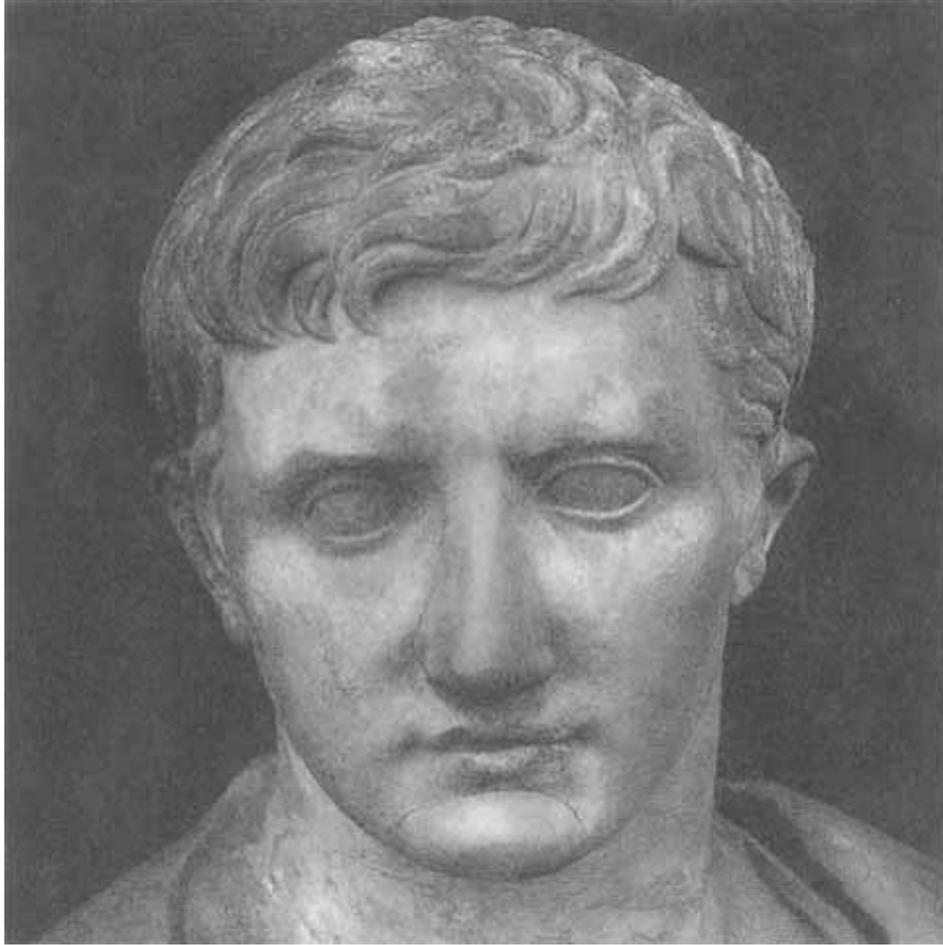
Гай Юлий Цезарь Октавиан.



Юлий Цезарь. *Государственный музей. Берлин.*



Марк Антоний. *Рим. Ватикан.*



Август. Лувр. Париж.



Сестерций с изображением Августа и знаком авгура.
Национальная библиотека. Париж.



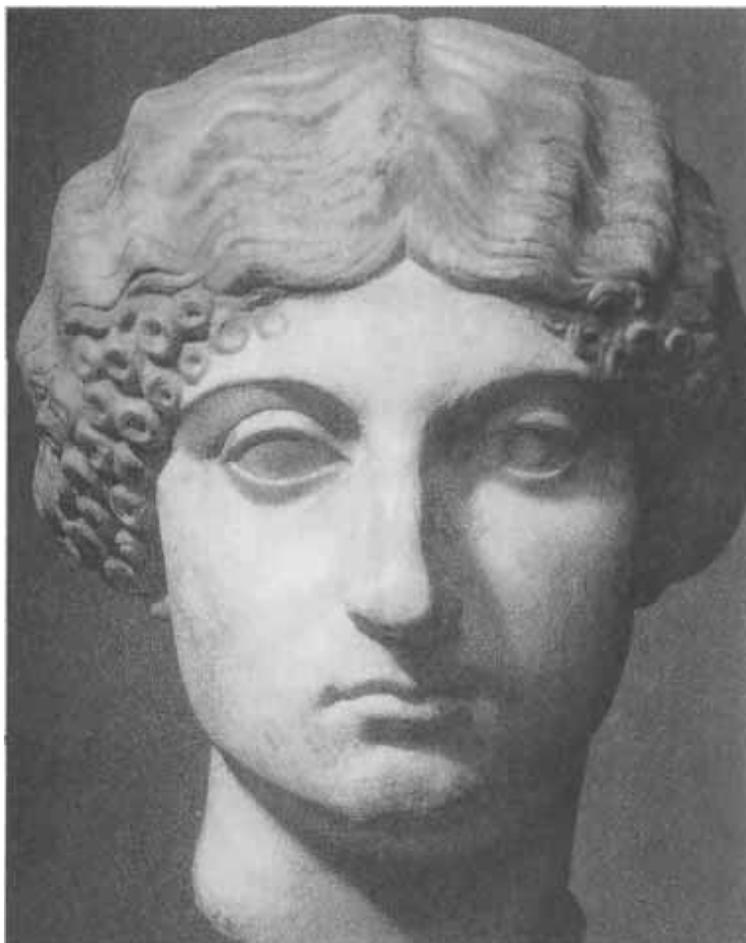
Пантеон. *Современный вид.*



Акведук. Постройка времен Августа. Южная Франция.



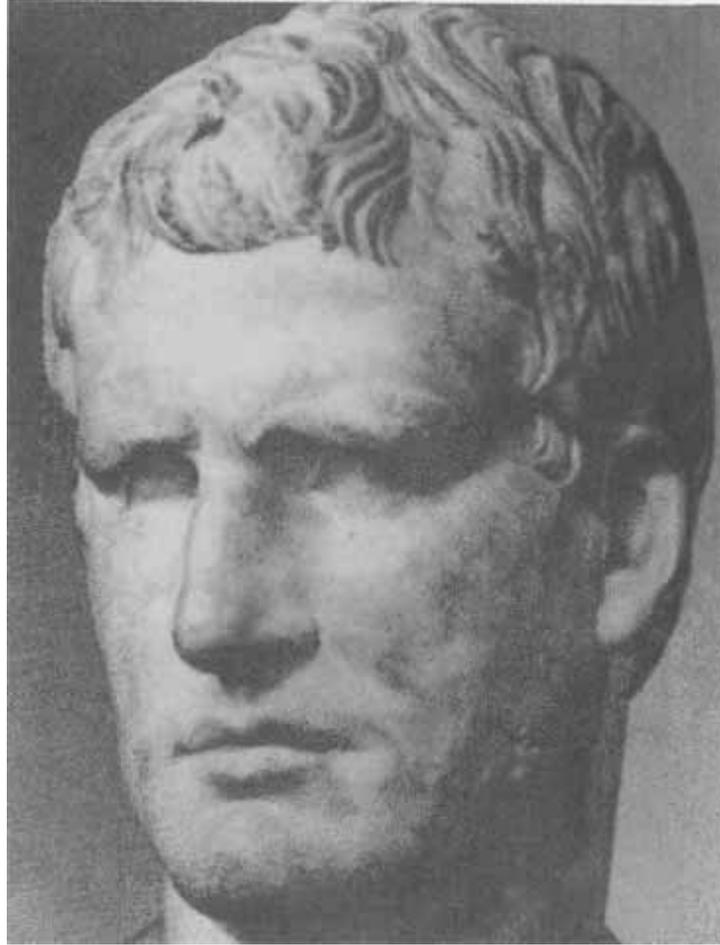
«Квадратный дом». Храм времен Августа. Южная Франция.



Ливия. Мрамор. Глиптотека, Копенгаген.



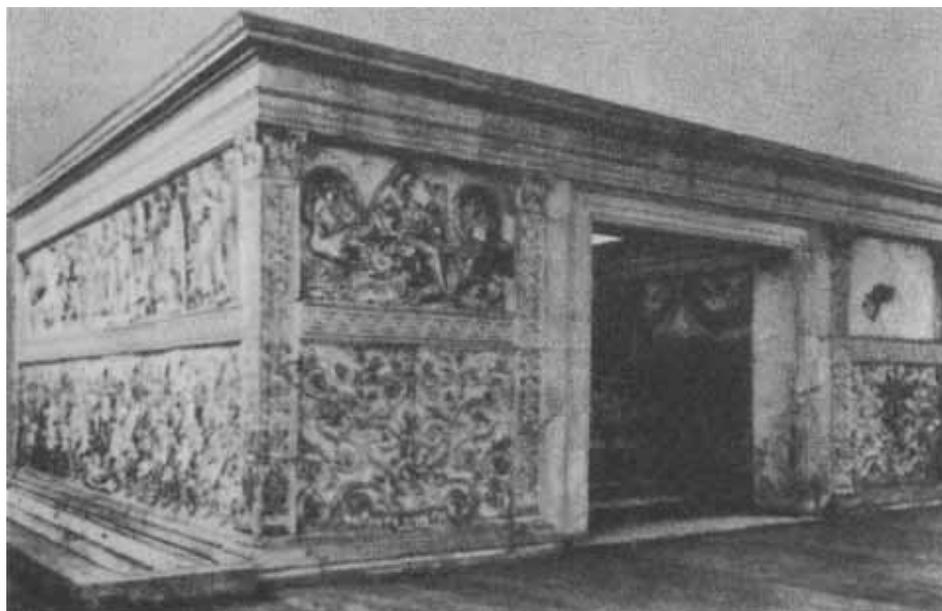
Юлия, дочь Августа. *Пергамон, Берлин.*



Агриппа.



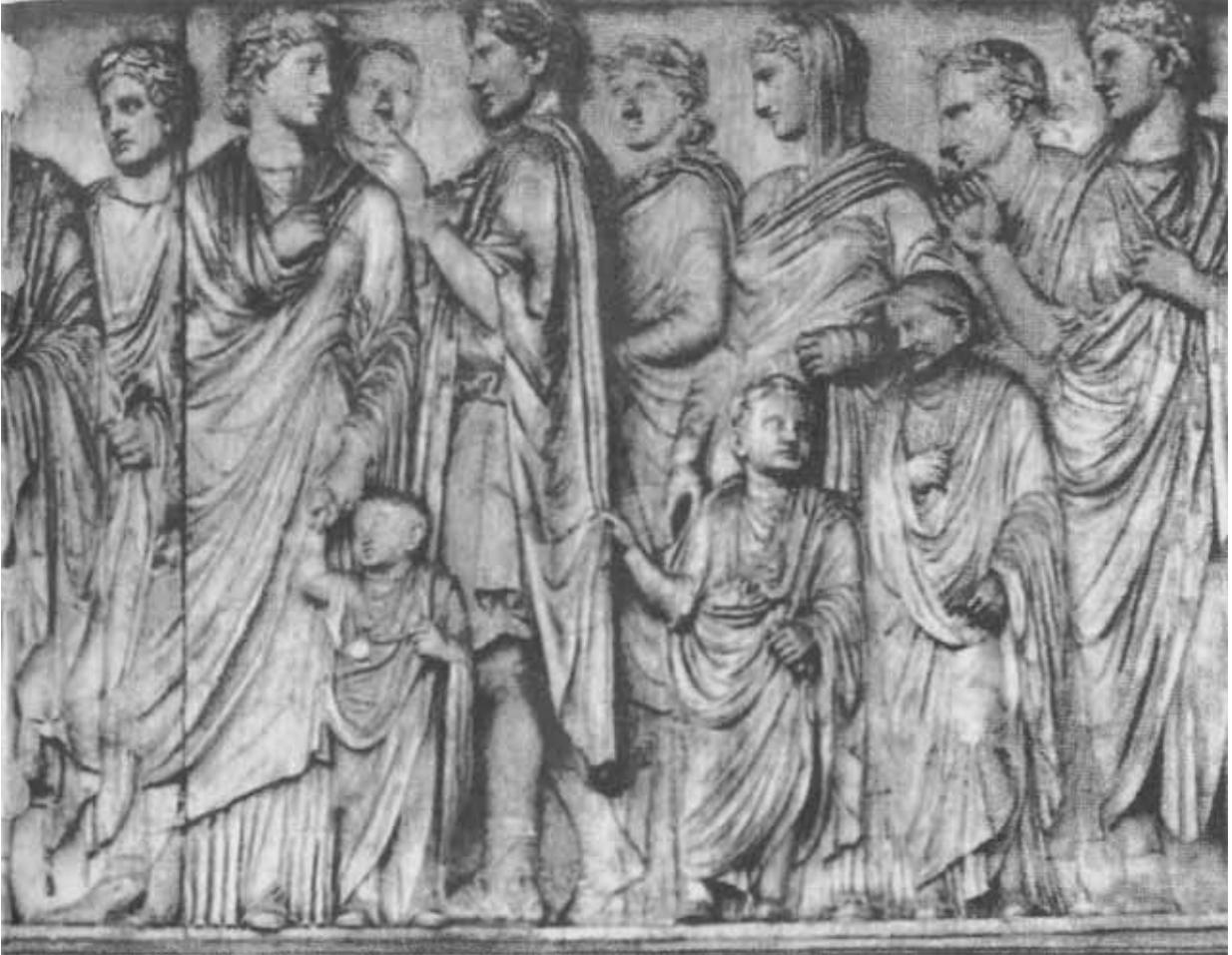
Сыновья Агриппы и Юлии: Люций и Гай. Рим.
Ватикан.



Алтарь мира Августа. Марсово поле. Рим. 13–9 гг. до
н. э. Восточный портал.



Алтарь мира Августа. Марсово поле. Рим. 13-9 гг. до н. э. фрагменты рельефных изображений.



Алтарь мира Августа. Марсово поле. Рим. 13-9 гг. до н. э. фрагменты рельефных изображений.



Алтарь мира Августа. Марсово поле. Рим. 13–9 гг. до н. э. фрагменты рельефных изображений.



Тиберий.



Тиберий и Ливия. Гемма из сардоникса.
Национальная библиотека. Париж.



Ливия в виде богини Салюты. *Рим.*



Тиберий перед Августом. Гемма из сардоникса.
Художественно-исторический музей. Вена.



Орёл. Камень из оникса.



Статуя императора Августа в образе Юпитера.
Эрмитаж. Санкт-Петербург.



Август. Камень из сардоникса. Ливия. Камень из оникса.



Август (в центре) в виде авгура, в руке жезл авгура — литуус; рядом с ним Ливия и Гай Цезарь. Алтарь

Ларов. Рим.



Театр Марцелла в Риме.



Стела с надписью Луция Цезаря на Римском форуме.



Меценат. *Рим.*



Форум Августа в Риме. *Общий вид.*



Август. Prima Porta. Рим. Ватикан.

notes

Примечания

1

Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря. М., 1915. С. 370.

Светоний. Божественный Август, ХСІХ. В дальнейшем ссылки на труд Светония, излагающий биографию Августа, приводятся без указания названия.

3

Римляне считали началом дня восход, а концом его — заход солнца. День делился на двенадцать равных частей-часов. Поэтому римское время не совпадает с тем, что принято нами. Во-первых, длина часа менялась в зависимости от времени года. Ясно, что летний час был длиннее зимнего. Во-вторых, точкой отсчета была не полночь, как у нас, а восход солнца. — *Прим. ред.*

4

Дион Кассий. LVI, 30, 3-4.

Тит Ливий. Римская история. Предисловие, 7.

Деяния Божественного Августа. — *Прим. ред.*

Власть римских республиканских магистратов. —
Прим. ред.

Юлиан. Цезари, р. VI, 309 А.

Все годы, кроме специально оговоренных, до новой эры. — *Прим. ред.*

10

Германик. Aratea, 558.

11

Вергилий. Георгики. I, 32-35.

Manilius. *Astronomica*. IV, 546-551.

Prīnceps по-латыни первый. — *Прим. ред.*

Плиний Старший. Естественная история, XI, 54, 2.

Очевидно, Плиний приписывает Августу голодовку, которую объявил Тиберий. О драматических обстоятельствах этого события см. ниже.

Квинтилий Вар, полководец Августа, был разбит германцами (об этом событии смотрите ниже). Удар был так силен, что с этого времени Август официально прекратил расширение империи. — *Прим. ред.*

Плиний Старший. Естественная история, VII, 46.

Из 20 книг сохранилось всего несколько, в частности книги XI-XVII, посвященные гражданским войнам.

Из 80 книг почти полностью сохранились XXXVI-LX, охватывающие период с 68 г. до н. э. по 47 г. н. э.

В древнегреческом языке дидаскалиями называли краткие записи о представленных драмах с именами автора, главных актеров, с указанием времени постановки и успеха пьесы. — *Прим. ред.*

Ошибка автора. Гай Гракх погиб в начале 121 г. до н. э. — *Прим. ред.*

Автор неточно налагает события. Марий начал свою карьеру как талантливый полководец из низов. Он стал одним из лидеров популяров и так вознесся на волне недовольства сенатом, что неоднократно выбирался консулом (107, 104, 103, 101, 100). Это была неслыханная для Республики почать, однако Марий все время действовал строго в рамках закона. Но в 88 г., когда его соперник Сулла получил пост командующего в Азии, Марий путем смуты и мятежа добился от народного собрания решения об отправке его самого вместо Суллы. Последний отказался повиноваться приказу. Более того. Впервые в истории он пошел с армией на Рим и занял город. Марий и его сторонники бежали. После того как Сулла уехал на Восток, Марий взял реванш. В 87 г. он в свою очередь взял Рим, установил террор и стал фактически тираном. В 82 г. Сулла разбил марианцев и сам стал диктатором. — *Прим. ред.*

У каждого римлянина было два обязательных имени. Во-первых, родовое (nomen), например, Юлий, Октавий, Антоний. Это имя передавалось по наследству и было общим для всех членов рода. Во-вторых, личное имя (praenomen), например, Гай, Марк, Гней. Так, у Помпея Великого было двое сыновей: Гней Помпей и Секст Помпей. Естественно, все женщины рода наследовали родовое имя, подобно тому, как у нас они наследуют фамилию. Но в классическое время у них не было первого имени, поэтому их называли Старшая, Младшая, Третья и т. д. — *Прим. ред.*

Помпей был убит в 48 г., поэтому невозможно, чтобы он значился как наследник Цезаря еще три года после своей смерти до 45 г. Согласно Светонию, первое завещание Цезаря было составлено в 59 г. В нем он действительно объявляет своим наследником Помпея. Оно было уничтожено в 50 г., когда Цезарь начал войну против Помпея. В сентябрьские иды 45 г. Цезарь составил новое завещание, в котором он назначал наследниками трех внуков своих сестер, причем Октавию оставлял три четверти имущества. Однако в завещании были сделаны, по-видимому, кое-какие существенные оговорки на случай рождения сына у самого диктатора. В частности, среди опекунов будущего сына назывался Децим Брут, один из убийц Цезаря (Suet. Caes., 83). — *Прим. ред.*

Автор несколько преувеличивает. Гражданская война началась в 90 г. — Союзническая война — и завершилась в 31-м — битва при Акциуме. — *Прим. ред.*

У Аппиана этот опекун упоминается под именем Форания. Гражданская война, IV, 3, 12.

Николай Дамасский. Жизнь Августа.

Плутарх. Кориолан, I, 2.

Диалог, рассказывающий о последних минутах Сократа. В нем он говорит ученикам, что умирает спокойно, ибо уверен — душа бессмертна, и праведника ожидает лучший мир. — *Прим. ред.*

Понтифики — одна из трех главных жреческих коллегий Рима. — *Прим. ред.*

31

Около 0,5 л.

Развалины этого города найдены неподалеку от монастыря Пойани, в 40 километрах от Дурреса (Албания), расположенного практически напротив Бриндизи.

Дион Кассий, XLVIII, 31, 1.

Тит Ливий, I, 39.

Чудо, происшедшее с Сальвидиеном, вовсе не означало обещание царства. То же знамение, по словам Тита Ливия, случилось, например, с Марцием, храбрым римским офицером, который спас римское войско в Испании в 211 г. до н. э. — *Прим. ред.*

Сенека. Контроверзы. II, 4, 12-13.

Подробности взяты из первых глав книги Николая Дамасского «Жизнь Августа».

У. Шекспир. Юлий Цезарь. Пер. А. А. Фета. М., Радуга, 1998.

Веллей Патеркул, II, 60, 2.

Цезарь долго любил Сервилию, мать Брута. В Риме многие считали Брута сыном диктатора. — *Прим. ред.*

Старший в коллегии понтифика. Верховный жрец, глава римского культа. — *Прим. ред.*

В Риме приемный сын брал личное и родовое имя усыновителя. Его же собственное родовое имя ставилось на конце с суффиксом *ian*. Поэтому бывший Октавий стал Гаем Юлием Цезарем Октавианом. — *Прим. ред.*

П. Корнель. Цинна. Пер. Вс. Рождественского.

44

B 17.00.

Плиний Старший. Естественная история, II, 23, 4-5.

Форум — главная площадь Рима, где проходили народные собрания и была сосредоточена вся политическая жизнь. — *Прим. ред.*

Цицерон. Письма к Аттику, XVI, 15.

Николай Дамасский. Жизнь Августа, XXXI, 133.

Эпикурейцы не должны были участвовать в политике. — *Прим. ред.*

Должность квестора — первая из ступеней «почетной карьеры», считалась обязательной для вступления в ряды сенаторов. Дион Кассий (XLVI, 29) приводит пространную речь, произнесенную Каленом. В дальнейшем повествовании, если нет особых оговорок, использован пересказ Диона Кассия.

В понятие *pietas* у римлян входило не только почтение к богам, но и любовь, и нежность к членам своей семьи. — *Прим. ред.*

Этот анекдот, пересказанный Дионом Кассием (XLVI, 43, 4-5) и Светонием («Божественный Август», XXVI, 1), указавшим, что солдата звали Корнелием и он был центурионом, по мнению Р. Сайма, «живописен, но лишен смысла» (R. Syme, «La Revolution romaine», с. 541, прим. 8).

Об этих предзнаменованиях см. Дион Кассий, XLVII, 1.

Gallia Comata, то есть «длинноволосая» — это галльские территории по ту сторону Альп. — *Прим. ред.*

Деяния божественного Августа, I.

Аппиан. Гражданские войны, IV, I, 4.

Дион Кассий, XLVII, 7.

Аппиан. Гражданские войны, IV, 2, 8.

Августин. Град Божий. III, 28.

П. Корнель. Цинна. Пер. Вс. Рождественского.

Похвальное слово римской матроне (т. н. «Похвала Турии»).

Августин. Град Божий. III, 30.

Плутарх. Цицерон. LXI.

Гораций. Оды, II, 7. Пер. Б. Пастернака.

Когда Брут после убийства Цезаря покинул Италию, он отправился в Афины. Здесь его встретили с восторгом как тираноубийцу. Среди греков было множество римских юношей, обучавшихся в этом городе-университете. Они объявили, что станут под его знамёна и будут защищать свободу. Одним из них был Гораций. — *Прим. ред.*

66

В эту игру играют вдвоем: один игрок должен угадать, сколько пальцев окажется вытянуто на быстро вскинутой руке другого.

Жители Нурсии Сабинской восстали против Цезаря Октавиана и не побоялись написать на могильных памятниках погибших, что они пали за свободу. Они были обложены такой тяжелой данью, что им пришлось бросить родные места и бежать. — *Прим. ред.*

Дион Кассий упоминает об этом событии (XLVIII, 14, 4-6), однако у Аппиана (V, 48, 201) говорится, что солдаты Цезаря казнили лишь нескольких знатных граждан.

Буколики. IX, 2-4 и 1, 6-8. Пер. С. Шервинского.

Марциал. Эпиграммы. XI, 20.

P.-M. Martin. Antoine et Cieopatre. P. 127.

Баккар — душистое растение; колокассия — экзотический цветок, произрастающий в Египте и ставший известным в Риме после завоевания этой страны; аканф (акант) — декоративное травянистое, реже кустарниковое растение.

Вергилий. Буколики. Эклога IV; 18-20 и 60-63. Пер. С. Шервинского.

См. терминологический словарь. — *Прим. ред.*

Дион Кассий, XLVIII, 31, 6.

Об этом событии см. Дион Кассий, XLVIII, 36-37 и Аппиан, V, 69, 292.

Дион Кассий, XLVIII, 37, 2.

Указанная хронология событий расходится со следующим текстом Светония («Божественный Клавдий», I, 1): «Ливия была им беременна (Друзом), когда выходила замуж за Августа, и родила его три месяца спустя». Однако ее признает большинство историков. См. J. Saugonino. *Passion et politique chez les Césars*. Paris, 1958.

Светоний. Божественный Клавдий, I, 1.

С точки зрения римлян в обеих историях не было ни малейшего сходства. Философ Катон уступил жену другу, доказав тем самым, что дружба для него священнее самых тесных семейных уз. Октавиан же, пользуясь своей огромной властью, отнял беременную жену у ее запуганного мужа. — *Прим. ред.*

Ливия принадлежала не к патрицианскому, а к знатному плебейскому роду. — *Прим. ред.*

Плиний Старший. Естественная история, XV, 40, 4-5.
Светоний. Гальба, I, 1.

Веллей Патеркул, II. 79, 2.

Дион Кассий, XLVIII, 44, 4.

Дешевый вулканический туф из альбанских каменоломен близ Рима, мягкий и легко выветриваемый (Витрувий, II, 7).

Обычно летом римляне жили на теневой стороне дома, а зимой на солнечной.

О подробностях первой сицилийской войны см. Дион Кассий, XLVIII, 45, 4-49; Светоний. Божественный Август, XVI.

Вергилий. Энеида, VI, 9-12. Пер. В. Брюсова. Делии — уроженцы острова Делос, на котором, по преданию, родился Аполлон.

Светоний. Божественный Август, ХСVI, 4; Плиний Старший, Естественная история, IX, 22, 1.

Об этом периоде см. Дион Кассий, XLIX.

Бог из машины (*лат.*). В античной драме на сцене иногда с помощью машины появлялось божество, которое приводило действие к счастливой развязке. — *Прим. ред.*

Аппиан. Гражданские войны, V, 132.

Сенека. Геркулес разъяренный, 462. Эти слова в трагедии произносит Амфитрион.

Театральный костюмер, у которого пирующие, по-видимому, брали напрокат свои костюмы. По другому объяснению, они наняли хорага и его актеров развлекать себя за пиром.

Вернее, македонская. — *Прим. ред.*

Плутарх. Жизнь Антония, XXVII.

Корнелия, дочь Сципиона Африканского, мать знаменитых трибунов, погибших ради блага народа, считалась в Риме образцом жены и матери. Но никаких почестей ей не оказывали. — *Прим. ред.*

Шекспир. Антоний и Клеопатра, I, IV. Пер. Д. Михаловского.

Плиний Старший. Естественная история, XXXVI, 121.

Плиний Старший. Там же. Дион Кассий, XLIX, 43.

Деяния Августа, XXV.

Шекспир. Антоний и Клеопатра, V, 2. Пер. Д. Михаловского.

Дион Кассий, I, 16, 3; Плутарх. Антоний, CIII.

Сенека. Утешение к Марции, IV, 3.

Плиний. Естественная история, XXII, 6, 3.

Он давался осажденными тому, кто избавил их от осады. Отсюда его название. — *Прим. ред.*

Плиний Старший. Естественная история, XVIII, 7, 5.

Дион Кассий, LIV, 23. О Ветии Поллионе см. также: Сенека. О милосердии, III, 16, 2-3; О гневе, III, 40, 2 и Плиний Старший. Естественная история, IX, 39, 2.

Тацит. Анналы, I, X.

В римской истории храм Януса почти никогда не был закрыт. — *Прим. ред.*

111

Вергилий. Георгики, 111, 26-29.

Плиний Старший. Естественная история, XXXIII, 24, 1.

Макробий. Сатурналии, II, 4.

До конца правления Нерона, то есть до 68 г. н. э.

115

О праздновании триумфа см. Дион Кассий, II, 21.

116

Дион Кассий, II, 1-13 (речь Агриппы); 14-40 (речь Мецената).

Маршал Франции начал свою деятельность как пламенный революционер, затем сделался сторонником Наполеона, а в 1810 г. стал шведским королем и воевал против Франции. — *Прим. ред.*

Цит. по: Сенека. О спокойствии духа, III, 1-7.

Плутарх. Изречения царей и полководцев, 207.

Дионисий Геликарнасский. Римские древности, I, 64, 5.

Центральная рыночная площадь. Была средоточием торговой и политической жизни греческого города. — *Прим. ред.*

Princeps senatus — наиболее уважаемый гражданин. Его имя цензоры ставили первым в списке сенаторов и в спорных вопросах он первым высказывал свое мнение. Реальной властью в республиканское время принцепс не обладал, но это имя считалось почетным. — *Прим. ред.*

123

То есть африканской. — *Прим. ред.*

124

Ниобу.

125

Проперций. Элегии, II, 31.

Внутренняя комната храма, святая святых. — *Прим. ред.*

Латона — латинское, а Лето — греческое имя матери Аполлона. — *Прим. ред.*

Деяния, XXXIV.

Этот фрагмент из утраченного трактата известен благодаря цитирующему его Лактанцию (Божественные установления, II, 15, 14 и далее).

Тацит. История, I, 2; Анналы, I, 9, 3.

131

Цицерон. О государстве, II, 51.

Диотоген. О царской власти.

Дион Кассий, LIII, 20.

Светоний. Калигула, XXVII, 4; Дион Кассий, LIX, 8, 3.

Плиний Старший. Естественная история, XXXIV, 58.

136

Цицерон. О предвидении, II, особенно 128-129.

Цицерон. О предвидении, I, 118.

Римский месяц имел всего три числа: Календы — первое число (отсюда наше слово календарь); ноны — 5-е или 7-е; Иды — 13 или 15 (это зависело от длины месяца). Все остальные числа образовывались путем отсчета от данных. Например: за два дня до июньских нон и т. д. — *Прим. ред.*

Ablativus — латинский падеж, более всего соответствующий русскому творительному. — *Прим. ред.*

Плиний Старший. Естественная история, IX, 4, 1.

Плиний Старший. Естественная история, IX, 4, 8. В этом рассказе современные зоологи не сомневаются. — *Прим. ред.*

142

Самый крупный город на острове Лесбос.

Квинтилиан. Об образовании оратора, VI, 3, 77.

Сенека Ритор. Контроверзы, X. Предисловие, 16.

145

Дион Кассий, LIII, 26, 1.

146

В сб.: Палатинская антология, VI, 161. Автор эпиграммы — Кринагор.

Гораций. Оды, III, 14, 1-7. Пер. Г. Церетели.

148

Дион Кассий, LIII, 33, 4-5.

149

Дион Кассий, LIII, 30, 1-2.

150

Дион Кассий, LIII, 31.

Проперций. Элегии, III, 18, 7-15.

Вергилий. Энеида, VI, 868–886. Пер. В. Брюсова.

153

Сенека. Утешение к Марции, II, 3-5.

154

Отзыв принадлежит Сенеке. Сенека. Утешение к Марции, II, 4.

155

Дион Кассий, LIII, 33, 4.

По мнению Плутарха (Жизнь Антония, СХ, 3), именно Октавия предложила эту идею.

157

Дион Кассий, LIII, 33, 4.

Плиний. Естественная история, XIX, 29, I.

159

Макробий. Сатурналии, II, 5, 1.

Гая, Луция, Юлию, Агриппину и Агриппу Постума.

161

Макробий. Сатурналии, II, 5.

Hermann Broch. Der Tod des Vergil.

163

Дион Кассий, LIV, 16.

Авл Геллий. Аттические ночи, I, 6.

Светоний. О грамматиках и риториках, XVII.

Этот труд, озаглавленный «О значении слов», известен нам в кратком изложении Помпея Феста (II в.), а также в кратком изложении труда самого Феста, составленном Павлом Диаконом (VIII в.) — Перу Веррия Флакка принадлежали и другие произведения филологического и исторического содержания.

167

Вергилий. Энеида, VI, 792.

Ошибка автора. Первая Пуническая война
окончилась в 241 г. — *Прим. ред.*

169

Гораций. Юбилейный гимн, 1-24. Пер. Н. Гинцбурга.

170

Дион Кассий, LIV, 19, 3.

171

Дион Кассий, LIV, 21.

Пер. О. Румера.

173

Пер. О. Румера.

Пер. О. Румера.

175

Пер. Г. Церетели.

176

См. терминологический словарь.

Плиний Старший. Естественная история, XXIII, 27, 4.

Приведенный текст является фрагментом похвального слова Агриппе, произнесенного Августом. Он взят из недавно обнаруженного папируса, на котором был записан греческий перевод речи.

На Альбанской горе собирались представители всех латинских общин и устраивали священнодействия. Председательствовал римский консул. — *Прим. пер.*

180

Веллей Патеркул, II, 96, 1; II, 100, 3; Светоний.
Тиберий, VII, 4.

О подробностях этой истории см. Светоний. Тиберий, VII.

182

Дион Кассий, LV, 1, 3.

Римский обычай. Ближайший родственник умирающего должен был принять его последний вздох. — *Прим. ред.*

Утешение Ария использовал Сенека в своем «Утешении к Марции», IV, 3-V.

185

Дион Кассий, LV, 2, 5-6.

Светоний, Тиберий, L.

Светоний. Божественный Клавдий, I.

188

Дион Кассий, LV, 8, 2.

Светоний. Тиберий, XI, 1.

Иосиф Флавий. Иудейские древности, XVIII, 180.

Это был парад всадников, посвященный Диоскурам, помогавшим, по преданию, римлянам при Регильском озере. Был установлен в 304 г. Потом праздник забыли, и его вновь восстановил Август. Молодые люди одеты были в пурпурные туники и увенчаны лавровыми венками. Вероятно, церемония проводилась раз в 5 лет, когда слагали свои полномочия цензоры и происходило очищение города. — *Прим. пер.*

Плиний Старший. Естественная история, VII, 11, 2.

Макробий. Сатурналии, II, 5, 7.

В сб.: Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 1998.

195

Ювенал. Сатиры, VI, 132.

Гораций. Оды, II, 4, 34 и далее.

Овидий. Письма с Понта, IV, 16, 31.

Светоний. Тиберий, LIX, Калигула, XXX.

199

Дион Кассий, LV, 11, 1.

200

Rione X-Campitelli, II. Rome, 1979, p. 146. В серии:
Guide rionali di Roma.

201

Плутарх. Об исчезновении оракулов, 419-b.

Авл Геллий. Аттические ночи, XV, 7. Слова в квадратных скобках в латинском тексте приведены по-гречески.

Светоний. Нерон, V (этот человек стал отцом Нерона).

204

Дион Кассий, LV, 10,17-10A.

205

Дион Кассий, LV, 13, 1.

Сенека Ритор. Контроверзы, IV. Предисловие, 5.

Об этой процедуре стало известно из обнаруженной надписи, т. н. Гебановых Таблиц, в которых говорится, что аналогичной чести удостоился после смерти и Германик.

Веллей Патеркул, II, 104.

Корнель. Цинна; Монтень. Опыты, I, 24; Сенека. О милосердии, III, 7. Дион Кассий (LV, 14-21) также повествует о кризисе, преодоленном режимом Августа, но в гораздо более многословном виде.

210

Дион Кассий, LV, 13, 1.

Дион Кассий, LV, 12, 4-5; Светоний. Божественный Август, LVII, 4.

То есть жреца. — *Прим. ред.*

Светоний. Тиберий, L.

214

Дион Кассий, LV, 10, 10.

215

Одна из них находилась в Боскотреказии, близ Помпеи, а другая в Сорренте.

216

О подробностях жизни Агриппы см. Дион Кассий, LV, 10, 6-7; 22, 4 и 32, 1-2.

Светоний. Божественный Клавдий, XXVI, 2.

218

Ныне Констанца (Румыния).

Светоний. Божественный Клавдий, III.

Светоний. Калигула, XXIII.

Во Франции — титул женщин из королевской семьи. — *Прим. ред.*

222

Дион Кассий, LVIII, 2.

223

Плиний Старший. Естественная история, VII, 49, 5.

Современные врачи считают, что Август страдал катаром кишечника с последующими токсическими кожными явлениями. — *Прим. ред.*

225

Плиний Старший. Естественная история, VIII, 64, 3.

Светоний. Калигула, VII.

Светоний. Калигула, VIII.

Плиний Старший. Естественная история, VII, 16, 3.

Светоний. Гальба, IV.

230

Светоний. Божественный Клавдий, III.

231

Светоний. Божественный Клавдий, IV.

Светоний. Тиберий, XXIII.

Светоний. Тиберий, XXI.

Светоний. Тиберий, LI.

Август перефразирует стих, которым Энний прославлял Фабия Кунктатора (Медлителя), одного из самых известных полководцев Второй Пунической войны. Слово «медлительность» он заменяет «неусыпностью».

236

Светоний. Тиберий, XXI.

Светоний. Тиберий, LXVIII.

238

Дион Кассий, LVI, 10, 3.

239

Дион Кассий, LVI, 18-22.

Фридрих Клопшток. Битва Германа (1769). Герман и князя (1784). Смерть Германа (1787); Генрих фон Клейст. Битва Германа (1808).

241

Дион Кассий, LVI, 25.

Тацит. Анналы, 1, 5.

243

Тацит. Анналы, I, 9.

244

Тацит. Анналы, I, 5. Дион Кассий, LV1, 30, 5.

245

Дион Кассий, LIV, 1, 2-3.

246

Эти произведения выставлены в Римском национальном музее терм.

Библиографию по этому вопросу см.: J.-M. Roddaz. *Marcus Agrippa, Rome*» 1984, p. 235. Существуют и другие версии принадлежности этого дома, но гипотеза, что домом владел именно Агриппа, считается сегодня наиболее достоверной.

248

Цитату приводит Макробий. Сатурналии, II, 4, 12.

249

Квинтилиан. Об образовании оратора, 1, 6, 19.

250

Авл Геллий. Аттические ночи, X, 11.

Эразм Роттердамский. Поговорки, II, I; Ф. Рабле.
Гаргантюа, IX.

Эти слова, сказанные Титом Ливием о Цицероне, приводит Сенека Ритор. Увещевания, VI, 22.

Автор неточен. Первыми воспевали в элегиях любовь поэты-неотерики: Катулл, Кальв и их друзья. По-видимому, слабым их подражателем был Галл. — *Прим. ред.*

Август запретил ему появляться в своем доме и в своих провинциях. — *Прим. ред.*

255

Это изречение приводит Сенека Ритор. Контроверзы, VI, 8, 3.

256

Гораций. Послания, II, 1, 108-117. Пер. Н. Гинцбурга.

В Риме вольноотпущенник получал первое и второе имя своего бывшего хозяина (praenomen и nomen). Его прежнее личное имя добавлялось в качестве третьего имени. — *Прим. ред.*

Светоний. О грамматиках и риториках, XXI.

Там же, ХХ. Светоний не упоминает его произведений, в силу чего многие новейшие критики отказывают ему в их авторстве.

Тацит. Анналы, VI, 11.

261

Тибулл. Элегии, I, 10, 29-44. Стихи были опубликованы в 26 или 25 г. до н. э.

262

Лигдам. В сб.: Тибулл. Элегии, III, 5, 23-26.

263

Сульпиция. В сб.: Тибулл. Элегии, III, 13.

Цикл состоит из 21 письма, наибольшей известностью из которых пользуются письма Федры Ипполиту, Дидоны — Энею, Ариадны — Тесею, Медеи — Ясону, Париса — Елене и ответ Елены Парису. — *Прим. авт.* Большинство исследователей считают подлинными только первые 11 писем; почти наверняка неподлинны 6 последних (16-21), которые содержат переписку героев и героинь. Между тем по плану Овидия он пишет только от лица женщин. Вот почему сомнительно, что переписка Елены и Париса действительно принадлежит перу Овидия. — *Прим. ред.*

Это произведение известно под названием «Искусство любви», хотя его содержание гораздо точнее передает заголовок «Трактат об обольщении».

Овидий. Трактат об обольщении, I, 219-222. Триумф, о котором идет речь, так никогда и не состоялся, ибо Гай Цезарь умер молодым.

Сервий. Комментарии к «Энеиде», VIII, 310.

Об истощении Земли см. Лукреций. О природе вещей, 11, 1150-1152.

Римляне играли четырьмя костями с очками 1, 3, 4 и 6. «Собакой» назывался худший бросок, когда все кости показывали единицу, «Венерой» — лучший бросок, когда все кости падали разными очками.

См. терминологический словарь. — *Прим. пер.*

271

Вергилий. Энеида, I, 94-96.

Вергилий. Энеида, VIII, 675 и далее. Пер. В. Брюсова.

Проперций. Элегии, IV, 6, 37-54. Стихи написаны много лет спустя после битвы при Акциуме, поэтому Цезарь фигурирует в них под именем Августа.

274

Надпись обнаружена близ Павии. Благодаря ссылке на трибунские полномочия она датируется 7 г. н. э.

Авгуры не были гадалками. Они могли только вопрошать богов, угодно ли им или нет задуманное предприятие (они определяли это по пяти видам предзнаменований: 1) грому, молнии и другим небесным явлениям; 2) по крику и полету птиц; 3) по тому, с жадностью или нет птицы клюют пищу; 4) по четвероногим животным; 5) по необыкновенным, из ряда вон выходящим происшествиям). — *Прим. ред.*

276

Обе версии изложены Тацитом. *Анналы*, I, 54;
История, II, 95.

Церемониал этой коллегии стал хорошо известен после открытия священной рощи, где он происходил и где хранились архивы братства. Расположенная примерно в 7 километрах к юго-западу от Рима, в направлении к Остии, роща была впервые обнаружена в результате раскопок, производившихся в XVI в., хотя ее систематическое изучение было проведено лишь в 1867–1869 гг.

Гимн арвальских братьев написан на такой архаической латыни, что был почти непонятен современникам Августа. — *Прим. ред.*

Ошибка автора. Членство в коллегии салиев совершенно не исключало участие в войне и политике. Салиями были многие знаменитые полководцы и политики времен Республики, например, Сципион Африканский, победитель Ганнибала, дважды консул и цензор. Автор, очевидно, путает салиев с фламинами Юпитера. — *Прим. ред.*

Обряды салиев в основном заключались в очень трудной военной пляске, совершаемой один раз в году, в марте. — *Прим. ред.*

Верховный понтифик был главой всего римского культа. — *Прим. ред.*

В Риме были географические карты. Они висели, как правило, в храмах и в портиках для всеобщего обозрения. Множество римлян времени Цицерона бывали по делам в Испании, Малой Азии» Египте. Кроме того, среди образованных людей в моду вошли путешествия-паломничества по прославленным городам Греции и Азии. — *Прим. ред.*

Дю Белле. Римские древности, XXVI, 9-14.

Плиний Старший. Естественная история, III, 3, 14.
Бетика — область в Испании.

285

Вестибул — прихожая римского дома. — *Прим. пер.*

286

Деяния, XIX-XXI.

Тацит. Анналы, XV, 38, 3.

Плиний Старший. Естественная история, XIII, 23, 1.

Когда начало года перенесли на январь, названия месяцев менять не стали, поэтому мы до сих пор называем девятый месяц сентябрем (от латинского «семь»), а десятый — октябрем («восемь»). Уже в середине II в. до н. э. гражданский год стали начинать с января, так как консулы вступали в должность 1 января, а годы считали по консульствам. Например, вместо указания года писали — в консульство Цицерона и Антония; в консульство Опимия и т. д. — *Прим. ред.*

Светоний. Божественный Август, XXXI, 2; Макробий.
Сатурналии, I, 12, 35.

Овидий. Фасты, I, 7-12. Речь Овидия обращена к Германику, которого усыновил Тиберий и который тем самым стал братом Друза Младшего; поскольку же Тиберия усыновил Август, Германик превратился и во внука Августа. Пер. Ф. Петровского.

Деяния. XXII.

293

Атлеты состязались обнаженными.

294

Дион Кассий, LVI, 32.

295

Светоний. Нерон, V.

По мнению Диона Кассия, существовал и четвертый свиток, содержащий советы Тиберию и Народу, в том числе: проявлять умеренность в освобождении рабов, разумно подбирать наместников и отказаться от расширения империи за устоявшиеся рубежи.

297

Дион Кассий, LVI, 34.

298

Дион Кассий, ХLI, 9.

Светоний. Божественный Август, С; Дион Кассий, LVI, 43. Оба повествования о погребении Августа разнятся некоторыми деталями. Так, Светоний пишет, что тело Августа несли на своих плечах сенаторы, тогда как Дион Кассий утверждает, что это были вновь избранные магистраты.

300

Дион Кассий, LVI, 46.

301

Тацит. Анналы, I, 9.

Дион Кассий, LVII, 12; Тацит. Анналы, I, 14.

303

Дион Кассий, LVIII, 2.

Плиний Старший. Естественная история, VII, II, 2.

Клавдии — это род, а не фамилия (фамилиями являются Нероны, Пульхры, ветви рода Клавдиев); далее, по римским законам жена не входила в род мужа. Поэтому утверждение автора неточно. — *Прим. ред.*

306

Тацит. Анналы, I, 6.

Ливия Ливилла, жена Друза Младшего, сына Тиберия. Она была любовницей Сеяна. Вместе с ним они извели Друза медленным ядом. Об этом узнал Тиберий. — *Прим. ред.*

Британник был отравлен Нероном, а Мессалина убита центурионом по приказу одного из временщиков Клавдия, так что их смерть также была насильственной (см. Предисловие). — *Прим. ред.*

Юнии Кальвине приписывается заслуга издания «Мемуаров» императорских жен, чья историческая достоверность не подтвердилась. Автор посвятил этому сочинению роман «Палатинские волчицы» (Les Louves du Palatin. Paris, Les Belles Lettres, 1998).

310

Светоний. Калигула, XXIII.

Это выражение принадлежит П. М. Мартену (см.: P.M. Martin. *L'idée de royauté a Rome*, p. 470).

Светоний. Божественный Веспасиан, XXV.

Светоний. Божественный Тит, I.

Имеется в виду Август IV Фридрих, король Польский (1696–1763 гг.). — *Прим. ред.*

315

Неплохо сохранившиеся развалины этого трофея еще и сегодня можно видеть неподалеку от Монако.